

ДЖЕННИФЕР УОРФ
ВЫЗОВИТЕ
АКУШЕРКУ

Подлинная история Уст-Энда 1950-х годов



THE NEW YORK TIMES BESTSELLER
В МИРЕ ПРОДАНО БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА КНИГ

Дженнифер Уорф

Вызовите акушерку

*Подлинная история Ист-Энда
1950-х годов*

Jennifer Worth
Call the midwife

© Дженнифер Уорф, 2012

© Мария Фетисова, перевод на русский язык, 2016

© Livebook Publishing Ltd, 2016

© *CTM Productions Ltd. A Neal Street Production for the BBC Copyright*

© *Jennifer Worth 2002*

Посвящается Филипу, моему дорогому мужу

*История Мэри посвящается также памяти
отца Джозефа Уильямсона и Дафны Джонс*

БЛАГОДАРЮ

всех медсестёр и акушерок, которые работали со мною более полувека назад и многих из которых уже нет с нами, Терри Коутс, воодушевившую меня написать воспоминания, Кэнон Тони Уильямсон, президента Уэллклоузского фонда, Элизабет Фэрбэрн за её поддержку, Пэт Скуллинг, у которой хватило смелости пойти на публикацию, Наоми Стивенс за её помощь с диалектом кокни, Сюзанну Харт, Дженни Уайтфилд, Долорес Кук, Пегги Сейер, Бетти Хоуни, Риту Перри, всех, кто набирал текст, читал и советовал, Тауэр-Хамлетскую краеведческую библиотеку и архивы, куратора Фонда истории Собачьего острова, E14, архивариуса Музея в Доклендсе, E14, библиотекаря в «Аэрофильмах Симмонса».

Предисловие

В январе 1998 года «Журнал акушерок» опубликовал статью Терри Коатс, озаглавленную «Образ акушерки в литературе». После тщательного исследования Терри была вынуждена прийти к заключению, что в литературе образ акушерки практически не раскрыт.

Почему, во имя всего святого? Вымышленные врачи толпами вышагивают по страницам книг, сея походя перлы мудрости. Медсёстры, хорошие и плохие, тоже отнюдь не редки. Но акушерки? Кто слышал об акушерках как о литературных героях?

А между тем акушерство само по себе полно драмы и мелодрамы. Каждый ребёнок зачинается в любви или похоти, рождается в боли и страдании, для радости или трагедии и мучения.

Акушерка присутствует при каждом рождении; находится в гуще его, видит всё. Почему же она остаётся призрачной фигурой, скрытой за дверью больничной палаты?

Терри Коатс закончила свою статью словами: «Возможно, где-нибудь есть акушерка, способная сделать для своей профессии столько же, сколько Джеймс Хэрриот сделал для ветеринарии».

Я прочитала эти слова и приняла вызов.

Дженнифер Уорф

Введение

Ноннатус-Хаус был расположен в самом сердце Доклендса. Практика охватывала Степни, Лаймхаус, Миллуолл, Собачий остров, Кабитт-Таун, Поплар, Боу, Майл-Энд и Уайтчепел. Район был густонаселён, и большинство семей жили там поколениями, зачастую не переезжая дальше, чем на улицу-другую от места рождения. Семейная жизнь протекала в тесноте, детей воспитывали всем миром: тёти, бабушки и дедушки, кузины, старшие братья и сёстры, жившие все в пределах нескольких домов или, самое большее, соседних улиц. Дети постоянно бегали друг к другу в гости, и не припомню – а я работала и жила там, – чтобы двери когда-либо закрывались, кроме как на ночь.

Ребятишки сновали повсюду, улицы были их игровыми площадками. В 1950-х в переулках не ездило никаких машин – их просто ни у кого не было, так что играть было совершенно безопасно. По главным дорогам, особенно ведущим к докам и от них, разъезжали грузовые автомобили, но на маленьких улочках движения не было вовсе.

Детскими площадками служили и разрушенные бомбами здания. Их было не счесть – страшное напоминание о войне и интенсивной бомбардировке Доклендса, со времени которых прошло всего десять лет. Тут и там в рядах домов зияли огромные бреши, порой про ходившие насквозь через две-три улицы. Такие места обносили сплошным забором, отчасти просто для того, чтобы убрать с глаз долой пустыри, заваленные битым кирпичом среди еле стоящих останков зданий. Вероятно, где-то даже висели таблички «ОПАСНО – ВХОД ВОСПРЕЩЁН», но для любого живого мальчонки лет шести-семи они были что красная тряпка для быка; у каждого разрушенного здания имелся секретный ход – незаметно отодвигающаяся доска, позволявшая маленькому тельцу протиснуться внутрь. Официально заходить туда запрещалось, но все, включая полицию, казалось, закрывали на это глаза.

Несомненно, это был суровый район. Поножовщины и уличные драки никого не удивляли. Дня не проходило без драк и стычек в пабах. В маленьких, перенаселённых домах процветало бытовое насилие. Но я никогда не слышала, чтобы насилию подвергались дети или старики; слабых определённо уважали. То были времена близнецов Крэй, войн группировок, кровной мести, организованной преступности и жёсткой

конкуренции. Полицейские были повсюду и никогда не ходили в одиночку. И всё же я ни разу не слышала о сбитых с ног и обворованных пожилых леди, о похищенных или убитых детях.

Подавляющее большинство мужчин в районе работали в доках.

Занятость была высока, зарплата мала, рабочий день длинен. Мужчины, выполняющие квалифицированную работу, имели сравнительно высокую заработную плату и нормированный день и потому держались за свои рабочие места мертвой хваткой. Ремесло, как правило, не выходило за рамки семьи, передаваясь от отца к сыновьям или племянникам. Но разнорабочим жизнь, должно быть, казалась сущим адом. Пока корабль не вставал под разгрузку, не было никакой работы, и мужчины весь день слонялись по докам, курили и препирались. Но приход корабля означал четырнадцать, возможно, восемнадцать часов неустанного физического труда. Приступали в пять часов утра, заканчивали – к десяти вечера. Неудивительно, что после этого они заваливались в пабы и напивались до чёртиков. Мальчики начинали работать в доках с пятнадцати лет и должны были трудиться наравне с мужчинами. Мужчины вступали в профсоюз, стремившийся обеспечить справедливую оплату и разумный график работы, но принцип «закрытого цеха», вероятно, создавал столько же неприятностей и вражды между рабочими, сколько и выгод. Впрочем, не приходится сомневаться, что без профсоюзов эксплуатация рабочих в 1950 году была бы столь же ужасна, как и в 1850-м.

Ранние браки считались нормой. В вопросах секса среди добропорядочных жителей Ист-Энда наблюдался высокий уровень морали и даже ханжества. Не состоявших в браке партнёров почти не встречалось, и ни одна девушка не стала бы жить со своим парнем. А если бы попыталась, её бы сжила со свету своя же семья. Что происходило в разбомбленных руинах или за навесами для мусорных баков, не обсуждалось. Если девушка беременела, давление на парня было столь велико, что немногим удавалось улизнуть от женитьбы. Семьи были велики, порой – очень велики, разводы – редки. Не обходилось без жарких и жестоких семейных скандалов, и тем не менее муж с женой обычно держались вместе.

Работали женщины редко. Девушки – конечно, но как только женщина заводила семью, это начинало вызывать неодобрение. А когда появлялись дети, работать становилось невозможно: непрерывные хлопоты, уборка, стирка, магазины и готовка становились её уделом. Я часто не могла взять в толк, как эти женщины справлялись с тринадцатью, четырнадцатью детьми, живя в крошечном доме всего с двумя-тремя спальнями.

Некоторые семьи такого размера жили на съёмных квартирах, часто состоявших всего из двух комнат и кухоньки.

Контрацепция, если и практиковалась, была весьма ненадёжна. Всё было отдано на откуп женщинам, которые бесконечно говорили о безопасных днях, красном вязе, джине и имбире, обливаниях горячей водой и тому подобном, но мало кто посещал центры по планированию семьи, и, судя по тому, что я слышала, большинство мужчин категорически отказывались предохраняться.

Стирка, сушка и глажка занимали большую часть рабочего дня женщины. Стиральных машин практически не было, а сушильные барабаны ещё даже не изобрели. Сушильные дворы были всегда завешаны одеждой, и нам, акушеркам, частенько приходилось пробираться сквозь лес хлопающего белья, чтобы попасть к пациентке. В квартирах висели новые порции белья, между которым приходилось петлять и подныривать в прихожей, на лестнице, на кухне, в гостиной и в спальне. Первая прачечная самообслуживания открылась в 1960-х годах, до этого всё стирали дома вручную.

К 1950-м большинство домов могло похвастаться холодной водой и смывным туалетом во дворе. У некоторых даже была ванная. Однако не в доходных домах, так что общественные бани были по-прежнему весьма востребованы. Непокосимые матери раз в неделю притаскивали сюда своих упирающихся сыновей. Мужчины, возможно под давлением своих женщин, также проходили процедуру еженедельного омовения. Вы бы видели, как каждую субботу они шли в баню с маленькими полотенцами, кусками мыла и мрачными лицами, на которых отражались все драки, проигранные ими на неделе.

В большинстве домов было радио, но за всю свою жизнь в Ист-Энде я не видела ни одного телевизора, и это, возможно, неплохо способствовало разрастанию семей. Пабы, мужские клубы, танцы, кино, мюзик-холлы и собачьи бега были основными видами досуга. Для молодёжи, что удивительно, центром общественной жизни часто становилась церковь: при каждой церкви имелся ряд молодёжных клубов, в которых каждый вечер проводились всевозможные мероприятия. В церкви Всех Святых на Ост-Индия-Док-роуд, огромном викторианском соборе, был организован посещаемый сотнями подростков молодёжный клуб под руководством пастора и как минимум семи энергичных молодых викариев. Им требовалась вся их молодость и энергия, чтобы вечер за вечером проводить мероприятия для пяти-шести сотен молодых людей.

Тысячи моряков всех национальностей, что приходили в доки, не

сильно влияли на уклад живущих там людей. «Мы держимся своих», – говорили местные, не желая вступать в контакт. Дочерей тщательно оберегали: для удовлетворения потребностей моряков хватало борделей. По долгу службы мне доводилось посещать эти жутчайшие места два или три раза.

Я видела проституток на главных дорогах, но ни одной – в переулках, даже на Собачьем острове, куда в первую очередь прибывали моряки. Опытные профессионалки никогда бы не стали тратить время на такой неперспективный район, а если какая-нибудь энтузиастка-любительница оказывалась настолько безрассудна, чтобы попробовать, её вскоре выдворяли, вероятно, с применением силы, возмущённые местные жители, как мужчины, так и женщины. Бордели пользовались известностью и всегда были заполнены. Осмелюсь сказать, они были нелегальны и время от времени подвергались полицейским облавам, но на бизнесе, кажется, это не сказывалось. Существование публичных домов, конечно, оставляло улицы чистыми.

За минувшие пятьдесят лет жизнь безвозвратно изменилась. Мои воспоминания о Доклендсе не имеют ничего общего с тем, что там происходит сегодня. Семейная и общественная жизнь полностью переосмыслились, и одновременно случились три вещи, положившие конец векам традиции всего за одно десятилетие: закрытие доков, расчистка трущоб и изобретение противозачаточных средств.

Снос ветхих зданий начался в конце 1950-х, когда я ещё работала в этом районе. Несомненно, здания никуда не годились, но для людей это был родной дом, и любимый дом. Я помню многих, многих людей, старых и молодых, мужчин и женщин, держащих в руках бумагу из местного совета, сообщающую, что их дома и квартиры сносят, а их переселяют. Многие рыдали. Они не знали другого мира, и переезд на четыре мили казался путешествием на край света. Переезды разбивали большие семьи, отчего страдали дети. Это также буквально убивало многих стариков, которые не могли адаптироваться к переменам. На что тебе новая квартира с центральным отоплением и ванной, если ты никогда не увидишь внуков, тебе не с кем поговорить, а пивная, где разливают лучшее пиво в Лондоне, в четырёх милях отсюда?

Оральные контрацептивы появились в начале 1960-х, и тогда же родилась современная женщина. Не привязанная больше к бесконечной череде младенцев, она могла быть собой. С противозачаточными пришло то, что мы сейчас называем сексуальной революцией. Женщины впервые в истории могли, как мужчины, получать удовольствие от близости, не

опасаясь последствий. В конце 1950-х в наших журналах регистрировалось от восьмидесяти до ста рождений в месяц. В 1963 году это число сократилось до четырёх-пяти. Это ли не социальные перемены!

Упадок доков происходил постепенно, в течение лет пятнадцати, но к 1980-м торговые суда уже не приходили. Мужчины цеплялись за свою работу, профсоюзы пытались отстоять их права, 1970-е ознаменовались многочисленными забастовками докеров, но изменить предначертанного они уже не могли. На самом деле забастовки не столько защитили рабочие места, сколько ускорили закрытие порта.

Для местных мужчин доки были не просто работой, и даже не просто образом жизни, – они были самой жизнью, и их мир развалился на части. Порты, в течение многих веков служившие основными артериями Англии, стали не нужны. Перестали быть нужными и сами мужчины. Это был конец Доклендса, каким я его знала.

Первые социальные реформы прокатились по стране в викторианскую эпоху.

Литераторы впервые написали о беззакониях, ранее никогда не разоблачавшихся, и тем самым перевернули общественное сознание. В числе требовавших реформ вопросов внимание многих дальновидных и образованных женщин привлекла необходимость хорошего ухода в больницах. Медсестринское дело и акушерство пребывали тогда в плачевном состоянии. Эти профессии не считались почётным занятием для образованной женщины, и пробел заполняли недоучки. Карикатурные образы Сары Гэмп и Бетси Приг, созданные Чарльзом Диккенсом, – невежественные, отвратительные, хлещущие джин женщины, – могут показаться смешными, когда мы о них читаем, но перестали бы быть таковыми, если бы по причине беспросветной бедности нам пришлось верить свою жизнь в их руки.

Выдающиеся организаторские способности Флоренс Найтингейл – нашей самой знаменитой медсестры – радикально изменили облик ухода за больными. Но она была не одинока: в историю сестринского дела вошло множество самоотверженных женщин, посвятивших свою жизнь повышению его качества. Одной такой группой стали акушерки Святого Раймонда Нонната^[1]. Это был религиозный орден англиканских монахинь, посвятивших себя благополучию малообеспеченных рожениц. Они открывали родильные дома в лондонском Ист-Энде и во многих трущобах великих индустриальных городов Великобритании.

В девятнадцатом веке (и ранее, конечно) бедная женщина не могла

позволить себе плату, требуемую врачом за родовспоможение. Таким образом, она была вынуждена довольствоваться услугами акушерок-самоучек, или «мастериц на все руки», как их часто называли. Некоторые оказывались неплохими практиками, но остальные могли похвастаться лишь пугающими показателями смертности. В середине девятнадцатого столетия материнская смертность среди беднейших классов составляла 35–40 процентов, младенческая – 60. Осложнения вроде эклампсии, кровотечения или неправильного положения плода означали неизбежную смерть матери. Иногда, если какое-либо отклонение обнаруживалось во время родов, «мастерицы» бросали пациенток умирать в агонии. Нет никаких сомнений в том, что они работали в, мягко говоря, антисанитарных условиях, разнося инфекции, болезни и смерть.

Кроме того, что у них не было никакой подготовки, никто не контролировал ни численность, ни практику подобных «мастериц». Сент-Раймондские акушерки считали, что ответ на это социальное зло заключается в надлежащем обучении акушерок и законодательном контроле их работы.

В борьбе за реформу законодательства эти решительные монахини и их сторонники столкнулись с жесточайшим сопротивлением. Битва завязалась примерно в 1870 году; их называли «дурёхами», «канительщицами», «чудачками» и «назойливыми кумушками», обвиняли во всех смертных грехах – от извращения до жажды неограниченной наживы. Однако монахинь Нонната было не победить.

Сражение продолжалось тридцать лет, но наконец в 1902 году был принят первый Закон об акушерках и появился Королевский колледж акушерок.

Работа акушерок Святого Раймонда Нонната основывалась на религиозной дисциплине. Я не сомневаюсь, что в то время это было необходимо, потому что условия работы были настолько отвратительны, а работа столь безжалостна, что за неё могли взяться только верные Богу. Флоренс Найтингейл писала, как ей, едва ли двадцатилетней, явился Христос, возвестивший, что её призвание – в этой работе.

Сент-Раймондские акушерки работали в трущобах лондонского Доклендса среди беднейших из бедных и почти всю первую половину XIX века были единственными достойными акушерками, работавшими там. Они неустанно трудились во время эпидемий холеры, брюшного тифа, полиомиелита и туберкулёза. В XX веке они работали во время двух мировых войн. В 1940-х остались в Лондоне и пережили «Большой блиц» с его массивной бомбардировкой доков. Они принимали роды в

бомбоубежищах, землянках, криптах, на станциях метро. Это была неустанная, самоотверженная работа, которой они посвятили свои жизни, их знали и уважали, ими восхищались все жители Доклендса. Все говорили о них с искренней любовью.

Таковыми были акушерки Святого Раймонда Нонната, когда я впервые их узнала: орден монахинь, давших и соблюдавших обеты бедности, целомудрия и послушания, но также квалифицированных медсестёр и акушеров, в ряды которых я вступила, не подозревая, что это окажется самым важным опытом в моей жизни.

Вызовите акушерку

Как я вообще в это ввязалась? Должно быть, сошла с ума! На свете есть десятки профессий, в которых я могла бы преуспеть: манекенщица, стюардесса, горничная на корабле. Я мысленно перебираю варианты манящих, высокооплачиваемых должностей. Только идиотка могла удумать стать медсестрой. А теперь ещё и акушеркой...

Половина третьего утра! Полусонная, я влезаю в свою униформу. После семнадцатичасового рабочего дня удалось поспать всего три часа. Кому под силу такая работа? Снаружи ужасно холодно и льёт как из ведра. В самом Ноннатус-Хаусе достаточно зябко, а уж на велосипедной стоянке... Дёргаю в потёмках велосипед и больно ударяюсь лодыжкой. Повинуясь слепой силе привычки, прилаживаю к велосипеду акушерскую сумку и выталкиваю его на безлюдную улицу.

Поворачиваю за угол, на Лейланд-стрит, пересекаю Ост-Индия-Докроуд и гоню на Собачий остров. Дождь смывает остатки сна, мерно крутящиеся педали умирляют нервы. Почему я вообще подалась в медсёстры? Мысленно возвращаюсь на пять или шесть лет назад. Разумеется, у меня не было никакого ощущения призвания или непреодолимого стремления исцелять болящих, которое должно испытывать медсестре. Что же тогда? Очевидно, разбитое сердце, желание сбежать, принять вызов, сексуальная униформа с манжетами и накрахмаленным воротничком, приталенным силуэтом и дерзкой маленькой шапочкой. Сойдёт за причину? Не знаю. Что касается сексуальной униформы, то это смешно, размышляю я, крутя педали в тёмно-синем габардине и шапочке, исправно сползающей с головы. Куда как сексуально.

Переезжаю первый разводной мост, ближайший к сухим докам. Весь день они наполнены шумом и жизнью загружаемых и разгружаемых огромных судов. Тысячи мужчин: докеры, грузчики, шофёры, лоцманы, матросы, механики, крановщики – все неустанно трудятся. Сейчас доки молчат, слышен только плеск воды. Темень непроглядная.

Проезжаю мимо многоквартирных домов с бесчисленными тысячами спящих, возможно, по четыре или пять человек в кровати, в крошечных двухкомнатных квартирах. Две комнатки на семью с десятью-двенадцатью детьми. Как они там уместаются?

Еду дальше, спеша к своей пациентке. Пара полицейских машут мне, выкрикивая приветствия; короткая встреча безмерно поднимает настроение. Медсёстры и полицейские всегда понимают друг друга, особенно в Ист-Энде. Интересно, размышляю я, они всегда ходят по двое – боятся. Вы никогда не встретите одинокого полицейского. А мы, медсёстры и акушерки, всегда одни – и пешком, и на велосипеде. Нас не трогают. Самые грубые и норовистые докеры настолько глубоко уважают, даже почитают местных акушеров, что мы можем ходить куда угодно одни и днём, и ночью.

Передо мной расстилается тёмная, без единого фонаря, дорога. Она непрерывной петлёй опоясывает Остров, но от неё, перекрещиваясь, отходят узкие улочки, вмещающие нагромождение построенных вплотную друг к другу домов. Дорога не лишена романтики – здесь всегда слышен шум реки.

Вскоре я сворачиваю с Вест-Ферри-роуд в переулки. И сразу же вижу дом своей пациентки – единственный, где горит свет.

Кажется, внутри меня ждёт целая делегация женщин. Мать пациентки, её бабушка (или это две бабушки?), две или три тётки, сёстры, лучшие подруги, соседки. Слава богу, на этот раз нет миссис Дженкинс.

На заднем плане сего могучего сестричества теряется одинокий мужчина – источник всего волнения. Я всегда сочувствую мужчинам в такие минуты: бедняги оказываются совершенно не у дел.

Шум и болтовня женщин окутывают меня, словно одеяло.

– Привет, дорогуша, как сама? Скоренько ты обернулася, значит.

– Давай-ка сюды пальтецо и шапку.

– Жуть, а не ночка. Заходи погреться, значит.

– Хошь чайку? Пробежёт до нутра, а, дорогуша?

– Она наверху, тама же, где и давеча. Схватки – каждые пять минут.

Она спала, как ты ушла, прям до полуночи. Потом проснулася, в два, шо ли, схватки всё сильнше и чаще, и мы поняли, шо пора б звать акушерку, да, ма?

Согласившись, «ма» авторитетно засуетилась:

– Мы закипятели воды, заложили хороших чистых полотенцев, растопили огню, вот как хорошо и тепло для младенчика-то.

Я никогда не любила много говорить, а сейчас и не до того. Отдаю им плащ и шляпу, отказываюсь от чая, по опыту зная, что, как правило, чай в Попларе отвратителен: крепкий – впору забор смолить, настаивающийся часами, сдобренный липкой сладкой сгущёнкой.

Я рада, что побрила Мюриэль ещё днём, когда света было достаточно,

чтобы её не порезать, да ещё и обязательную клизму поставила. Терпеть не могу эту работу, слава богу, она позади, да и кому захочется вводить две пинты мыльно-водяной клизмы в доме без туалета со всеми вытекающими последствиями в два тридцать утра?

Поднимаюсь к Мюриэль, приятной двадцатипятилетней женщине, рожаящей четвёртого ребёнка. Газовая лампа разливает по комнате мягкий тёплый свет. Яростно полыхает огонь – жар почти удушающий. Быстрый взгляд говорит мне, что Мюриэль близится ко второму этапу у родов: потоотделение, слегка учащённое дыхание, обращённый вовнутрь взгляд, появляющийся у женщины во время, когда она сосредотачивает каждую унцию душевных и физических сил на своём теле и на чуде, которое она вот-вот произведёт на свет. Мюриэль ничего не говорит, только сжимает мою руку и озабоченно улыбается. Тремя часами ранее я покинула её на первом этапе родов. Весь день ей не давали покоя ложные схватки, и она очень устала, так что около десяти вечера я дала ей хлоралгидрат, в надежде, что она проспит всю ночь и утром проснётся отдохнувшей. Не сработало. Роды хоть когда-нибудь проходят по плану?

Я должна понять, насколько продвинулись роды, и готовлюсь к влагалищному исследованию. Пока я тщательно мою руки, накатывает ещё одна схватка – видно, как она нарастает, пока не достигает такой мощи, что, кажется, сейчас разорвёт тело на части. Считается, что в разгар родов давление, с которым сокращается матка, сопоставима с силой захлопывающихся дверей поезда метро. Наблюдая, как Мюриэль рожает, я охотно в это верю. Её мать и сёстры находятся рядом. Она цепляется за них в бессловесной судорожной агонии, задыхающийся стон вырывается из горла, затем женщина опустошённо откидывается – набраться сил на следующую схватку.

Надеваю перчатку и смазываю руку. Объясняю Мюриэль, что хочу осмотреть её, и прошу подтянуть колени. Она точно знает, что я собираюсь делать и почему. Подкладываю стерильную простыню под её ягодицы и ввожу два пальца во влагалище. Уже можно нащупать головку, головное предлежание, шейка матки почти полностью раскрылась, но воды, несомненно, ещё не отошли. Слушаю сердцебиение плода – устойчивые 130 ударов в минуту. Слава богу. Это всё, что мне нужно знать. Говорю Мюриэль, что всё в порядке и осталось совсем чуть-чуть. Начинается следующая схватка, слова и действия приостанавливаются – всё сосредотачивается на родах.

Нужно разложить принадлежности. С комода всё заранее убрано, чтобы я могла спокойно работать. Выкладываю ножницы, зажимы, бинты,

стетоскоп для беременных, почкообразные лотки, марлю и ватные тампоны, кровеостанавливающий зажим. Больше ничего и не нужно, и в любом случае всё должно быть лёгким, чтобы возить на велосипеде и таскать вверх и вниз, нарезая мили по лестницам и балконам многоквартирных домов.

Кровать подготовлена заранее. Мы достали сумку роженицы, собранную мужем за неделю или две до родов. В ней были послеродовые прокладки – мы звали их «зайчиками», – большие одноразовые впитывающие простыни и невпитывающая коричневая бумага. Эта коричневая бумага выглядела до нелепости старомодно, но была весьма эффективной. Размером с кровать, она подкладывалась под впитывающие прокладки и простыни, а после родов всё сворачивалось и сжигалось.

Люлька готова. Готов и таз подходящего размера, а внизу кипятятся галлоны горячей воды. В доме нет горячего водопровода, и мне интересно, как люди обходились, когда не было вообще никакого. Должно быть, это занятие занимало всю ночь – наносить и вскипятить. На чём? Кухонная плита должна постоянно топиться, углём, если семья могла себе это позволить, или хотя бы прибитым к берегу плавником.

Но у меня нет времени, чтобы сидеть и размышлять. Бывает, роды длятся всю ночь, но что-то подсказывает мне, что это не тот случай. Возрастающая сила и частота схваток вкупе с тем, что это четвёртый ребёнок, указывали, что второй этап не за горами. Теперь схватки приходят каждые три минуты. Сколько ещё Мюриэль сможет перенести, сколько вообще женщина может перенести? Вдруг лопается околоплодный пузырь, и воды заливают кровать. Хорошо, что только сейчас; я-то опасалась, что воды отойдут слишком рано. После схватки мы с матерью Мюриэль как можно быстрее заменяем намочшие простыни. Сама она уже не может подняться, приходится её перекачивать. После следующей схватки показывается головка. Теперь необходимо особое сосредоточение.

Подчиняясь инстинкту, женщина сильно тужится. Если всё в норме, повторнородящая может вытолкнуть головку в считанные секунды, но ничего хорошего в этом нет. Каждая акушерка должна стараться, чтобы головка выходила медленно.

– Мюриэль, надо перевернуться на левый бок, как схватка пройдёт. Постарайся не тужиться, пока ты на спине. Вот так, поворачивайся, дорогая, лицом к стенке. Подтяни правую ногу к подбородку. Дыши глубоко, продолжай дышать глубоко. Сконцентрируйся на глубоком дыхании. Сестра тебе поможет.

Я склоняюсь над низко провисшей кроватью. «Кажется, в этих краях

все кровати провисают посередине», – думаю я. Иногда мне приходилось доставать ребёнка, стоя на коленях. Однако сейчас не до этого – пришла новая схватка.

– Дыши глубоко, тужься слегка, не слишком сильно.

Схватка проходит, и я снова слушаю сердцебиение плода: на сей раз 140. Пока в пределах нормы, но учащённое сердцебиение показывает, через что ребёнок проходит в процессе рождения.

Ещё одна схватка.

– Тужься совсем чуть-чуть, Мюриэль, не слишком сильно, скоро мы увидим твоего малыша.

Она не в себе от боли, но в последние несколько секунд родов женщина приходит в такой неопиcуемый восторг, что боль, кажется, уже не имеет значения. Ещё одна схватка. Головка выходит быстро, слишком быстро.

– Не тужься, Мюриэль, просто дыши – вдох, выдох – быстро, продолжай в том же духе.

Я придерживаю голову, предотвращая разрыв промежности.

Очень важно замедлять голову между схватками, и, удерживая её, я понимаю, что взмокла от усилий, концентрации, жары и напряжения.

Схватка проходит, и я немного расслабляюсь, снова слушаю сердцебиение плода: по-прежнему нормальное. Она вот-вот родит. Уперев ладонь правой руки за расширившимся анусом, я надавливаю решительно и уверенно, пока темя полностью не показывается из вульвы.

– Со следующей схваткой, Мюриэль, выйдет головка. Теперь я хочу, чтобы ты вообще не тужилась. Просто позволь мышцам живота самим сделать всю работу. Всё, что ты должна делать, так это попытаться расслабиться и дышать как сумасшедшая.

Я приготовилась к следующей схватке, пришедшей с удивительной стремительностью. Мюриэль дышит часто, не прерываясь. Я растягиваю промежность рядом с появившейся макушкой, и головка выходит.

Мы все вздыхаем с облегчением.

– Молодец, Мюриэль, ты отлично справилась, осталось совсем чуть-чуть. Ещё одна схватка – и мы узнаем, мальчик у тебя или девочка.

Личико младенца синее и морщинистое, покрытое слизью и кровью. Проверяю сердцебиение. По-прежнему нормальное. Я слежу за поворотом головки на одну восьмую круга. Теперь из-под лонной дуги появилось плечико.

Ещё одна схватка.

– Вот так, Мюриэль, теперь можешь тужиться – изо всех сил.

Я направляю появившееся плечико вперед и вверх. Следом идут другое

плечико и рука, и ребёнок легко выскальзывает наружу.

– Ещё один мальчонка! – восклицает мать. – Слава богу! Сестра, он здоровенький?

Мюриэль заливается следами радости:

– О, благослови его Бог. Так, дайте-ка мне взглянуть. Ой, какой славненький.

Я почти так же ошеломлена, как и Мюриэль, столь сильно облегчение от благополучных родов. Зажимаю пуповину в двух местах и перерезаю посередине; беру младенца за лодыжки вверх тормашками – убедиться, что в лёгкие не попала слизь.

Он дышит. Теперь ребёнок – отдельное существо.

Я заворачиваю его в полотенца и передаю Мюриэль, которая убаюкивает сыночка, воркует над ним, целует и называет «прекрасным, милым, ангелом». По правде говоря, в первые минуты после рождения ребёнок – совсем не образец чистой красоты: измазан кровью, синюшный, сморщенный, с зажмуренными глазками. Но мать никогда не видит его таким. Для неё он – совершенство.

Однако моя работа не закончена. Надо удалить плаценту, целиком и полностью, не оставив ни кусочка в матке. Если оставить, у женщины возникнут серьёзные проблемы: инфекция, постоянное кровотечение, возможно, даже большая кровопотеря, что может привести к смерти. Это, пожалуй, самая сложная часть любых родов – извлечь плаценту целой и невредимой.

Мышцы матки, успешно справившись с непростой задачей рождения ребёнка, часто словно хотят отдохнуть. Нередко следующие десять-пятнадцать минут не происходит никаких сокращений. Это хорошо для матери, которой хочется, забыв о том, что у неё внутри, лежать, обнимая своего малыша, но для акушерки это время может стать тревожным. Когда сокращения матки возобновляются, они зачастую слишком слабы. Успешное извлечение плаценты – обычно вопрос точного подгадывания момента, проницательности и, самое главное, опыта.

Говорят, чтобы стать хорошей акушеркой, нужно семь лет практики. Шёл мой первый год, я была одна, стояла глухая ночь, женщина и её семья безгранично мне доверяли, в доме не было телефона. «Пожалуйста, Боже, не дай мне ошибиться», – молилась я.

Более или менее прибрал постель, я прошу Мюриэль лечь на спину, на тёплую сухую послеродовую простынь и прикрываю её одеялом. Пульс и давление нормальные, ребёнок спокойно лежит у неё на руках. Всё, что мне остаётся, – ждать.

Я сижу на стуле возле кровати, держа руку на животе Мюриэль, чтобы сразу почувствовать и оценить ситуацию. Иногда третья стадия родов может занять двадцать-тридцать минут. Я размышляю о важности терпения и возможных несчастьях, случающихся из-за желания поторопиться. Живот кажется мягким и широким, значит, плацента, очевидно, всё ещё держится в верхнем сегменте матки. За десять минут не было ни одного сокращения. Пуповина торчит из влагалища, это моя уловка – зафиксировать её чуть ниже вульвы, чтобы заметить, когда пуповина удлинится – признак того, что плацента отделилась и опускается в нижний сегмент матки. Но ничего не происходит. Мою голову посещает внезапная мысль: рассказы о благополучных родах, принятых таксистами или кондукторами, никогда не касаются подобного. В чрезвычайных обстоятельствах любой водитель автобуса может принять роды, но кто из них имеет хоть малейшее представление, как управляться на третьем этапе? Полагаю, большинство несведущих людей захотят вытянуть пуповину, думая, что так они вытащат и плаценту, но это может привести к сущей катастрофе.

Мюриэль воркует и целует своего ребёнка, пока её мать прибирается. Огонь потрескивает. Я спокойно жду, размышляя.

Почему общество не считает акушерок героинями, хотя должно бы? Почему им придают столь маленькое значение? Их должно бы возносить до небес. Но не возносят. Ответственность, которую акушерки берут на себя, безмерна. Их умения и знания исключительны, но принимаются как нечто само собой разумеющееся и обычно недооцениваются.

Все студенты-медики в 1950-х годах обучались акушерками. Конечно, им читали лекции профессора-гинеколога, но без клинической практики лекции не имеют смысла. Так было во всех университетских клиниках: студенты прикреплялись к наставнице-акушерке и выезжали с ней на вызовы – учиться на практике. Все врачи общей практики прошли обучение у акушерок. Только об этом мало кто знал.

Живот напрягается и немного поднимается в области желудка, словно сокращение сжимает мышцы. «Началось», – думаю я. Но нет. Не оно. Живот после сокращения слишком мягкий.

Снова жду.

Размышляю о невероятном прогрессе акушерской практики за столетие. Поначалу самоотверженным женщинам, получившим соответствующую подготовку, приходилось обучать других. Сертифицированному обучению акушерок было менее пятидесяти лет. Мою мать и всех её братьев и сестёр принимали женщины без специальной подготовки, которых обычно звали

«хозяйками» или «мастерицами». Говорят, врачи вообще не присутствовали на родах.

Ещё одно сокращение. Живот поднимается под моей рукой и остаётся твёрдым. Одновременно зажимы, которые я зафиксировала на пуповине, немного перемещаются. Пробую их. Да, ещё четыре-шесть дюймов пуповины с лёгкостью выходят. Плацента отделилась.

Прошу, чтобы Мюриэль передала ребёнка матери. Она знает, что я собираюсь сделать. Массирую живот, пока он не становится твёрдым, круглым и подвижным, решительно схватываю его и толкаю вниз и назад в таз. Пока я толкаю, в вульве появляется плацента, и я вынимаю её другой рукой. Сопровождаемые выбросом свежей и запёкшейся крови, выскальзывают мембраны.

Чувствую себя обессиленной, но успокоившейся. Ставлю лоток с плацентой на комод для последующего осмотра и следующие десять минут сижу подле Мюриэль, продолжая массировать живот, чтобы удостовериться, что он остаётся твёрдым и круглым, – это способствует удалению остаточных сгустков крови.

В более поздние годы после рождения ребёнка матерям станут давать стимулирующие препараты, вызывающие немедленные энергичные сокращения, так что плацента извлекается за три-пять минут. Медицина не стоит на месте! Но в 1950-х ничего такого ещё не было.

Остаётся только прибраться. Пока миссис Хокин оmyвает и переодевает дочь, я исследую плаценту. Кажется, целая, и все мембраны на месте. Затем осматриваю ребёнка – он выглядит здоровым и нормальным. Оmyваю и одеваю его в смехотворно большие одежки, размышляя о радости и счастье Мюриэль, её умиротворённом лице. Она выглядит уставшей, думаю я, но без малейших признаков напряжения или переутомления. И так всегда! Должно быть, женщины обладают встроенной системой полного забвения – каким-то гормоном, который выбрасывается в ту часть мозга, что отвечает за память, сразу же после родов, стирая все напоминания о недавней агонии. Будь иначе, ни одна женщина не захотела бы второго ребёнка. Когда всё готово, разрешают войти гордому отцу. В наши дни большинство отцов находятся рядом со своими жёнами во время родов, присутствуют при самом рождении. Но это – недавнее нововведение. На протяжении всей истории, насколько мне известно, подобное было неслыханно. Конечно, в 1950-х все были бы глубоко потрясены такой идеей. Деторождение, как полагали, было сугубо женским делом. Сопротивлялись даже присутствию докторов – сплошь мужчин до конца XIX столетия; они были допущены к родам, только когда

акушерство наконец признали разделом медицинской науки.

Джим – маленький мужчина, ему, вероятно, меньше тридцати, но выглядит он примерно на сорок. Он бочком пробирается в комнату, выглядя робким и смущённым. Возможно, моё присутствие делает его косноязычным, хотя сомневаюсь, что он мог когда-либо похвастаться отличным владением языком.

– Всё ничего, девочка? – бормочет он и клюёт Мюриэль поцелуем в щёку.

Он выглядит ещё меньше рядом со своей пышной женой, на добрых пять стоунов^[2] превосходящей его по весу. На фоне её вспыхнувшей розовым, недавно омытой кожи он выглядит ещё более серым, худым и сухим. «Результат шестидесятичасовой рабочей недели в доках», – думаю я про себя.

Затем он смотрит на младенца, хмыкает, прочищая горло, – очевидно, подыскивает подходящий эпитет – и говорит:

– Глядь, а он ничего так.

И уходит.

Мне жаль, что я не смогла узнать мужчин Ист-Энда. Но это было совершенно невозможно. Я принадлежала к женскому миру, к запретной теме родов. Мужчины вежливы и почтительны с акушерками, но никогда не заведут с нами знакомства, не говоря уже о дружбе. «Мужская» и «женская» работа строго разделены. Так что, как и Джейн Остин, никогда не описывавшая в своих романах разговора двух мужчин, потому что, как женщина, она не могла знать, на что похожи чисто мужские разговоры, я не многое могу написать о мужчинах Поплара – только поверхностные наблюдения.

Я готова уходить. Это были долгий день и ночь, но глубокое чувство выполненного долга и удовлетворения облегчают мою поступь и возносят сердце. Когда я выхожу из комнаты, Мюриэль и ребёнок спят. Внизу добрые люди опять предлагают мне чая, от которого я снова как можно деликатней отказываюсь, заверяя, что в Ноннатус-Хаусе меня ждёт завтрак. Я велю вызывать нас, если появится любая причина для беспокойства, но заверяю, что вернусь в обед, а потом – вечером.

Я вошла сюда из дождя и тьмы, сгорая от волнения и предвосхищения, преисполненная заботы о женщине, готовой вот-вот дать начало новой жизни. Теперь я оставляю мирно спящий дом с новой душой в самом его центре, устремляясь навстречу утренней заре.

Еду по тёмным пустынным улицам, безмолвным докам, мимо запертых ворот, пустых портов. Солнце только встаёт над рекой, открываются

ворота, по улице, окликая друг друга, текут мужчины; начинают гудеть моторы, оживают краны; грузовики въезжают через огромные ворота; гудит прибывающий корабль. Верфь – не слишком милое место, но для молодой девушки, спавшей три часа за двадцатичетырёхчасовой рабочий день, после тихого трепета безопасных родов здорового малыша, нет ничего более упоительного. Я даже не чувствую усталости.

Разводной мост открыт – значит, дорога закрыта. Большое океанское судно медленно и величественно входит в пролив, его нос и трубы – в каких-то дюймах от домов по обе стороны. Я жду, мечтательно наблюдая за лоцманами и штурманами, ведущими его к причалу. Хотелось бы мне знать, как они это делают. Уровень их мастерства запределен, оно постигается годами и передаётся от отца к сыну или от дяди к племяннику. Они – принцы доков, и подёнщики относятся к ним с глубочайшим уважением.

Корабль проходит мост примерно за пятнадцать минут. Есть время подумать. Странно, как сложилась моя жизнь, с самого детства, прерванного войной, странным романом, когда мне было всего шестнадцать, и осознанием три года спустя, что нужно уходить. Так, по чисто прагматическим соображениям, мой выбор пал на профессию медсестры. Сожалею ли я о нём?

Резкий пронизывающий звук выдёргивает меня из задумчивости – мост начинает закрываться. Дорога снова открыта, движение возобновляется. Я прибываю ближе к обочине: грузовики вокруг немного пугают. Огромный мужчина со стальными мышцами стягивает шапку и кричит:

– Дóбро утро, сестра!

Я кричу в ответ:

– Доброе! Чудесный день, – и качусь дальше, ликуя от своей юности, утреннего воздуха, пьянящего волнения доков, но прежде всего – от бесподобного ощущения, что вручила прекрасного ребёнка довольной маме.

Как я вообще в это ввязалась? Не жалею ли я об этом? Никогда, никогда, никогда. Я бы не променяла свою работу ни на что на свете.

Ноннатус-Хаус

Если бы два года назад кто-нибудь сказал мне, что я отправлюсь в монастырь обучаться акушерству, меня бы как ветром сдуло. Не такой девушкой я была. Женские монастыри подходят святым мариям, скучным и простым. Не мне. Я считала Ноннатус-Хаус маленькой частной больницей, одной из сотен по всей стране.

Я приехала со всеми своими пожитками промозглым октябрьским вечером, имея представление о Лондоне только по Вест-Энду. Автобус от Олдгейта привёз меня в совсем другой Лондон: узкие неосвещённые улочки, следы бомбёжек, грязные серые дома. С трудом обнаружив Лейланд-стрит, я взялась за поиски больницы. Но ее там не оказалось. Возможно, неверно записала адрес?

Я остановила проходившую мимо женщину и спросила про акушеров Святого Раймонда Нонната. Леди поставила авоську и приветливо поглядела на меня; недостающие передние зубы добавляли её лицу сердечности. Металлические бигуди поблёскивали в темноте. Она вытащила изо рта сигарету и сказала что-то вроде:

– Ты хошь ноннатских кошеров, а, дорогуша?

Я уставилась на неё, пытаюсь сообразить, что к чему. Никаких «кошек» я не просила.

– Нет. Мне нужны акушеры Святого Раймонда Нонната.

– Агась. Дык я и грю, милашенька. Ноннат. Вона, дорогуша. Тама твои кошеры.

Она ободряюще похлопала меня по руке, указала на какое-то здание, сунула сигарету обратно в рот и поковыляла прочь, хлопая домашними тапочками по мостовой.

Думаю, будет уместно рассказать сбитому с толку читателю о трудностях записи диалекта кокни. Чистый кокни непонятен – или был таковым – постороннему, но постепенно ухо привыкает к причудливому переплетению гласных и согласных, интонациям и идиомам, и через некоторое время вся эта мешанина обретает смысл. Когда я писала о жителях Доклендса, то будто бы вновь слышала их голоса, но вот воспроизвести диалект на письме оказалось ох как непросто!

Но не будем отвлекаться.

Я с сомнением разглядывала здание: грязный красный кирпич,

викторианские арки и башенки, железные перила, никакого света, рядом – воронка от попадания бомбы. «Господи, и зачем я приехала? – подумала я. – Это же даже не госпиталь».

Я потянула ручку колокольчика, и изнутри донёлся глубокий звон. Несколько мгновений спустя раздались шаги. Дверь отворила дама в странной одежде – не совсем медсестринской, но и не совсем монашеской. Женщина была высокой, худой и очень-очень старой. Не говоря ни слова, она пристально смотрела на меня почти с минуту, затем наклонилась вперёд и взяла за руку. Осмотрелась по сторонам, втащила меня в коридор и заговорщически зашептала:

– Полюса разошлись, моя дорогая.

От удивления я лишилась дара речи, но, к счастью, она не нуждалась в моём ответе и продолжила, почти задыхаясь от волнения:

– Да-да, Марс и Венера пришли в согласие. Ты, конечно же, знаешь, что это значит?

Я потрясла головой.

– О, моя дорогая, силы хаоса, совмещение жидкого с твёрдым, падение шестигранника, проходящего сквозь эфир. Какое странное время! Так захватывающе. Малютки-ангелы хлопают крылышками.

Она рассмеялась и, хлопнув костлявыми ладонями, невысоко подпрыгнула.

– Но заходи, заходи, моя дорогая. Тебе нужно чая с пирогом. Пирог очень хорош. Любишь пироги?

Я кивнула.

– И я. Пойдём-ка вместе, моя дорогая, расскажешь мне своё мнение о теории, что глубины космоса всегда притягиваются гравитацией к небесным телам.

Повернувшись, она заспешила по каменному коридору, белое покрывало развивалось позади неё. Я сомневалась, стоит ли мне идти за нею, потому что всё больше думала, что определённо ошиблась адресом, но старушка, казалось, ждала, что я не отстану, и всё время говорила, говорила, задавая вопросы, ответов на которые явно не ожидала.

Она вошла в огромную викторианскую кухню с каменным полом, каменной раковиной, деревянной сливной полкой, столами и буфетами. В комнате также стояла старомодная газовая плита с деревянными сушилками для посуды, над раковиной висел большой водонагреватель Аскота, и по стенам тянулись свинцовые трубы. В углу примостилась большая коксовая печь, к потолку бежал дымок.

– Но вернёмся к пирогу, – спохватилась моя спутница. – Миссис Би

испекла его этим утром. Я видела это своими собственными глазами. Куда они его поставили? Погляди-ка по сторонам, дорогая.

Ошибиться домом – это одно, а шарить на чужой кухне – совсем другое. Я впервые осмелилась заговорить:

– Это Ноннатус-Хаус?

Пожилая леди вскинула руки в театральном жесте и чётким, звенящим голосом возопила:

– Рождённый не в жизни, но в смерти! Для величия. Рождённый вести и вдохновлять. – Она возвела глаза к потолку, понизив голос до взволнованного шёпота: – Стать святым.

Она сумасшедшая? Я уставилась на женщину в изумлении, а потом переспросила:

– Да, но это Ноннатус-Хаус?

– О, моя дорогая, увидев тебя, я сразу же осознала, что ты из тех, кто понимает. Небеса непрерывны. Молодость даётся даром, колокольчики поют грустное индиго, глубокий вермильон. Давай возьмём от жизни столько, сколько сможем. Ставь чайник, дорогая. Не стой столбом.

Повторять вопрос, казалось, не было смысла, так что я стала наполнять чайник. Едва я отвернула кран, трубы по всей кухне тревожно загремели и затряслись. Старушка что-то искала, открывая буфеты и жестянки, непрерывно болтая о космических лучах и сливающихся эфирах. Внезапно она торжествующе воскликнула:

– Пирог! Вот он! Я знала, что найду его.

Она повернулась ко мне и зашептала с озорным блеском в глазах:

– Думают, от сестры Моника Джоан можно что-то утаить! Им не хватает смекалки, моя дорогая. Работающий или гуляющий, смеющийся или отчаявшийся – никто не сокроется, всех выведут на чистую воду. Возьми две тарелки и нож и не слоняйся без дела. Где же чай?

Мы сели за огромный деревянный стол. Я разлила чай, а сестра Моника Джоан отрезала два больших куса пирога. Раскрошив свой на маленькие кусочки, она принялась гонять их по тарелке длинными костлявыми пальцами. Она ела, восторженно бормоча, подмигивая мне каждый раз, когда отправляла в рот очередной кусочек. Пирог был превосходен, и мы вступили в братский заговор, сойдясь во мнении, что ничего не случится, если мы съедим ещё по куску.

– Никто не узнает, моя дорогая. Все подумают, это Фред или тот бедняга, что сидит на пороге и уплетает свои бутерброды.

Она выглянула из окна.

– В небе что-то светится. Как думаешь, это планета взорвалась или

высадились пришельцы?

Я была уверена, что это самолёт, но выбрала взорвавшуюся планету, а потом спросила:

– Выпьете ещё чая?

– Вот просто с языка сняла! А как насчёт ещё одного куска пирога? Они не вернутся до семи, знаешь ли.

Женщина продолжала болтать. И я, хотя не могла взять в толк, кто же она, находила её очаровательной. Чем больше я на неё смотрела, тем больше видела хрупкой красоты в высоких скулах, живых глазах, морщинистой, цвета слоновой кости коже и голове, гордо державшейся на тонкой длинной шее. Постоянное движение выразительных рук с длинными пальцами, напоминающее балет в исполнении десяти танцоров, завораживало. Мне казалось, будто я околдована.

Мы без особых усилий доели пирог, согласившись, что пустая жестянка привлечёт куда меньше внимания, чем жалкий кусочек, оставленный на тарелке.

Сестра Моника Джоан озорно подмигнула и усмехнулась:

– Первой заметит эта надоедливая сестра Евангелина. Видела бы ты её, моя дорогая, когда она сердается. О, тягостный груз... Её красное лицо становится ещё краснее, из носа капает. Да-да, по-настоящему капает! Я видела. – Она надменно вскинула голову. – Но что это может означать для меня? Тайна свидетельства сознания в доме в условный час, предназначение и событие одновременно; о, лишь немногие поистине избранные способны приветствовать осуществление этого! Но тихо. Что это? Поторопимся.

Она проворно вскочила, рассеивая крошки по столу, полу и самой себе, схватила жестянку и побежала с ней в кладовую. Затем снова села за стол, напустив на себя преувеличенно невинный вид.

Из коридора донеслись звуки шагов по каменному полу и женские голоса. На кухню, разговаривая о клизмах, запорах и варикозных венах, вошли три монахини. Я пришла к заключению, что, должно быть, вопреки всем сомнениям, попала в правильное место.

Одна из монахинь, остановившись, обратилась ко мне:

– Вы, должно быть, медсестра Ли. Мы вас ждали. Добро пожаловать в Ноннатус-Хаус. Я сестра Джулианна, старшая сестра. Приглашаю вас немного поболтать в моём кабинете после ужина. Вы поели?

Лицо и речь её были столь открыты и честны, а вопрос столь прост, что я не смогла ответить. Пирог плотно залёг на дне желудка. Пробормотав: «Да, спасибо», я украдкой смахнула крошки с юбки.

– Тогда вы извините нас, если мы быстренько перекусим? Обычно мы сами готовим себе ужин, потому как приходим в разное время.

Сёстры засуетились, доставая тарелки, ножи, сыр, булочки и другие мелочи из кладовки и расставляя их по столу. Тут из-за двери раздался крик, и появилась краснолицая монахиня с жестянкой из-под пирога.

– Пропал. Жестянка пуста. Где пирог миссис Би? Она испекла его утром.

Должно быть, это сестра Евангелина. Её лицо становилось всё краснее, пока она зорко глядела по сторонам.

Воцарилось молчание. Три сестры переглядывались. Сестра Моника Джоан – сама невинность – сидела в сторонке, прикрыв глаза. Пирог вытворял в моём желудке что-то невообразимое, и, поняв, что столь тяжкое преступление не может остаться сокрытым, я хрипло прошептала:

– Я съела немножко.

Раскрасневшееся лицо и крупная фигура оборотились к сестре Монике Джоан:

– А эта съела всё остальное. Посмотрите на неё – вся в крошках. Это отвратительно. Ох, какая жадина! Ко всему приложит руку. Пирог предназначался нам всем. Ты... ты...

Сестра Евангелина дрожала от гнева, возвышаясь над сестрой Моникой Джоан, которая сидела с закрытыми глазами совершенно неподвижно и словно бы ничего не слышала. Она выглядела хрупкой и аристократичной. Я не могла вынести этого и снова подала голос:

– Нет, вы ошибаетесь. Сестра Моника Джоан съела только кусочек, а я – всё остальное.

Три монахини в изумлении уставились на меня. Я почувствовала, как заливаюсь краской. Будь я собакой, пойманной на краже воскресного жаркого, то, поджав хвост, заползла бы под стол. Войти в странный дом и умять большую часть пирога без ведома и согласия законных владельцев было проступком, достойным наказания. Я только смогла пробормотать:

– Прошу прощения. Я была голодна. Я больше не буду...

Сестра Евангелина фыркнула и шваркнула жестянку на стол.

Сестра Моника Джоан, сидевшая до сих пор с закрытыми глазами и отвернув голову, впервые зашевелилась. Она вытащила из кармана носовой платок и протянула сестре Евангелине, держа его за уголок большим и указательным пальцами, брезгливо растопырив остальные.

– Возможно, пришло время немного вытереться, дорогая, – сладко проговорила она.

Гнев вскипел ещё пуще. Лицо сестры Евангелины побагровело, под

носом собралось больше влаги.

– Нет, спасибо, дорогая. У меня есть свой, – процедила она сквозь зубы.

Сестра Моника Джоан неестественно подпрыгнула, изящно промокнула лицо платком и пробормотала словно бы про себя:

– Кажется, дождь начинается. Не выношу дождя. Удаюсь-ка. Прошу извинить меня, сёстры. Встретимся на вечерне.

Она любезно улыбнулась трём сёстрам, потом повернулась ко мне – впервые в жизни я видела, чтобы кто-нибудь столь многозначительно и озорно подмигивал, – и надменно выплыла из кухни.

Когда за ней закрылась дверь, я почувствовала, как съёживаюсь от стыда, оставшись наедине с тремя сёстрами. Хотелось провалиться сквозь пол или убежать. Сестра Джулианна велела мне подниматься с чемоданом на верхний этаж, где я найду комнату со своим именем на двери. Выходя из кухни, я ожидала следом тяжёлую тишину и три пары провожающих меня глаз, но сестра Джулианна начала рассказывать о старой леди, которую только что навестила, чья кошка, кажется, застряла в дымоходе. Все они рассмеялись, и, к моему несказанному облегчению, атмосфера тут же разрядилась.

В коридоре я серьёзно задумалась – не сбежать ли. Очутиться в женском монастыре вместо больницы было нелепо, а история с пирогом – унижительна. Просто взять свой чемодан и исчезнуть во тьме казалось заманчивой идеей. Возможно, я так бы и поступила, не откройся в этот миг парадная дверь и не войди в неё две смеющиеся девушки. Их лица были розовыми и свежими от ночного воздуха, волосы – растрёпанными ветром, несколько дождевых пятен блестели на длинных габардиновых плащах. Они были моего возраста и выглядели счастливыми и довольными жизнью.

– Привет! – сказал глубокий спокойный голос. – Ты, должно быть, Дженни Ли. Как мило. Тебе здесь понравится. Нас здесь не так уж и много. Я Синтия, а это Трикси.

Но Трикси уже неслась в сторону кухни, крича на бегу:

– Я ужасно голодная. Увидимся!

У Синтии был удивительный голос – мягкий, низкий и немного хриплый. Она говорила очень медленно, с толикой смеха в тоне. У девушки другого типа это был бы сознательно выработанный приём придать себе шарма, сексапильности. Я встретила много таких за четыре года работы медсестрой, но Синтия была другой породы. Её речь лилась совершенно естественно, она просто не могла говорить по-другому. Мои неловкость и неуверенность испарились, и мы улыбнулись друг другу, словно уже стали подругами. Я решила остаться.

Позже вечером меня вызвали в кабинет сестры Джулианны. Я пошла, трясясь от страха, ожидая, что мне будут выговаривать за пирог. Пережив четыре года тирании, присущей иерархии больничных сестёр, я готовилась к худшему и в ожидании стиснула зубы.

Сестра Джулианна была маленькой и пухлой. В тот день она, должно быть, проработала пятнадцать, а то и шестнадцать часов, но выглядела свежей, словно маргаритка. Её лучистая улыбка успокоила меня и развеяла все страхи.

Первое, что она сказала, было:

– Больше ни слова о пироге.

Я с облегчением выдохнула, и сестра Джулианна рассмеялась:

– В компании сестры Моники Джоан с нами всеми происходят странные вещи. Но, уверяю вас, никто об этом больше не заговорит. Даже сестра Евангелина.

Последнюю фразу она произнесла с особым ударением, и я тоже рассмеялась. Это место безоговорочно покорило меня, и я радовалась, что не сбежала.

Следующего вопроса я не ожидала.

– Какую религию вы исповедуете, медсестра?

– Ну... э-э... никакую... э-э... методизм, я думаю.

Вопрос казался удивительным, неважным, даже немного глупым. Спросить об образовании, стажировке и опыте в сестринском деле, моих планах на будущее – вот что было ожидаемо и приемлемо. Но при чём тут религия?

Она посмотрела на меня очень серьёзно и произнесла:

– Иисус Христос – наша опора и наша путеводная звезда. Возможно, вы будете иногда присоединяться к нам на воскресной службе?

Затем сестра принялась рассказывать о знаниях, которые я получу, и буднях Ноннатус-Хауса. Около трёх недель мне предстояло ходить по вызовам под присмотром квалифицированной акушерки, а затем посещать пациенток одной, выполняя до- и послеродовой патронаж. Все роды вела бы другая акушерка. Лекции проходили раз в неделю – вечером, после работы. Всё обучение приходилось на свободное от работы время.

Сестра Джулианна сидела и объясняла другие детали, большинство из которых не задерживались у меня в голове. Я почти не слушала, думая о ней – почему в её компании я чувствую себя такой спокойной и счастливой?

Зазвонил колокольчик. Она улыбнулась:

– Время вечерни. Я должна идти. Встретимся утром. Надеюсь, вас

ожидает спокойная ночь.

Влияние, которое оказала на меня сестра Джулианна – и, как я обнаружила, на большинство людей, – было совершенно непропорционально её изречениям или внешнему виду. Она не навязывала, не командовала и никоим образом не ограничивала. Она даже не обладала выдающимся умом. Сколько бы ни думала, я не могла понять, что от неё исходило. В то время мне и в голову не могло придти, что её излучение находилось в духовном измерении, не имевшем ничего общего с ценностями бренного мира.

Утренние визиты

Было около шести часов утра, когда я, зверски голодная, вернулась в Ноннатус-Хаус после родов Мюриэль. Ночная работа и шесть-восемь миль на велосипеде обостряют молодой аппетит как ничто другое. Когда я вошла, дом был тих. Монахини находились в часовне, а остальные сотрудники ещё не встали. Я устала, но знала, что, прежде чем пойти перекусить, должна почистить акушерскую сумку, вымыть и продезинфицировать инструменты, закончить и положить на канцелярский стол записи.

Завтрак накрывали в столовой; я поем первой, а потом на несколько часов лягу поспать. Я совершила набег на кладовую. стакан чая, варёные яйца, тосты, домашний крыжовенный джем, кукурузные хлопья, самодельный йогурт и булочки. Боже мой! Я раз за разом убеждалась, что у монахинь всегда полно домашней еды. Консервы привозили с многочисленных церковных базаров и распродаж, которые, казалось, шли год напролёт. Восхитительные пироги, булочки и хрустящий хлеб пекли сами монахини или местные женщины, работающие в Ноннатус-Хаусе. Любой работник, пропустивший трапезу из-за вызова, мог беспрепятственно пользоваться кладовкой. Я испытывала глубокую признательность за подобное великодушие, отличавшее Ноннатус-Хаус от многих больниц, где опоздавшим приходилось вымалывать каждый кусочек.

Завтрак получился воистину королевским. Оставив записку с просьбой записывать меня на вызовы с 11.30, я уговорила свои отваливающиеся ноги дотащить меня до спальни. Спала, как ребёнок, и когда кто-то разбудил меня с чашкой чая, не сразу сообразила, где я. Вспомнить помог именно чай. Только добрые сёстры отправили бы чашку чая медсестре, проработавшей всю ночь. В больнице ограничились бы громовым стуком в дверь.

Спустившись, я посмотрела журнал. Всего три вызова перед ланчем. Один – к Мюриэль и два – к пациенткам в доходных домах, которые я буду проезжать по пути. Четыре часа сна полностью меня обновили, и я вытащила велосипед и покатила в лучах солнца в приподнятом настроении.

Доходные дома всегда выглядели угрюмо, независимо от погоды. Это были прямоугольные постройки с внутренним двором по центру, в

который вел единственный проход с улицы и куда выходили двери всех квартир. Дома достигали шести этажей, так что солнечный свет редко проникал внутрь двора – средоточия общественной жизни обитателей. Через весь двор тянулись бельевые верёвки, а так как в каждом доме насчитывались сотни квартир, на них всегда что-то висело, хлопая на ветру. Мусорные баки громоздились всё там же, во дворе.

Во времена, о которых я пишу, в 1950-х, в каждой квартире имелась уборная и холодная вода. До внедрения этих удобств туалеты и вода располагались во дворе, и к ним приходилось каждый раз спускаться. В некоторых домах ещё оставались дощатые туалеты, которые теперь использовались для хранения велосипедов или мопедов. Казалось, их было не слишком много, пожалуй, самое большее – дюжины три, и я удивлялась, как там могло поместиться достаточно туалетов для жителей около пятисот съёмных квартир.

Петля между свежевystиранным бельём, я добралась до нужной лестницы. Все лестницы здесь были наружными, с каменными ступеньками, и вели на обращённые во двор балконы, которые шли на каждом этаже по периметру всего здания, не прерываясь и заворачивая в углах. Каждая квартира выходила на такой балкон. Если внутренний двор был центром здешней социальной жизни, то балконы становились переулками, кишачими жизнью и сплетнями. Для «многоквартирных» женщин балконы были словно улицы для жителей таунхаусов. Квартирки располагались так близко, что вряд ли соседям удавалось что-либо друг от друга утаивать. Внешний мир не слишком интересовал ист-эндцев, и жизнь-бытьё других людей было главной темой разговоров – для большинства это было единственным интересом, развлечением, приятным времяпрепровождением. Неудивительно, что здесь частенько вспыхивали ожесточённые бои.

Когда я подъехала, многоквартирки казались необычно весёлыми в лучах полуденного солнца. Я лавировала между мусором, мусорными баками и бельём. Вокруг толпились ребятишки. Акушерская сумка была объектом повышенного интереса – малыши считали, что в них приносят детей.

Я нашла свой вход и поднялась на пятый этаж, до нужной квартиры.

Все квартиры были более или менее одинаковыми: две или три комнатки, ведущие одна в другую. Каменная раковина – в одном углу главной комнаты; газовая плитка и шкаф – вот и вся кухня. Когда в квартирах появились уборные, их приходилось располагать рядом с источником воды, так что они ютились в углу, у раковины. Установка

уборных в каждой квартире была большим скачком вперед по части общественной гигиены, так как улучшала условия во дворах. Кроме того, отпадала потребность в ночных горшках, которые приходилось ежедневно опорожнять – женщины сносили их вниз к сливам. Я слышала, раньше грязь во внутренних дворах стояла отвратительная.

Многоквартирные дома лондонского Ист-Энда были возведены в 1850-х годах, главным образом, чтобы разместить докеров и их семьи. В своё время они, вероятно, считались достойным жилищем, вполне достаточным для любой семьи. Они, конечно, были всяко лучше едва защищавших от стихий лачуг с земляным полом, которым пришли на смену. Новые дома были кирпичными, с шиферными крышами. Дождь не проникал в них, и внутри всегда было сухо. Не сомневаюсь, что сто пятьдесят лет назад эти дома, как тогда полагали, были роскошны. Двух-трёхкомнатная квартира не считалась перенаселённой, если в ней проживало десять-двенадцать человек. В конце концов, большая часть человечества жила в таких условиях веками.

Но времена изменились, и к 1950-м районы съёмных квартир считались трущобами. Арендовать такую квартиру было гораздо дешевле, чем таунхаус, так что только беднейшие семьи, еле сводящие концы с концами, поселялись в них. Законы развития общества, кажется, подтверждают, что в беднейших семьях рождается больше всего детей, и арендуемые квартиры всегда ими изобиловали. Инфекционные болезни охватывали многоквартирные дома, словно пожар. То же происходило со всевозможными паразитами и вредителями: блохами, вшами головными, платяными и лобковыми, клещами, зуднями, мышами, крысами и тараканами. Дезинсекторы из муниципального совета никогда не оставались без дела.

Многоквартирные дома, признанные непригодными к проживанию и расселённые в 1960-х, ещё лет десять простояли пустыми и только к 1982 году были окончательно снесены. Эдит была маленькой, жилистой и жёсткой, как старые ботинки, и выглядела много старше своих сорока лет. Она родила шестерых детей. Во время войны их таунхаус попал под бомбёжку, но семья выжила, детей эвакуировали. Муж её был докером, она сама работала на военном складе. После бомбёжки они с мужем перебрались в многоквартирный дом, аренда которого обходилась куда дешевле, и жили там на протяжении всего «Блица», во время которого многоквартирные дома, самые густонаселённые жилые помещения, чудом не пострадали. Эдит не видела своих детей целых пять лет, они воссоединились только в 1945 году. Семья продолжила жить в

многоквартирном доме из-за низкой арендной платы и в силу привычки. Как можно жить с шестью подрастающими детьми в двух комнатках, никогда не поддавалось моему пониманию. Но они об этом не задумывались – просто жили.

Эдит не обрадовалась новой беременности, по правде говоря, пришла в ярость, но, как и большинство женщин, обзаводящихся поздним ребёнком, потеряла голову, когда он родился, и неустанно над ним ворковала. Квартирка была завешана подгузниками – в те дни одноразовых ещё не было, – а коляска еще больше сокращала жизненное пространство тесной комнатухи.

Эдит бодрствовала и была при деле. Настал десятый день после родов. В те времена после родов мы долго держали матерей в кроватях – первые десять-четырнадцать дней были известны как «лежачий» период. С точки зрения медицины это не было хорошей практикой, для женщины гораздо лучше начать двигаться как можно скорее – это значительно снижает риск таких осложнений, как тромбоз. Но тогда об этом не знали, и родивших женщин традиционно держали в постелях. Огромный плюс заключался в том, что это давало женщине право на заслуженный отдых. Домашние хлопоты переключались на другие плечи, и женщина хоть ненадолго могла предаться безделью. Она должна была набраться сил, потому что стоило только встать на ноги, как все обязанности возвращались к ней. Если вы прикинете, какие физические усилия требовались, чтобы поднять по лестнице зимой уголь и дрова, керосин для примусов или вынести мусор в баки во дворе; если представите, что для того, чтобы погулять с ребёнком, приходилось скатывать коляску по лестнице, ступенька за ступенькой, а потом затаскивать её обратно, часто нагруженную не только ребёнком, но и продуктами, – тогда вы, возможно, поймёте, какими крепкими должны были быть эти женщины. Практически каждый раз, входя в многоквартирный дом, можно было увидеть женщину, вытаскивающую или втаскивающую по лестнице большую коляску. Если семья обитала на верхнем этаже, это означало семьдесят ступеней вниз и столько же обратно. Огромные колёса коляски делали такой фокус возможным, а хорошие рессоры смягчали толчки для ребёнка. Дети это обожали, смеясь и визжа от восторга. Но если ступеньки были скользкими, спуски и подъёмы делались опасными: весь вес коляски переходил на ручку, и если бы мать оступилась или отпустила её, коляска с ребёнком скатилась бы с лестницы. Увидев женщину с коляской, я всегда помогала, берясь за другой конец, принимая на себя половину веса. Полный вес коляски для одной женщины был практически неподъём.

Эдит предстала передо мной в замызганном халате, стоптанных тапочках и бигуди. Она одновременно кормила ребёнка и курила. Из радио орала поп-музыка. Женщина выглядела совершенно счастливой. Она на самом деле выглядела свежее и моложе, чем пару месяцев назад. Отдых явно пошёл ей на пользу.

– Привет, милочка. Заходи. Как насчёт чашечки чая?

Я объяснила, что спешу на другие вызовы, и отказалась от чая. У меня появилась возможность посмотреть, как проходит кормление. Ребёнок сосал очень жадно, но мне показалось, что в маленькой груди Эдит, возможно, не слишком много молока. Впрочем, лучше было продолжать грудное вскармливание, чем сразу переводить ребёнка на молочную смесь, поэтому я ничего не сказала. Если ребёнку не удастся набрать вес или он будет выказывать явные признаки голода, тогда и поговорим, подумала я. Для нас было в порядке вещей посещать рожениц постнатально каждый день минимум четырнадцать дней, так что мы долго наблюдали каждую пациентку.

В то время стало модным переводить малышей на смеси, внушая матерям, что так лучше для ребёнка. Однако акушерки Святого Раймонда Нонната не шли по этому пути, советуя и помогая всем своим пациенткам кормить грудью как можно дольше. Две недели постельного режима немало этому способствовали: так как мать не утомлялась, мечась из стороны в сторону, все её физические ресурсы уходили на выработку молока для ребёнка.

Когда я увидела эту захлавленную комнату, крошечную кухоньку и полное отсутствие бытовых удобств, в моей голове мелькнула мысль, что кормление из бутылочки будет самым страшным для ребёнка. Где вообще Эдит будет хранить бутылочки и банки молочной смеси? Как стерилизовать их? Потрудится ли она хотя бы держать их в чистоте, не говоря уже о стерилизации? Холодильника не было, и я могла легко представить разбросанные повсюду бутылочки с недопитым молоком, которые будут совать малышу второй или даже третий раз, не задумываясь о том, как быстро бактерии накапливаются в молоке, не убранном на холод, а потом снова подогретом. Нет, кормление грудью было куда безопаснее, даже если молока не хватало.

Я вспомнила очень убедительно звучащие лекции о преимуществе искусственного вскармливания, которые прослушала в начале своего обучения акушерству. Приехав работать с акушерками Нонната, я первое время считала их ужасно старомодными, потому что они вечно рекомендовали грудное вскармливание. Но я не принимала в расчет

социальные условия, в которых работали сёстры. Лекторы не сталкивались с реальной жизнью. Они имели дело с модельными ситуациями и идеальными молодыми мамами из образованного среднего класса, существующими только в воображении, женщинами, которые запомнят все правила и сделают всё, как им велят. Эти кабинетные умники были далеки от глупых молодых девушек, которые могли напутать с рецептом, неправильно отмерить, не вскипятить воду, не простерилизовать бутылочки или соски, не помыть бутылочки. Эти горе-теоретики даже не могли представить полупустую бутылочку, оставленную на сутки, а потом сунутую ребёнку или катающуюся по полу и собирающую на себя кошачью шерсть и прочий сор. Наши лекторы никогда не говорили о возможности добавить в смесь что-либо ещё, например, сахар, мёд, рис, патоку, сгущёнку, манку, алкоголь, аспирин, солодовое молоко, какао. Вероятно, ничего подобного даже не приходило авторам учебников в голову. Но монахини Нонната постоянно с этим сталкивались.

Эдит и её ребёнок выглядели вполне счастливыми, так что я не стала их беспокоить, но сказала, что приду завтра, чтобы взвесить ребёнка и обследовать её.

У меня был ещё один визит – к Молли Пирс, девятнадцатилетней женщине, ждущей третьего ребёнка и не появляющейся в женской консультации последние три месяца. А так как до родов у неё оставалось не так много времени, надо было её навестить.

Когда я подошла к её квартире, из-за двери раздавался шум. Похожий на ссору. Я всегда ненавидела склоки и сцены, инстинктивно их избегая. Но я была на работе – пришлось постучать в дверь. Внутри тут же стало тихо. Воцарившаяся на несколько минут тишина казалась страшнее шума. Я постучала ещё раз. По-прежнему тишина, потом отодвинулся засов и повернулся ключ – и это был один из немногих случаев, когда я видела, чтобы в Ист-Энде запирали дверь.

В приоткрывшуюся щёлку на меня подозрительно уставился небритый угрюмый мужчина. Потом он грязно выругался, сплюнул мне под ноги и кинулся по балкону к лестнице. Ко мне вышла молодая женщина. Она выглядела разгорячённой, покрасневшей и слегка задыхалась.

– Скатертью дорожка! – прокричала она с балкона и пнула дверной косяк.

На вид она была на восьмом месяце, и мне пришло в голову, что подобные стычки могут привести к преждевременным родам, особенно если была драка. Но у меня не было никаких доказательств, по крайней

мере пока. Я спросила, могу ли осмотреть её, учитывая, что она не приходила в женскую консультацию. Она неохотно согласилась и позволила мне войти.

Вонь внутри стояла невыносимая. Адская смесь запахов пота, мочи, фекалий, сигарет, алкоголя, керосина, несвежей еды, прокисшего молока и нестиранной одежды. Очевидно, Молли была настоящей неряхой. Подавляющее большинство встречаемых мною женщин гордились собой и своими домами и усердно трудились. Но не Молли. Инстинкт ведения домашнего хозяйства в ней явно не проснулся.

Она провела меня в тёмную спальню с грязной кроватью – никакого постельного белья, только матрас, подушки и серые армейские походные одеяла. В углу примостилась деревянная детская кроватка. «Это место не подходит для родов», – подумала я. Несколько месяцев назад другая акушерка признала его пригодным, но, очевидно, с тех пор бытовые условия ухудшились. Надо сообщить сёстрам.

Я попросила Молли ослабить одежду и лечь. Как только она это сделала, я заметила большой чёрный синяк у неё на груди и спросила, как это произошло. Она ощерилась и вскинула голову.

– Я, – заявила она, плюнув на пол.

Ничего больше не сказав, женщина легла обратно. Возможно, мой неожиданный визит спас её от ещё одного удара, подумала я.

Я осмотрела Молли. Малыш лежал вниз головой, положение казалось нормальным, и я почувствовала движение. Послушала сердцебиение плода – стабильные 126 ударов в минуту. Несмотря ни на что, и Молли, и её ребёнок казались вполне нормальными и здоровыми.

Только тогда я заметила детей. Услышав какое-то копошение в тёмном углу спальни, я чуть не подпрыгнула – подумала, там крыса. Я напрягла глаза, всматриваясь в том направлении, и увидела два личика, выглядывающих из-за стула.

Молли, услышав мой вздох, сказала:

– Сё нормально. Том, подь сюды.

Разумеется, здесь должны быть маленькие дети, подумала я. Это её третья беременность, ей всего девятнадцать, так что они ещё не ходят в школу. И почему я не заметила их раньше?

Двое мальчишек двух-трёх лет вышли из-за стула. Они не издавали совершенно никаких звуков. Дети этого возраста обычно носятся вокруг, ни на секунду не замолкая, но не эти. Их молчание было неестественным. Большие глаза наполнились страхом, ребята делали шаг или два вперёд, потом цеплялись друг за друга, словно бы защищая, и снова забивались за

стул.

– Сё нормально, малые, это всего лишь медсестра. Она вас не поколотит. Подьте сюды.

Они снова вышли: два грязных маленьких мальчика с размазанными по личикам соплями и слезами. На них были только рубашечки – в Попларе я такое часто наблюдала, и почему-то это казалось мне крайне отталкивающим. Малышей одевали только сверху, ниже талии они оставались голенькими. Особенно часто так одевали маленьких мальчиков. Говорили, женщины придумали это, чтобы меньше стирать. Дети, ещё не научившиеся ходить на горшок, могли мочиться где угодно – и ни подгузников, ни пелёнок за ними стирать не пришлось бы. Малыши так и бегали целыми днями по балконам многоквартирных домов и дворам.

Том и его младший брат выползли из угла и побежали к маме. Казалось, они перестали бояться. Молли ласково протянула руку, и они её обняли. «Что ж, – подумала я, – по крайней мере, у неё есть материнские инстинкты».

Сколько же времени эти малыши проводили за стулом, когда их отец был дома?

Но я не была ни патронажной сестрой, ни социальным работником, так что размышлять об этом не было никакого смысла. Я решила сообщить о своих наблюдениях сёстрам и сказать Молли, что мы ещё вернёмся на этой неделе, чтобы удостовериться в наличии всего необходимого для домашних родов.

Последней мне предстояло навестить Мюриэль, и я с огромным облегчением покинула грязную во всех смыслах квартиру.

Свежий холодный воздух снаружи и поездка на велосипеде до Собачьего острова улучшили моё настроение, и я налегла на педали.

– Привет, дорогуша, как сама? – кричали мне несколько раз женщины, знакомые и незнакомые. Обычное приветствие, выкрикиваемое с тротуара.

– Прекрасненько, спасибо, как сами? – обычно отвечала я. Трудно не скатиться на кокни, постоянно в нём вращаясь.

«О нет, – пробормотала я себе под нос, поворачивая на улицу Мюриэль, – только не она». Конечно же, миссис Дженкинс уже была там, со своей вечной палкой и авоськой, косынкой поверх бигуди и всё в том же длинном заплесневелом пальто, что она носила и летом, и зимой. Она разговаривала с какой-то женщиной, внимательно вслушиваясь в каждое слово. Заметив, как я притормаживаю, она подошла ко мне и схватила за рукав грязными, с длинными ногтями, пальцами.

– Как она и малышка? – проскрежетала миссис Дженкинс.

Я нетерпеливо выдернула руку. Независимо от расстояний, погоды и времени суток миссис Дженкинс всегда ошивалась на улице. Никто не знал, где она жила, откуда узнавала новости, как успевала дойти порой три-четыре мили до дома, где родился ребёнок. Но приходила всегда.

В раздражении я, ничего не говоря, прошла мимо. Она казалась мне любопытной назойливой старухой. Я была молода, слишком молода, чтобы понять. Слишком молода, чтобы заметить боль в глазах или услышать мучительную настойчивость в голосе.

– Как она? И карапуз. Как карапуз?

Я вошла в дом, даже не постучав, и мать Мюриэль тут же ко мне вышла, деловитая и улыбающаяся. Матери старой закалки знали, что в такие дни они совершенно незаменимы, и это давало им большое чувство удовлетворения, ощущение нужности и цели в жизни. Она была вся суета и сведения.

– Как ты ушла, так она заснула. Ходила в туалет и писала. Напилася чаю, а теперь я готовлю ей рыбу. Ребёнок прикладывался к груди, я видала, но молока ещё нету.

Поблагодарив ее, я пошла в комнату. Она выглядела чистой, свежей и яркой, на комоды стояли цветы. По сравнению с грязной, убогой комнатёнкой Молли здесь было как в раю.

Мюриэль прибывала в полусне. Её первыми словами были:

– Я не хочу никакой рыбы. Можете сказать об этом маме? Совсем не могу, но меня она не послушает. А вот вас может.

Очевидно – нет предела расхождению во взглядах дочерей и матерей. Влезать в это не хотелось. Я проверила её пульс и кровяное давление – нормальные. Выделения из влагалища не чрезмерные, матка – в норме. Я проверила грудь Мюриэль. Выходило немного молозива, но никакого молока, как её мать и сказала. Мне хотелось научить ребёнка брать грудь – на самом деле, это и была основная цель моего визита.

Младенец крепко спал в кровати. Он уже не был сморщенным, в красных пятнах от стресса и травмы рождения, не кричал от тревоги и страха перед открывшимся ему новым миром. Малыш был расслабленным, тёплым и мирным. Почти каждый скажет, что вид новорожденного производит впечатление – от благоговения до изумления. Беспомощность новорожденного человеческого младенца всегда производила впечатление и на меня. Все остальные млекопитающие более или менее самостоятельны с самого начала. Многие животные спустя час или два после рождения уже бегают. Другие по крайней мере в состоянии найти сосок и сосать.

Человеческий же детёныш не может даже этого. Если ребенку не дать соску или грудь и не поощрить его к сосанию, он умрёт от голода. У меня есть теория, что все человеческие младенцы рождаются преждевременно, на стадии эмбриона. Если учесть продолжительность жизни человека – семьдесят лет – и сопоставить его развитие с развитием животных аналогичной продолжительности жизни, то человеческая беременность должна длиться около двух лет. Но к двум годам у ребёнка так вырастает голова, что никакая женщина не смогла бы протолкнуть её по родовым путям. Так что наши младенцы рождаются недоношенными, совершенно беспомощными.

Я достала малыша из кроватки и поднесла к Мюриэль. Она знала, что делать, и выдавила немного молозива из соска. Мы попробовали размазать его по губам ребёнка. Он не заинтересовался – только скорчился и отвернулся. Попробовали ещё раз – та же реакция. Потребовалось не меньше четверти часа терпеливых попыток, прежде чем мы уговорили ребенка открыть рот достаточно широко, чтобы можно было вставить сосок. Он чмокнул раза три и снова заснул. Так крепко, будто после чрезвычайных усилий. Мы с Мюриэль рассмеялись.

– Можно подумать, он сделал всю самую тяжкую работу, – сказала она, – не вы и не я, а, сестра?

Мы решили остановиться на достигнутом. Я собиралась вернуться вечером, а Мюриэль могла бы при желании попробовать ещё раз в течение дня.

Спускаясь вниз, я почувствовала запахи с кухни. У Мюриэль, может, и не было аппетита, а вот мой желудок сладко занял. Я была жутко голодной, но в Ноннатурс-Хаусе меня ждал восхитительный ланч.

Попрощавшись, я поспешила к велосипеду. Рядом с ним несла вахту миссис Дженкинс. «Как же мне от неё избавиться?» – подумала я. Разговаривать не хотелось – все мысли устремлялись к еде. Но женщина держалась за седло, явно не собираясь просто так меня отпустить.

– Как она? И карапуз. Как карапуз? – не мигая, зашипела старуха.

В одержимости есть что-то отталкивающее. Миссис Дженкинс была более чем одержима. Она вызывала отвращение. Лет семидесяти, маленькая и кривобокая, с чёрными глазами, которые пронизывали меня, отбивая всякий аппетит. На мой высокомерный взгляд, она была беззубой и уродливой, и её грязные крючковатые руки позли по моему рукаву, неприятно близко подбираясь к запястьям.

Я вытянулась в полный рост, становясь почти вдвое выше неё, и сообщила с профессиональной отстранённостью:

– Миссис Смит благополучно разрешилась мальчиком. И мать, и дитя прекрасно себя чувствуют. А теперь, если вы меня извините, мне нужно идти.

– Гошпади, шпасибо, – вздохнула она, отпуская рукав с велосипедом. И больше ничего.

«Чокнутая старуха, – раздражённо думала я, устремляясь прочь. – Запретить бы ей повсюду слоняться».

Год спустя, став участковой медсестрой, я узнала о миссис Дженкинс чуть больше... и стала чуть человечнее.

Чамми

Первый раз увидев Камиллу Фортескью-Чолмели-Браун («Зовите меня просто Чамми»), я подумала, это мужик в женской одежде: шесть футов два дюйма^[3] ростом, плечи, как у футболиста, одиннадцатый размер ноги^[4]. Родители потратили целое состояние, чтобы сделать её женственней, но безрезультатно.

Мы с Чамми обе были новенькими: она приехала на следующее утро после того незабываемого вечера, когда мы с сестрой Моникой Джоан умяли пирог, предназначенный двенадцатерым. Синтия, Трикси и я выходили из кухни после завтрака, когда звякнул дверной колокольчик и вошёл этот гигант в юбке. Близоруко моргнув на нас сквозь толстые стёкла очков в стальной оправе, она произнесла наиаристократичнейшим голосом:

– Это Ноннатус-Хаус?

Острая на язычок Трикси выглянула в дверь на улицу:

– Есть здесь кто-нибудь? – крикнула она и вернулась в коридор, якобы случайно сталкиваясь с незнакомкой. – Ой, извините, я вас не заметила, – бросила она и убежала в процедурную.

Синтия шагнула вперёд и поприветствовала девушку с теми же теплом и дружелюбием, что прогнали мои мысли о побеге прошлой ночью.

– Вы, должно быть, Камилла.

– О, зовите меня просто Чамми.

– Тогда проходите, Чамми, и мы найдём сестру Джулианну. Вы завтракали? Уверена, миссис Би что-нибудь вам соберёт.

Чамми взяла чемодан, сделала два шага и запнулась о коврик у двери.

– Боже правый, ну что я за растяпа, – пробормотала она с девичьим смешком, наклонилась поправить циновку и, наткнувшись на вешалку, уронила на пол два плаща и три шляпы. – Простите великодушно. Сейчас всё подберу.

Но Синтия уже всё подобрала, опасаясь худшего.

– Ох, спасибо, старина, – гоготнув, поблагодарила Чамми.

«Она это серьёзно или притворяется?» – подумала я. Однако голос звучал совершенно естественно и не менялся, как и лексика, с вечными «славно», «молодчина» или «эгей, здорово!». Как ни странно, голос Чамми при её внушительных габаритах звучал мягко и сладко. Вообще, за то время, что я её знала, я поняла, что всё в Чамми было мягким и сладким.

Несмотря на внешность, в ней не было ничего мужеподобного. Она обладала нежным характером бесхитростной молодой девушки, застенчивой и неуверенной в себе. А ещё она трогательно стремилась понравиться.

Фортескью-Чолмели-Брауны были представителями типичной провинциальной аристократии. В 1820-х годах её прапрапрадед поступил на гражданскую службу в Индии и заложил передающиеся из поколения в поколение традиции. Отец Чамми стал губернатором Раджастхана (региона размером с Уэллс), по которому по-прежнему, даже в 1950-х, передвигался на лошадях. Всё это мы узнали, рассматривая фотографии, расставленные по комнате Чамми.

Она была единственной девочкой среди шести братьев. Все они были высоки, но она, к сожалению, переросла ещё на дюйм всех членов семьи. Все дети получили образование в Англии: мальчики – в Итоне, Чамми – в Роудине. Здесь они жили у опекунов, потому что мать с отцом остались в Индии. Очевидно, Чамми училась в школе-интернате лет с шести и не знала никакой другой жизни. Она цеплялась за свои семейные фотографии с трогательным усердием – возможно, они были единственным, что давало ей чувство близости с семьёй; любимейшей из них была запечатлевшая её, тогда четырнадцатилетнюю, рядом с матерью.

– Это на каникулах, которые я провела с матерью, – гордо заявляла она, не замечая пафоса, с каким произносила это.

После Роудина был пансион благородных девиц в Швейцарии, потом Чамми вернулась в Лондон, чтобы подготовиться в школе Люси Клэйтон к выходу в свет. То были времена дебютанток, когда девушки из «лучших» семей должны были «выйти», что несло в себе совершенно иной смысл, нежели сегодня. В то время это означало быть официально представленной монарху в Букингемском дворце. Чамми «вышла», о чём свидетельствовали две фотографии. На первой вполне узнаваемая Чамми в невероятном кружевном бальном платье, с лентами и цветами, стояла среди точно так же одетых симпатичных девушек, и её внушительные костлявые плечи возвышались у них над головами. На второй фотографии её представляли королю Георгу VI. Габариты и угловатость дебютантки подчёркивали очаровательную миниатюрность королевы и изысканную красоту двух принцесс, Елизаветы и Маргарет. Я всё думала, догадывалась ли Чамми, сколь нелепо она выглядела на фотографиях, которые с такой радостью выставляла напоказ.

За дебютом последовал год в школе «Кордон Блю», куда принимали на обучение с проживанием лишь небольшое число избранных юных леди.

Там Чамми выучилась всем премудростям идеальной хозяйки – идеальным закускам, идеальному фуа-гра, – но осталась неловкой, неуклюжей великаншей, не подходящей на роль хозяйки хоть в каком обществе. Поэтому учебный курс в лучшей школе рукоделия в Лондоне, последовавший далее, казался правильным выбором для неё. Два долгих года Чамми вязала, вышивала и плела кружева, ткала ленты, делала стеганые одеяльца и занималась английским шитьём. Два долгих года она строчила на машинке, пришивала плечики и подшивала. Всё безрезультатно. Пока остальные девушки вышивали «ёлочкой» и тамбурным швом и радостно или печально болтали о своих ухажёрах и возлюбленных, Чамми, нравящаяся многим, но не любимая никем, оставалась молчаливой, не вписываясь ни в одну компанию.

Она и сама не знала, как это произошло, но внезапно, будто бы само собой, нашла своё призвание: медсестринское дело и Бог. Чамми собиралась стать миссионером.

В крайней степени возбуждения она записалась в Найтингейлскую школу медсестёр при лондонской больнице Святого Томаса. Там она мгновенно обрела успех и три года подряд получала «Приз Найтингейл». Она обожала работать в больничных палатах, впервые в жизни чувствуя себя уверенной и компетентной, зная, что наконец-то нашла своё место. Пациенты её любили, руководство уважало, младший персонал восхищался. Несмотря на свои габариты, она была нежной, интуитивно понимала пациентов, особенно очень старых, очень больных или умирающих. Даже неуклюжесть – отличительная черта Чамми с ранних лет – оставила её. В палатах она никогда ничего не роняла и не ломала, никогда не двигалась неловко и ни во что не врезалась. Все эти напасти, казалось, осаждали и мучили её только в социальной жизни, к которой она оставалась совершенно неприспособленной.

Конечно, молодые врачи и студенты-медики, девяносто процентов которых были мужчинами, всегда засматривавшимися на симпатичных медсестёр, потешались над Чамми, отпуская грубые шутки насчет того, как нелегко покрыть тяжеловоза и кто из них может похвастаться жеребцовым органом, способным справиться с такой работой. Новичкам рассказывали о неимоверно прекрасной медсестре из Северной палаты, с которой можно пойти на свидание вслепую, но в минуту «прозрения» те в ужасе убегали, клянясь отомстить шутникам. К счастью, подобные истории и выходки никогда не достигали ушей Чамми и проходили мимо неё незамеченными. А если бы и достигли, то, вероятнее всего, она бы ничего не поняла, продолжая приветливо улыбаться мучителям, пристыжая их своей

невинностью.

Приобщение Чамми к акушерству оказалось менее успешным, но не менее зрелищным. Это произошло за несколько дней до того, как она смогла выйти на участок. Во-первых, не нашлось подходящей униформы.

– Пустяки, я её сама сделаю, – бодро заверила Чамми.

Сестра Джулианна засомневалась, найдётся ли соответствующая выкройка.

– Не волнуйтесь, я сделаю из газеты.

Ко всеобщему удивлению, она сшила. Получив материал, Чамми в мгновение ока скроила несколько платьев.

С велосипедом дела обстояли куда хуже. За всем великосветским образованием и приобщением к подобающим леди занятиям никто не счёл нужным научить её ездить на велосипеде. На лошади – да, но на велосипеде – нет.

– Пустяки, я научусь, – бодро заверила она.

Сестра Джулианна сказала, что взрослому не так-то легко научиться.

– Не волнуйтесь. Я поупражняюсь, – ответила Чамми с присущей ей жизнерадостностью.

Синтия, Трикси и я пошли с ней на велосипедную стоянку и выбрали самый большой велосипед – огромный старый «Рейли», года так 1910-го, сделанный целиком из железа, с изогнутой перед седлом рамой и высоким рулём, твёрдыми шинами дюйма в три толщиной и без передач. Сие хитроумное приспособление весило не меньше полутонны, поэтому на нём никто не ездил. Трикси смазала цепь маслом, и мы были готовы отправляться.

Дело было сразу после ланча. Мы согласились потолкать Чамми вверх и вниз по Лейланд-стрит, пока она не научится держать равновесие, после чего можно будет всем вместе отправиться туда, где дороги тихи и ровны. Большинство людей, впервые попытавшихся научиться ездить на двухколёсном велосипеде взрослыми, скажут вам, что это ужасающий опыт. Многие заявят, что это невозможно, и махнут на всю затею рукой. Но Чамми была слеплена из другого теста. В её венах текла кровь строителей Империи, а сама она собиралась стать миссионером, для чего был необходим акушерский опыт. И если ради этого она должна была научиться ездить на велосипеде – что ж, она научится ездить на велосипеде.

Мы толкали её, огромную и трясущуюся, крича: «Педали, педали, вверх-вниз, вверх-вниз», пока полностью не измотались. В ней было не меньше двенадцати стоунов^[5] тяжёлых костей и мускулов, в велосипеде –

ещё шесть стоунов, но мы продолжали толкать. В четыре часа закончились занятия в школах, и понабежали ребяташки. Десятеро взялись нам помогать, и мы смогли наконец отдохнуть, пока они бегали возле велосипеда и позади него, толкая Чамми и подбадривая её криками.

Несколько раз Чамми обрушивалась на землю с тяжёлым грохотом. Стукаясь головой о бордюры, она приговаривала:

– К чему волноваться: нет мозгов – нет сотрясения.

Порезав ногу, пробормотала:

– Просто царапина.

Упав на руку, заявила:

– У меня есть вторая.

Она была упряма, и мы начали её уважать. Даже ребяташки кокни, поначалу воспринявшие её как нечто комическое, переменили тон. Хулиганистый парень лет двенадцати, поначалу откровенно подтрунивавший над ней, теперь смотрел на неё исподлобья с восхищением.

Чамми научилась держать равновесие, научилась крутить педали, и мы согласились полчасика поехать вместе по улицам. Трикси ехала впереди, мы с Синтией – по бокам, дети, вопя, бежали сзади.

Мы доехали до конца Лейланд-стрит, но не далее. Мы не догадались показать Чамми, как поворачивать. Трикси повернула налево, просто крикнув: «За мной», и покатила дальше. Мы с Синтией тоже повернули, но Чамми продолжала ехать прямо. Я увидела застывшее выражение её лица, надвигавшегося прямо на меня, а после всё смешалось. Очевидно, в ту самую минуту полицейскому вздумалось перейти улицу, и мы с Чамми врезались в него на полном ходу, после чего все вместе откатились к противоположному тротуару. Наблюдая, как две акушерки эффектно размазывают представителя закона по мостовой, детишки возликовали. Они кричали от восторга, и из дверей соседних домов высыпали всё новые и новые зрители, дети и взрослые.

Я лежала на спине в грязи, не понимая, что произошло. Из этого положения я услышала стон, а потом к полицейскому вернулся дар речи:

– Что за идиот это сделал?

Потом я увидела, как Чамми села, беспомощно озираясь кругом: при аварии она потеряла свои очки. Возможно, на следующее действие её толкнуло именно это обстоятельство или же просто потрясение. Так или иначе, Чамми от души хлопнула мужчину по спине своей огромной рукой и произнесла:

– Не время хныкать! Выше нос, старина. Закатай губу, пока не

отдавили, парень!

Девушка явно не понимала, что перед ней полицейский.

Тот был крупным мужчиной, но всё же не таким крупным, как Чамми. От её шлепка он упал вперёд, ударившись об один из велосипедов и рассекши губу.

Чамми же просто сказала:

– О, всего лишь небольшая царапинка. Не из-за чего и шум поднимать, дружище, – и снова похлопала его по спине.

Оскорблённый полицейский в ярости вытащил блокнот и послонявил карандаш. Ребятишек как ветром сдуло. Улица опустела. Мужчина угрожающе посмотрел на Чамми:

– Назовите ваши имя и адрес. Хочу, чтобы вы знали: нападение на полицейского – серьёзное преступление.

Клянусь, нас спас только обворожительный голос Синтии. Если бы не она, на следующий же день мы бы предстали перед судом. Я не могла понять, как ей это удавалось, да и она сама совершенно не осознавала своей привлекательности.

Синтия говорила недолго, но мужчина быстро успокоился и через пару минут уже буквально клевал у неё с рук. Он поднял велосипеды и проводил нас до самого Ноннатус-Хауса, где простился со словами:

– Рад был познакомиться с вами, юные леди. Надеюсь как-нибудь увидеться снова.

Следующие три дня Чамми провела в постели. Врач сказал, у неё отсроченный шок и лёгкое сотрясение. Она проспала тридцать шесть часов, у неё поднялась температура, участился пульс. На четвёртый день бедняжка наконец смогла сесть и спросила, что произошло. Наш рассказ поверг её в ужас и глубокое раскаянье.

Как только Чамми смогла выходить на улицу, она направилась в отделение полиции искать сбитого ею констебля, прихватив с собой коробку конфет и бутылку виски.

Молли

Когда я пришла в Канада-билдингс, чтобы проверить, всё ли готово к домашним родам, Молли не оказалось. Я приходила трижды, прежде чем нашла её. На второй попытке мне почудился звук шагов в квартире, и я стала стучать. Внутри явно кто-то был, но дверь оказалась заперта, и никто не спешил мне открывать.

В третий визит Молли наконец-то впустила меня. Выглядела она ужасно. Ей исполнилось всего девятнадцать, но она уже была бледной и измученной. Длинные сальные волосы свисали на грязное лицо, за юбку цеплялись два невымытых мальчика. С моего первого посещения, когда я предотвратила избиение, прошла неделя, и осмотр комнаты показал, что ситуация не изменилась к лучшему, только к худшему. Я сообщила Молли, что мы переоценили пригодность её квартиры для домашних родов и ей было бы лучше перебраться на это время в больницу. Она совершенно равнодушно пожала плечами. Я подчеркнула, что она не посещала никаких женских консультаций и это могло быть опасно. Она снова пожала плечами. Чувствуя, что ни капельки не продвигаюсь, я спросила:

– Как получилось, что четыре месяца назад медсестра оценила ваш дом как пригодный для домашних родов, а теперь нет?

Она ответила:

– Ну так, мамка моя приходила и всё прибрала.

Наконец-то хоть какой-то отклик. На сцене появилась мама. Я попросила у Молли адрес – квартира находилась в соседнем квартале. Отлично.

Будущим матерям приходилось заранее договариваться о пребывании в больнице через своего врача. Я совсем не была уверена, что Молли этим обеспокоилась; она казалась слишком неряшливой и безразличной, чтобы беспокоиться о чём бы то ни было. «Если она не пойдёт в женскую консультацию, то не потрудится и изменить условия проведения родов», – подумала я, представляя полуночный вызов в Ноннатус-Хаус через две-три недели, который нам придётся принять. Я решила повидаться с её матерью и обратиться к Моллиному врачу.

Канада-билдингс, носящие имена «Онтарио», «Баффин», «Гудзон», «Оттава» и тому подобные, представляли собой шесть кварталов плотно населённых многоквартирных домов, лежащих между туннелем Блэкуолл и

Блэкуолл-стеарс. Дома были шестиэтажные и очень примитивные, с водопроводным краном и туалетом в конце каждого балкона. Понять, как кто-либо мог жить там, поддерживая порядок и сохраняя чувство собственного достоинства, было выше моих сил. Я слышала, что в Канада-билдинг живёт около пяти тысяч человек.

Я нашла квартиру Моллиной матери, Марджори, в «Онтарио» и постучала.

Радостный голос ответил:

– Проходи, дорогуша.

Обычное ист-эндское приглашение, кем бы гость ни оказался.

Дверь была открыта, так что я прошла прямо в главную комнату. Когда я вошла, Марджори повернулась, сияя яркой улыбкой, которая стёрлась, стоило ей меня увидеть; руки повисли вдоль тела.

– Ой, нет. Нет. Не опять. Ты пришла по нашу Молл? – она опустилась на стул, закрыв лицо руками, и зарыдала.

Я смутилась. Не знала, что сделать или сказать. Некоторые люди обладают способностью справляться с чужими проблемами, но только не я. Честно сказать, чем эмоциональней попадаются люди, тем хуже у меня получается.

Поставив свою сумку на стул, я просто молча села возле неё и решила воспользоваться шансом осмотреть комнату. После убогого жилища Молли я ожидала, что дом её матери окажется не лучше, но разница была просто поразительной. Комната оказалась чистой и опрятной, в ней приятно пахло, на чистых окнах висели симпатичные занавески. На газовой плите закипал чайник. Марджори была одета в чистое платье и передник, аккуратно зачёсанные волосы смотрелись очень мило.

Чайник навёл меня на мысль, и, когда рыдания пошли на убыль, я предложила:

– Может быть, по чашечке чая? Что-то у меня во рту пересохло.

Женщина просияла и воскликнула с типичной кокнийской любезностью:

– Извиняй, сестра. Не вбирай в голову. Я завелась из-за Молл.

Она занялась чаем, отчего ей явно полегчало – слёзы высохли, и в следующие двадцать минут всё всплыло, все её надежды и душевная боль.

Молли была младшей из пяти детей и никогда не знала отца, убитого в Арнеме во время войны. Всю семью эвакуировали в Глостершир.

– Не знаю, то её так расстроило или что, но с остальными-то всё в порядке, – недоумевала Марджори.

Семья вернулась в Лондон и обосновалась в «Онтарио». Молли,

казалось, привыкла к новой обстановке и школе, где, по словам учителей, делала успехи.

– Она была как звёздочка, – вспоминала Марджори. – Завсегда лучшая в классе. Могла бы стать секретаршей и работать в конторе в Вест-Энде, да. Ох, это разбивает мне сердце каждый раз, как об том подумаю.

Она всхлипнула и вытащила носовой платок.

– Ей было годков четырнадцать, когда она встретила это своё дерьмо. Его звать Ричард, а я прозвала – Дермичард. – Женщина хихикнула своей шуточке. – Потом доча стала припоздняться, говоря, что ходит в молодёжный клуб, но я-то узнала, что она мне врёт, – спросила у пастора, так он и сказал, что Молл в него даже не записана. Потом она и вовсе не пришла ночевать. Ох, сестра, вы даже не представляете, что делает такое с матерью.

Аккуратненькая маленькая женщина уткнулась в передник и тихонько зарыдала.

– Ночь за ночью я ходила по улицам, разыскивая её, но без толку. Конечно, без толку. Она являлась домой под утро, выливая на меня ушат лжи, словно я придурочная какая, чтоб в это верить, и уходила в школу. Когда ей исполнилось шестнадцать, она заявила, что выходит замуж за это своего Дика. Я поняла, что она беременна, и сказала: «Это лучшее, что ты можешь сделать, милочка».

Они поженились и сняли две комнаты в «Баффине». Молли с самого начала не занималась домом. Марджори приходила к ней, пытаясь показать дочери, как содержать комнаты в чистоте и порядке, но всё оказалось напрасно. В следующий раз она обнаруживала такую же грязь, как и прежде.

– Не знаю, в кого она уродилась такая ленивая, – сетовала Марджори.

Поначалу Дик с Молли выглядели вполне счастливыми, и, хотя у Дика, кажется, никогда не было постоянной работы, Марджори надеялась, что у дочери всё сложится хорошо. У молодых родился первый ребёнок, и Молли казалась очень довольной, но потом всё начало стремительно ухудшаться. Марджори замечала синяки на шее и руках дочери, фингалы, хромоту. И каждый раз Молли уверяла, что просто упала. У Марджори появились подозрения, и её отношения с Диком, никогда не отличавшиеся сердечностью, окончательно испортились.

– Он меня ненавидит, – всхлипнула она, – и никогда не позволит приблизиться ни к ней, ни к мальчикам. И я ничё не могу поделать. Не знаю, что хуже – знать, что он бьёт мою дочь, или знать, что он бьёт детей. Лучшим временем были те шесть месяцев, когда он сидел. Тогда-то я

знала, что они в безопасности.

Женщина снова разрыдалась, и я спросила, могут ли как-то помочь социальные службы.

– Нет, нет. Она и слова супротив него не скажет. Он к ней так присосался, что я не думаю, что её собственная голова ещё варит.

Я почувствовала глубокую жалость к этой бедной женщине и её недалёкой дочери. Но больше всего я жалела двух несчастных маленьких мальчиков, которых видела в тот приход, когда помешала побоям. А теперь и третий ребёнок был на подходе.

Я сказала:

– Прежде всего, я пришла к вам, чтобы поговорить о ребёнке, который вот-вот родится. Молли оформила домашние роды, но, уверена, это получилось лишь потому, что перед оценкой квартиры вы приходили прибраться.

Она кивнула.

– Теперь мы считаем, что ей лучше рожать в больнице, но она должна сама записаться на больничные роды, а для этого сходить в женскую консультацию. Не думаю, что она это сделает. Вы можете помочь?

Марджори снова разрыдалась.

– Я сделаю всё на свете для неё и её деточек, но этот Дермичард просто не позволит мне к ним подойти. Как же мне быть?

Обкусав ногти, женщина высморкалась.

Ситуация была щекотливой. Я подумала, что можно просто отказаться принимать роды дома и сообщить об этом врачам. Тогда Молли скажут, что она должна прийти в больницу, когда они начнутся. И если она откажется от родового ухода, эта ответственность целиком и полностью ляжет на её плечи.

Оставив бедную Марджори один на один с печальными мыслями, я вернулась к сёстрам.

На деле вопрос о пребывании Молли в больнице был улажен без её активного согласия, и я думала, это будет последним, что мы о ней услышим. Но жизнь распорядилась иначе.

Около трёх недель спустя Сент-Раймондским акушеркам позвонили из попларской больницы с вопросом, могли бы мы организовать послеродовые визиты к Молли, выписавшейся вместе с ребёнком на третий день после родов. Случай был практически беспрецедентным. В те дни все, и врачи, и обычные люди, признавали, что роженица должна две недели провести в кровати.

Очевидно, Молли, взяв ребёнка, отправилась домой, и это считалось

очень опасным. Сестра Бернадетт сразу помчалась в «Баффин».

Она доложила, что Молли дома, выглядит гораздо более чистой, но такой же угрюмой, как обычно. Дика дома не было. Предполагалось, что он присматривал за сыновьями, пока жена находилась в больнице, но как там вышло на деле, никто не знал. Марджори предлагала помощь, но Дик отказался, заявив, что это его дети и он не позволит «надоедливой старой кошёлке» совать нос в его семью.

В квартире не было никакой еды. Возможно, Молли это предчувствовала, потому и выписалась. У неё не было денег, но по дороге домой она заглянула в мясную лавку и выпросила пару мясных пирогов в долг. Мясник знал и уважал её мать, потому и согласился. Когда пришла сестра Бернадетт, два маленьких мальчика, одетые только в грязные рубашечки, сидели на полу, жадно поедая пироги.

Сестра Бернадетт рассказала нам, что Молли почти не говорила. Она согласилась на осмотр и обследование ребёнка, девочки, но всю дорогу продолжала угрюмо молчать. Сестра сказала, что собирается сообщить Марджори о возвращении дочери.

– Делай, чё хошь, – вот и всё, что она получила в ответ.

Марджори понятия об этом не имела и сразу же побежала в «Баффин». Увы, Дика угораздило вернуться в то же время, и они столкнулись на лестничной площадке.

Спяну он сделал в её сторону выпад, но Марджори увернулась. Если бы он её ударил, она бы упала на каменную лестницу. Теперь всё, что оставалось бедной женщине, так это покупать еду и оставлять её дочери на лестничной площадке за дверью.

Обычно мы навещали матерей с младенцами дважды в день в течение двух недель. С чисто медицинской точки зрения с Молли и ребёнком всё было в порядке, но в остальном ситуация оставалась такой же плачевной, как и всегда. Временами Дик появлялся дома, временами пропадал. Бедную Марджори никто никогда там не видел. А между тем она могла бы существенно изменить жизнь Молли и малышей. Одна её жизнерадостность разрядила бы атмосферу в доме, но ей не позволяли войти. Женщине приходилось довольствоваться визитами в Ноннатус-Хаус, чтобы разузнать у сестёр, как дела у её дочери и внуков. Однажды она принесла нам мешок детской одежды и попросила передать его Молли, сказав, что не хочет оставлять перед дверью – вдруг украдут.

В следующие несколько дней Молли посетили несколько медсестёр, и все говорили о пугающих условиях. Одна рассказала, что её чуть не вывернуло – пришлось бежать на улицу, чтобы подышать свежим

воздухом и справиться с позывами желудка.

На восьмой вечер пошла я, но на стук в дверь никто не ответил. Дверь оказалась заперта, поэтому я постучала ещё раз и снова не получила ответа. Я подумала, Молли занята ребёнком и не может ответить. Было только пять вечера, поэтому я отправилась по другим вызовам, намереваясь вернуться позже.

Я вернулась в «Баффин» около восьми. Уставшая, я медленно поднималась на пятый этаж, испытывая сильное искушение уйти. В конце концов, с медицинской точки зрения с Молли и ребёнком всё было хорошо, а в нашу компетенцию только это и входило. Но что-то заставило меня взять себя в руки, и я продолжала из последних сил тащиться вверх по лестнице.

Я постучала и опять не получила никакого ответа. Постучала ещё раз, громче – не может же она до сих пор быть занята. Дверь открылась этажом ниже, и из неё высунулась какая-то женщина.

– Нету её, – заявила она, и сигарета повисла у неё на нижней губе.

– Нету?! Не может этого быть. У неё только родился ребёнок.

– А её нету, говорю же. Я видала, как она уходила. Вся такая расфуфыренная.

– Куда же она пошла? – В голове мелькнуло предположение, что она могла отправиться к матери. – Она была с тремя детьми?

Моя собеседница залилась смехом, и сигарета упала на пол. Женщина нагнулась за ней, и бигуди заклацали друг об дружку.

– Чё! Трое детей! Да ты, должно быть, шуткуешь. Какой ей прок сейчас в троих детях, а?

Мне совсем не понравилась эта женщина. Было что-то неприятное в той всезнающей улыбке, которой она мне улыбалась. Я отвернулась от неё и снова постучала и даже прокричала в щель для писем:

– Впустите меня, пожалуйста, это медсестра.

Внутри кто-то явно шевелился – я это отчётливо слышала. Смущаясь оттого, что грубая женщина подглядывает за мною и смеётся, я опустила на колени и заглянула в щель для писем.

С той стороны двери на меня пристально смотрели два глаза. Ребёнок, не мигая, поизучал меня секунд десять, а потом исчез. Это позволило мне рассмотреть комнату. От оставленной без присмотра керосинки исходил слабый зеленовато-синий свет. Рядом стояла коляска, в которой, как я предположила, спал младенец. Один мальчик бегал по комнате, второй сидел в углу.

Я резко выдохнула. Женщина, должно быть, это услышала.

– Теперь-то веришь? Я ж говорила, что видала, как она ушла.

Тогда я решила заручиться её поддержкой. Она могла бы мне помочь.

– Мы не можем оставить троих детей наедине с керосинкой. Если они повалят её, начнётся пожар. Но если Молли ушла, где же отец?

Женщина подошла ближе. Ей явно нравилось сообщать плохие новости.

– Этот Дик, он настоящий пройдоха. Помяни моё слово. Ты б не захотела иметь с ним никаких делишек. Он её до добра не доведёт, да она и сама-то, гулящая, не больно лучше. «Ох, какой стыд, – говорю я нашей Бетти, – какой стыд», – говорю я. Бедные маленькие детишечки. Они ж не просили, шоб их рождали, так? Я всегда говорю, это...

Я оборвала её:

– Эта керосинка – смертельная опасность. Я собираюсь заявить в полицию. Мы должны туда войти.

Глаза женщины заблестели, и, причмокнув, она схватила меня за руку и сказала:

– Ты будешь звать полицию, так? Бож мой!

Она умчалась на балкон ниже и постучала в ещё одну дверь. Я представила, как она будет разносить новость по всему «Баффину», даже если это займёт всю ночь.

Усталость как рукой сняло, и я припустила вниз по лестнице на улицу, а потом – к ближайшей телефонной будке. Полиция с беспокойством выслушала мой рассказ и сообщила, что они сейчас же придут.

Дальше я побежала в «Онтарио» – сообщить Марджори. Бедная женщина... Когда я рассказала ей, она согнулась пополам, словно её ударили в живот.

– Ох, нет, я больше не вынесу, – застонала она. – Я так и думала. На игрища свои пошла.

Я была столь невинна, что не поняла, о чём идёт речь.

– На какие игрища? – спросила я, думая, что она имеет в виду дартс, бильярд или азартные игры в местном пабе.

Марджори страдальчески на меня посмотрела:

– Не бери в голову, голубушка. Не нужно тебе о таких вещах знать. Я должна пойти присмотреть за деточками.

И мы молча пошли. Полицейские уже прибыли – вскрывали дверь. Я думала, они приведут с собой слесаря, но оказалось, большинство из них и сами имеют неплохой опыт в этом деле. «Они что, в колледже это проходят?» – мелькнула у меня мысль.

На балконе собралась толпа. Марджори протолкнулась вперёд, заявив,

что она – бабушка, и, когда дверь наконец-то открыли, первая зашла внутрь. Полицейские и я двинулись следом.

В комнате было удушающе жарко и воняло гнилью. Детей не было видно, кроме той, что блаженно спала в коляске. Я поспешила к ней – девочка выглядела на удивление ухоженной, чистой и сытой. Остальная часть комнаты была просто неопишима. Рой мух, в углу – куча экскрементов и грязных подгузников, по которой ползали опарыши...

Марджори вошла в спальню, нежно зовя мальчиков. Они сидели за стулом. Заливаясь слезами, женщина взяла их на руки.

– Ничего, мои лапоньки. Бабушка с вами.

Полицейские делали заметки, а я подумала, что, возможно, должна уйти, раз за малышей теперь отвечает бабушка. Но в этот момент снаружи поднялся переполох, и в дверях появился Дик. Он явно не знал, что в его квартире находятся полицейские. Едва завидев их, он бросился было бежать, но путь к отступлению преградили собравшиеся зрители. Они впустили его, а вот выпускать не собирались. Возможно, за Диком числился десяток-другой должков перед соседями.

Ему было вынесено предупреждение за халатность в отношении детей, не достигших пяти лет. Дик выругался, сплюнул и спросил:

– А чё с ними? Малые в норме. Ничё такого, насколько я вижу.

– Вам повезло, что с ними ничего не случилось. Оставив их одних с зажжённой керосинкой, вы могли спровоцировать пожар, если бы они её опрокинули.

Дик начал оправдываться:

– Это не моя вина. Я керосинки не зажигал. То хозяйка. Я не знал, что она уйдёт и оставит её. Ленивая потаскушка! Пусть только попадётся на глаза – уж я ей всыплю по первое...

Полицейский спросил:

– Где ваша жена?

– А я почём знаю!

Марджори напустилась на зятя:

– Ах ты, окаянный! Ты знаешь, где она. И это ты её вынудил. Свинья ты поганая!

Дик был сама невинность:

– Чё эта старая корова мелет?

Марджори закричала было в ответ, но полицейский её остановил:

– Уладите свои разногласия, когда мы уйдём. Мы составили рапорт, что вам вынесено предупреждение за то, что вы оставили своих детей без присмотра и подвергли опасности. Если это повторится, с вас взыщут

штраф.

Дик подлизывался изо всех сил:

– Вам не придётся делать этого, офицер, потому как этого не повторится, офицер. Я извиняюсь и прослежу, чтоб это в последний раз.

Полицейские собрались уходить, и Дик заявил, указывая на Марджори:

– И эту с собой заберите.

Издав страдальческий стон и крепче прижав к себе мальчиков, женщина обратилась к полицейским:

– Я не могу оставить их здесь, малышку, мальчиков. Разве вы не видите? Я не могу их вот так оставить.

Дик проворковал успокаивающим, ободряющим голосом:

– Не волнуйтесь, мамаша. О ребятишках я позабочусь. Нечего тут волноваться. Потом обратился к полицейскому:

– Со мной им ничё не грозит. Слово даю.

Ни один из полицейских не был дураком, и никого ни на секунду не обмануло это проявление отеческой преданности. Но они не могли сделать ничего, кроме как вынести предупреждение.

Один из них повернулся к Марджори:

– Вы можете остаться здесь, только если вас пригласят, и, конечно, не можете забрать детей без согласия отца.

Дик торжествовал:

– Слыхала? Ты должна получить согласие отца. Отец – эт я, и я не даю своего согласия, по́няла? А теперь проваливай.

И тут я впервые заговорила:

– А как же новорождённая? Ей всего восемь дней, она нуждается в грудном вскармливании. Ещё чуть-чуть, и она проснётся голодной. Где Молли?

Не думаю, что до этого Дик обращал на меня внимание. Повернувшись, он осмотрел меня сверху вниз. Я практически чувствовала, как он раздевает меня глазами. Этот тошнотворный тип явно мнил себя божьим даром для любой из женщин. Он подошёл ко мне:

– Не волнуйся ты, сестричка. Моя хозяйка накормит её, как только воротится. Она просто выскочила на минутку.

Он взял мою руку в свои и погладил по запястью. Я резко её отдёрнула. Мне хотелось вдарить по этому ухмыляющемуся лицу, которое нависло над моим так низко, что я чувствовала его смрадное дыхание. Я с отвращением отвернулась. Он придвинулся ещё ближе, в его глазах мерцал насмешливый интерес. Дик понизил голос так, что больше никто не смог бы слышать:

– Недотрога, да? Я знаю, как сбить с тебя спесь, мисс Недотрога.

А я знала, как обращаться с мужчинами вроде этого. Рост – великий уравниватель, и тут я ему не уступала. Мне не нужно было говорить ни слова. Я медленно повернула голову и, посмотрев прямо в глаза, выдержала его взгляд. Улыбка постепенно сползла с лица Дика, и на этот раз отвернулся он. Немногие мужчины способны выстоять перед полнейшим презрением во взгляде женщины.

Безудержно рыдавшая Марджори стояла на коленях на полу, обнимая внуков. Один из полицейских подошел к ней, взял за локоть, помогая подняться на ноги, и тихо произнёс:

– Пойдёмте, мама, вам нельзя здесь оставаться.

Марджори встала, и дети молча отступили к стулу в спальне. Отчаянно застонав, женщина позволила полицейскому вывести себя из комнаты. Спотыкаясь, она вышла – разбитая, выглядящая лет на двадцать старше, чем когда входила. Толпа провожала её сочувственными репликами:

– Эх, бедняжка...

– Ох, какой стыд!

– Ну и как её не пожалеть-то, бедолагу.

– Дурный он, вот и весь сказ!

– Говорю же, стыд-то какой...

Её повели обратно в «Онтарио», а я вернулась в Ноннатус-Хаус. Той ночью мне предстояло о многом подумать.

Велосипед

Стальной стержень Фортескью-Чолмели-Браун открылся нам в следующие несколько недель, когда Чамми овладевала навыками езды на велосипеде. После той аварии сестра Джулианна серьёзно сомневалась, возможно ли это, но Чамми была непоколебима. Она может, и научится.

Каждую свободную минуту она практиковалась. А пока на вызовы ей приходилось ходить пешком, что занимало гораздо больше времени, чем если бы она ехала на велосипеде. Следовательно, у неё было меньше свободного времени, чем у остальных. Но она использовала каждую минутку свободы.

Она толкала старый «Рейли» вверх по Лейланд-стрит, шедшей под небольшим уклоном, а потом скатывалась вниз; вверх и вниз – и так сотни раз, пока не научилась держать равновесие. Каждое утро она просыпалась на несколько часов раньше и уходила вечером примерно с восьми до десяти, возвращаясь измученной и запыхавшейся.

– Судите сами: учиться ездить лишь при дневном свете совершенно бессмысленно, – с неопровержимой логикой заявляла она.

В этих полуночных поездках её обычно сопровождали толпы подбадривающих или глумящихся детей. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы Чамми не снискала уважение «старины», который присоединился к нам ещё в первый день, когда Синтия, Трикси и я попытались её научить. Джек был весьма суровым субъектом лет тринадцати, привыкшим бороться за свои права. Он быстро разогнал малышню: дунул, плюнул – и они разбежались. Затем, стоя перед велосипедом, герой представился:

– Будут проблемы с этими типами, просто кличьте меня, мисс Джека. Я об них позабочусь.

– Ох, это ужасно мило с твоей стороны, Джек. По правде сказать, я страсть как благодарна. Этот старый агрегат – кобылка что надо, да?

Высокопарный выговор Чамми, наверное, был столь же непостижим для Джека, как и его кокни – для неё, и тем не менее между ними завязалась дружба.

После этого Чамми быстро научилась. Джек, приходивший и рано, и поздно, бегал с ней, толкал, всячески ей помогал. Паренёк придумал гениальный способ научить её управлять велосипедом и поворачивать: он

крутил педали, пока она рулила! Чамми держала руль, сидя в седле велосипеда и свесив ноги, а он стоял на педалях, выполняя всю самую тяжёлую работу. Вряд ли тащить двенадцать стоунов было легко, но Джек не казался тринадцатилетним хилаком и явно гордился своей мужественностью. И утром, и вечером раздавался его крик:

– Вертайте налево, мисс; НЕ, НАЛЕВО, дурында. Тише едешь, дальше будешь. Не так резко, а. Ехайте к телефонной будке и глаз с неё не спускайте.

Ни один из них даже не помышлял о том, чтобы сдать, и целых три недели они ездили от Боу до Собачьего острова тёмными ноябрьскими утрами.

У Джека не было собственного велосипеда, и однажды скрепя сердце он был вынужден признать, что для Чамми настало время попробовать прокатиться самой. Он подтолкнул её, и она закрутила педали и уверенно помчалась вниз по улице, а потом завернула за угол. Когда она скрылась из виду, мальчик печально помахал ей вслед. Он был полезен, но теперь веселье закончилось. Джек пнул камень и, сунув руки в карманы, поплёлся домой, одной ногой – в канаве, другой – на тротуаре.

Но Чамми была не из тех, кто позволяет дружбе умереть, и уж точно не из тех, кто позволяет доброте и помощи остаться незамеченными. Мы обсудили это за обедом и единогласно решили, что подарок будет более чем уместен. Предложений было не счесть – и банка конфет, и футбольный мяч, и перочинный ножик, – но Чамми не оценила ни одну из этих идей. Сестра Джулианна, сама практичность и мудрость, подчеркнула, что потраченные Джеком время и усилия и его самоотверженность были столь велики, что требовали и великого дара.

– Не думаю, что мальчику нужен простой сувенир. Мне кажется, он должен получить то, чего по-настоящему желает, что будет для него особенной ценностью. С другой стороны, это зависит от того, что вы, как дарительница, можете себе позволить, так что решать только вам.

Чамми просияла, и лицо её осветила широкая улыбка:

– Конечно, я же знаю, чего Джеку хочется больше всего – велосипед! И я почти уверена, что отец даст мне денег, если я ему всё объясню, так ведь? Он старик великодушный и всегда рад раскошелиться на добрые дела. Напишу ему сегодня же вечером.

И отец, конечно же, раскошелился, счастливый оттого, что его единственная девочка наконец-то нашла своё место. Он не понимал её желания стать миссионером, как не понимал страсти к акушерству, но во всём поддерживал дочь.

Новый велосипед означал для Джека новую жизнь. В те дни немногие мальчики могли похвастаться подобной роскошью. Но для него это значило больше, чем статус. Это была сама свобода. В нём кипела жажда приключений, и он уезжал на своём велосипеде на многие мили за пределы Ист-Энда. Джек вступил в Дагенхемский велосипедный клуб и участвовал в гонках и пробегах. В одиночку он отправился в поход по пригородам Эссекса, доехал до побережья и впервые увидел море.

Чамми была в восторге, продолжение их дружбы оказалось её самой большой радостью. А он словно бы чувствовал, что ей нужна защита, и каждый день после школы приходил в Ноннатус-Хаус, чтобы сопровождать её во время вечерних вызовов. Его предчувствие, что ребята в доках будут дразнить и мучить её, оправдалось: никто из кокни не принял Чамми – все потешались у неё за спиной. Завидев её великанскую фигуру, уверенно колесящую по улицам на древнем массивном велосипеде, толпы детей выстраивались вдоль мостовой, выкрикивая что-то вроде «эгей, здорово!» и «вот это славно!» или «держись, старина!» и заливисто хохоча. И, сыпля соль на рану, прозвали её Бегемотом. Бедная Чамми относилась ко всему с юмором, но мы-то знали, как ей на самом деле больно. Однако, когда крепкий, драчливый, опытный Джек был с нею, остальные ребята держались на расстоянии.

Мы постоянно видели его на улице или во дворе многоквартирного дома, стоящего с двумя велосипедами – нижняя челюсть выдвинута вперёд, длинные ноги немного расставлены – и хладнокровно смотрящего по сторонам с уверенностью: одного его взгляда достаточно, чтобы защитить «мисс».

Двадцать пять лет спустя застенчивая девушка леди Диана Спенсер обручится с принцем Чарльзом, наследником престола. Я видела несколько видеосюжетов о том, как она прибывает на всевозможные мероприятия. Каждый раз, когда автомобиль останавливался, открывалась передняя дверь, выходил телохранитель, открывал заднюю для леди Ди. Встав рядом – челюсть выдвинута вперёд, ноги немного расставлены, – зрелый Джек, как и в детстве, хладнокровно оглядывал толпу вокруг, готовый защищать свою нынешнюю «мисс».

Женская консультация

В каждой работе есть что-то неприятное. Мне не нравилась дородовая работа. Я бы даже сказала, что ненавидела женскую консультацию и с содроганием ждала наступления вторника.

Это была не просто тяжёлая работа – хотя она действительно была не из лёгких. Акушерки пытались расписать дневные вызовы так, чтобы мы освобождались к полудню. В половине второго, после раннего ланча, мы начинали подготавливать нашу клинику, чтобы открыть двери в два. Мы работали, работали, работали, пока не заканчивали часов в шесть, а то и в семь вечера. После начинались вечерние визиты.

Это ничуть меня не смущало – я не боялась тяжёлой работы. Что действительно выбивало меня из колеи, так это повышенная концентрация невымытых женских тел, пышущих жаром и влагой, бесконечная болтовня и, прежде всего, запах. Как бы я потом ни отмывалась и ни переодевалась, проходила ещё пара дней, прежде чем мне удавалось избавиться от тошнотворных запахов влагалищных выделений, мочи, застарелого пота и нестиранной одежды. Всё это смешивалось с горячим липким паром, пропитывая в мою одежду, волосы, кожу – во всё. Множество раз во время рутинных дородовых консультаций мне приходилось выбегать на свежий воздух и перегибаться через перила у двери, прикладывая все усилия, чтобы меня не стошнило.

Но все мы разные, и я не встречала других акушерок, страдавших тем же недугом. Когда я жаловалась на вонь, ответом мне бывало искреннее удивление. «Какой запах?» или «Ну, возможно, было немного жарковато». Так что я больше никому не рассказывала об особенностях своего восприятия. Мне приходилось постоянно напоминать себе об огромной важности дородовой работы, благодаря которой так снизилась женская смертность. Воспоминания об истории акушерства и бесконечных страданиях рожениц заставляли меня шевелиться, когда я думала, что просто не могу сдвинуть себя с места, чтобы осмотреть ещё одну женщину.

Полное пренебрежение женщинами в период беременности и родов были нормой. Во многих первобытных обществах женщина во время менструации или с ребёнком, рожаящая или кормящая грудью, считалась грязной, осквернённой. Женщину изолировали, часто её не позволялось касаться, даже другой женщине. Бедняжке приходилось приходиться через

все испытания в одиночку. Как следствие, выживали только самые приспособленные, и в ходе процессов мутации и адаптации особи с наследственными аномалиями, вроде несоответствия размеров таза и головы эмбриона, выбывали из гонки, особенно в отдалённых уголках мира, так что для потомков выживших роды становились легче.

В западном же обществе, которое мы называем цивилизованным, этого не происходило, и десяток с лишним осложнений, в том числе смертельных, ещё и накладывались на природные бедствия и прочие угрозы, такие как перенаселение, стафилококковая и стрептококковая инфекции, холера, скарлатина, брюшной тиф и туберкулёз, венерические заболевания, рахит, отравление водой, опасности, связанные с множественными и частыми родами. Добавив ко всему этому безразличие и пренебрежение, которые часто сопутствовали родам, нетрудно понять, почему их окрестили «проклятием Евы» и почему столько женщин умирало, даруя новую жизнь.

Акушерки Святого Раймонда Нонната содержали своё приемное отделение в главном нефе храма. Сегодня идея устроить полномасштабную женскую консультацию в переделанном старом храме показалась бы ужасной, и санитарные инспекторы, инспекторы-инфекционисты – да любые инспекторы, каких только можно вообразить, – приговорили бы её ещё в зародыше. Но в 1950-х подобное ни в коем случае не осуждалось, напротив, монахинь очень хвалили за проявление инициативы и смекалки.

Перепланировка ограничилась установкой туалета и проведением холодной воды. Горячую воду получали из водонагревателя Аскота, крепившегося к стене возле крана. Отапливались стоящей посреди нефа большой коксовой печью – чугунной конструкцией, которую каждое утро разжигал истопник по имени Фред. В те дни коксовые печи были распространены повсеместно, я видела их даже в больничных палатах. (Помню одну палату, где практиковалась стерилизация шприцев и иголок кипячением их в кастрюле на плите.) Печи эти были очень массивными, с плоским верхом, и в них нужно было, открыв круглую крышку, подбрасывать кокс из ведёрка, что требовало значительных физических усилий. Печь располагалась в самом центре помещения, разливая своё тепло вокруг. Посреди неё торчала труба, выходящая прямо на крышу.

В нашем распоряжении было несколько смотровых кушеток с подвижными ширмами, чтобы обеспечить конфиденциальность, и деревянные стулья и столы, за которыми мы вели свои записи. Возле раковины располагалась длинная мраморная стойка, на которую мы

складывали свои инструменты и другое оборудование. На ней стояла газовая горелка со сложенными рядом спичечными коробками. Одинокaя струйка пламени постоянно использовалась для кипячения мочи. Я чувствую этот запах и теперь, более пятидесяти лет спустя.

Наша женская консультация и подобные ей, разбросанные по всей стране, сегодня могут показаться примитивными, но они спасли бесчисленное количество жизней матерей и младенцев. Клиника Сент-Раймондских акушерок была единственной на весь район, пока в 1948 году в Попларской больнице не открылась небольшая родовая палата на восемь кроватей. До этого ничего подобного в больнице не было, несмотря на то что плотность населения Поплара оценивалась в пятьдесят тысяч человек на квадратную милю. Когда же после войны было принято решение открыть родовое отделение, никаких специальных шагов предпринято не было. Были попросту выделены две маленькие палаты, одна – для родов, другая – для послеродового периода, а также женской консультации. Недостаточно, но лучше, чем вообще ничего. Удобства, оборудование, технологии были не очень важны. А вот знания, навыки и опыт акушерок – очень.

Сильнее всего я хотела избежать клинических обследований. «Вряд ли будет так же плохо, как на минувшей неделе, – думала я, когда мы готовились к открытию. От одного воспоминания бросало в дрожь. – Слава богу, на мне были перчатки. Страшно подумать, как я обошлась бы без них».

Она не шла у меня из головы всю прошлую неделю. Ворвалась в клинику около шести вечера, в бигуди и тапочках, с нижней губы свисала сигаретка; с нею были пятеро детей в возрасте до семи лет. Назначено ей было на три. Я прибиралась после не слишком напряжённого дня. Две другие студентки-акушерки ушли, третья принимала последнюю пациентку. Из сестёр осталась только новообращённая Рут («новенькая» только в том, что касалось религии, но не акушерства). Она и попросила меня посмотреть Лил Хоскин.

Это был первый дородовой визит Лил, при том что менструаций у неё не было уже пять месяцев. Доставая папку, я украдкой вздохнула – осмотр займёт никак не меньше получаса. Я просмотрела записи: тринадцатая беременность, десять рождённых живыми детей, никаких инфекционных болезней, ревматизма или болезней сердца, никакого туберкулеза, цистит, но никаких симптомов нефрита, мастит после третьего и седьмого младенцев, остальные дети – на грудном вскармливании.

Записи рассказали мне большую часть её акушерской истории, но я должна была задать ей некоторые вопросы о текущей беременности:

– У вас были кровотечения?

– Неа.

– Выделения из влагалища?

– Немного.

– Какого цвета?

– Желтоватые такие.

– Отёк лодыжек?

– Неа.

– Отдышка?

– Неа.

– Рвота?

– Немного. Но не так уж.

– Запоры?

– Ага, ещё какие!

– Вы уверены, что беременны? Вас осматривали или проверяли?

– Я и так знаю, – многозначительно заявила она, визгливо рассмеявшись.

Дети, казалось, были повсюду. Большой и практически пустой церковный зал стал для них отличной игровой площадкой. Я не возражала – ни один здоровый ребёнок не устоит перед большим открытым пространством, желание побегать непреодолимо, когда тебе всего пять лет. Но Лил считала, что нужно показать, кто в доме хозяин. Она схватила пробегающего мимо ребёнка за руку и подтащила к себе. От души стукнув его по щеке и уху своей тяжёлой рукой, Лил проорала:

– Заткнись и веди себя прилично, маленький гадёныш! Это вас всех касается.

Ребёнок завизжал от боли и несправедливости удара. Отступив ярдов на десять от матери, он закричал и затопал ногами, пока совсем не выбился из сил. Потом замолчал, глубоко вздохнул и начал заново. Остальные дети прекратили беготню, двое начали хныкать. Недалёкая женщина мгновенно превратила идиллическую, хотя и шумную картину детской игры в поле боя. С того момента я её возненавидела. Новообращённая Рут подошла к ребёнку и попыталась его утешить, но тот оттолкнул её и, повалившись на пол, принялся брыкаться и кричать.

Лил усмехнулась и сказала мне:

– Не обращайтесь внимания, переживёт. – Потом громче – ребёнку. – Заткни пасть, а то ещё получишь.

Я не могла этого вынести и, чтобы она больше не распускала руки, сказала, что должна изучить её мочу, вручила аптечную банку и попросила сходить в уборную и собрать анализ. Потом сообщила, что должна её осмотреть, для чего придётся раздеться ниже пояса и лечь на одну из кушеток.

Тапочки зашлёпали по деревянному полу, когда она пошла в уборную. Вернувшись, Лил, хихикая, отдала мне анализ и повалилась на одну из кушеток. Я стиснула зубы. «Что это она всё хихикает?» – подумала я.

Ребёнок всё ещё лежал на полу, но уже не так кричал. Остальные дети выглядели угрюмыми и больше не пытались играть.

Я пошла к столу, чтобы проверить мочу. Лакмусовая бумажка покраснела, показывая нормальную кислотность. Моча была мутная, с высоким удельным весом. Я решила проверить сахар и зажгла газовую горелку. Я наполовину наполнила пробирку мочой, добавила пару капель раствора Фелинга и вскипятила содержимое. Никакого сахара. Наконец я должна была сделать тест на белок, для чего наполнила пробирку свежей мочой и вскипятила только верхнюю половину. Моча не побелела и не загустела – белок отсутствовал.

Все манипуляции заняли приблизительно пять минут. За это время ребёнок перестал плакать. Он сидел и играл с новообращённой Рут, катая туда-сюда несколько мячиков. Когда она наклонилась, белая муслиновая вуаль упала ей на лицо, скрыв на миг её изысканные тонкие черты. Ребёнок ухватился за ткань и потянул. Остальные дети засмеялись. Они снова казались счастливыми. «И это благодаря чужому человеку, а не их грубой жестокой матери», – подумала я, возвращаясь к Лил, лежащей на кушетке.

Она была толстой, и её дряблая кожа была грязной и мокрой от пота. От тела исходил буйный несвежий запах. «Мне надо к ней прикасаться?» – подумала я, подходя ближе. Я попыталась напомнить себе, что она, её муж и все их дети, вероятно, живут в двух или трёх комнатках без ванны или даже горячей воды, но чувство отвращения от этого не рассеялось. Мои чувства, возможно, смягчились бы, не ударь она своего ребёнка так бессердечно.

Надев хирургические перчатки, я прикрыла её ниже пояса простынёй, потому что хотела сначала осмотреть грудь, и попросила приподнять рубашку. Она захихикала и, вихляясь, задрала её. Запах, исходящий от её подмышек, усилился. Две большие оттянутые груди свесились по сторонам, выпуклые вены бежали к огромным, почти чёрным соскам. Такие вены были явным признаком беременности. Из сосков можно было выжать немного жидкости. «Считай, что диагностировала», – подумала я и

сообщила ей об этом.

Она хохотнула:

– Я ж грила, не?

Я померила ей давление, оказавшееся довольно высоким. «Ей нужно больше отдыхать», – подумала я, сомневаясь, однако, что у неё будет такая возможность. Дети тем временем отошли от недавней взбучки и снова носились вовсю.

Я опустила её рубашку и обнажила большой живот, буквально покрытый растяжками. Легчайшее надавливание рукой показало, что дно матки уже выше пупка.

– Когда у вас были последние месячные?

– Гляньте внимательней. В прошлом годку, кажись. – Она хихикнула, и живот колыхнулся вверх-вниз.

– Вы уже чувствовали шевеления?

– Неа.

– Я хочу послушать сердцебиение ребёнка.

Я потянулась за акушерским стетоскопом Пинара. Это был маленький металлический воронкообразный инструмент, его широкий раструб прижимался к животу, а к узкому уплощенному концу прикладывали ухо. Обычно устойчивый глухой звук сердцебиения можно было услышать довольно чётко. Я послушала в нескольких точках, но ничего не услышала. Пришлось позвать новообращённую Рут, чтобы подтвердить мою догадку и определить срок беременности. Сердцебиения она тоже не услышала, но признала, что остальные признаки говорят о беременности. Она посоветовала провести внутреннее обследование, чтобы это подтвердить.

Я ожидала и страшилась этого. Я попросила Лил приподнять колени и развести ноги. Как только она это сделала, меня окатили запахи несвежей мочи, влагалищных выделений и пота. Пришлось изо всех сил бороться с тошнотой. «Только бы не вырвало», – единственное, о чём я могла тогда думать. Пучки лобковых волос торчали клочьями, слипшись от влаги и грязи. «Возможно, у неё лобковые вши», – подумала я. Новообращённая Рут наблюдала за мной. Скорее всего, она поняла, как я себя чувствую, – сёстры были весьма чутки, но немногословны. Смочив тампон, я принялась протирать влажную синеватую вульву и, пока её мыла, заметила, что одна сторона очень сильно опухла, а другая – нет. Раздвинув вульву пальцами, я нащупала маленький твёрдый комочек на опухшей стороне. Я несколько раз провела по нему пальцами. Прощупывался он легко. Твёрдые комки в мягких тканях заставляют задуматься о раке.

Я чувствовала, что новообращённая Рут очень внимательно смотрела на

меня всё это время. Подняв глаза, я вопросительно на неё посмотрела. Она сказала:

– Возьму перчатки. Пока ничего не делайте, сестра.

Она вернулась буквально через пару секунд и заняла моё место, не говоря ни слова, пока не убрала руку и не прикрыла Лил простыней.

– Можете опустить ноги, Лил, но не вставайте – через минуту мы ещё раз вас осмотрим. Сестра, будьте добры, подойдите со мной к столу.

У стола, стоявшего в дальнем конце комнаты, она очень тихо проговорила:

– Думаю уплотнение – твёрдый сифилитический шанкр. Я немедленно позвоню доктору Тёрнеру и спрошу, сможет ли он приехать осмотреть её, пока она ещё здесь. Если мы отпустим её с наставлением пойти к врачу, она, скорее всего, не пойдёт. Бледная спирохета может проникнуть через плаценту и заразить плод. Однако твёрдый шанкр – лишь первая стадия сифилиса, и при своевременной диагностике и лечении есть хорошие шансы на выздоровление матери и спасение ребёнка.

Я чуть не упала в обморок – пришлось схватиться за стол, прежде чем сестра. Я прикасалась к ней – к этой мерзкой твари – и её сифилитическому шанкру. Я не могла говорить, но новообращённая Рут любезно мне растолковала:

– Не переживайте. На вас были перчатки. Вы не могли ничего подхватить.

Она вышла из Ноннатус-Хауса позвонить доктору, а я не могла пошевелиться. Минут пять я сидела за столом, борясь с накатывающими волнами тошноты и дрожи. Повсюду играли совершенно счастливые дети. Из-за ширмы не раздавалось никаких звуков, пока до моих ушей не донёсся низкий звук довольного храпа. Лил заснула.

Доктор прибыл спустя пятнадцать минут, и новообращённая Рут попросила сопроводить его. Должно быть, я выглядела бледной, потому что она уточнила:

– Вы в порядке? Справитесь?

Я молча кивнула. Я не могла сказать «нет». В конце концов, я была медсестрой, привычной ко всяким ужасам. Но даже после пяти лет работы в больнице – травмы, анатомический театр, рак, ампутации, умирающие, смерти, – ничто и никто не вызвал во мне столь глубокого отвращения, как Лил.

Доктор осмотрел её и сделал соскоб с твёрдого шанкра, чтобы исследовать в лаборатории, а также взял образец крови для реакции Вассермана. Потом сказал Лил:

– Думаю, мы диагностировали у вас венерическую болезнь на ранней стадии. Мы...

Прежде чем он договорил, она разразилась лающим смехом:

– О, бож' мой! Только не снова! Смех, да и только!

Лицо доктора окаменело. Он сказал:

– Мы вовремя заметили. Сейчас я вколю вам пенициллин, уколы следует ставить ежедневно в течение десяти дней. Мы должны спасти ребёнка.

– Любой каприз за ваши деньги, – хихикнула она. – Мне в лёгкую, – и подмигнула ему.

Лицо врача ничего не выражало, пока он готовил внушительную дозу пенициллина и вводил Лил в бедро. Мы оставили её одеваться, а сами перешли к столу.

– Мы получим результат по крови и сыворотке из лаборатории, – сказал доктор Тёрнер новообращённой Рут, – но я не думаю, что диагноз оставляет какие-то сомнения. Могут ли ваши сёстры организовать ежедневные посещения для инъекций? Боюсь, если мы попросим её приходить в приёмную, она не станет утруждать себя или вовсе забудет. Если плод ещё жив, мы должны сделать всё возможное.

Было много позже семи вечера. Лил оделась и теперь вопила детям, чтобы шли за нею. Прикурив ещё одну сигарету, она весело хохотнула:

– Ну, покедова всем.

Затем многозначительно посмотрела на новообращённую Рут и, хитро прищурившись, сказала:

– Будь паинькой, – и взвизгнула от смеха.

Я сообщила, что мы будем приходить каждый день, чтобы ставить ей уколы.

– Любой каприз за ваши деньги, – повторила она, пожав плечами, и ушла.

Я всё ещё должна была закончить с уборкой, а чувствовала себя такой уставшей, что еле переставляла ноги. Должно быть, моральный и эмоциональный шок способствовали усталости.

Новообращённая Рут добродушно усмехнулась:

– Вам следует привыкнуть ко всем проявлениям этой жизни. У вас есть вечерние вызовы?

Я кивнула:

– Три роженицы. Одна из них в Боу.

– Тогда поезжайте к ним, а я приберусь.

Благодаря её от всего сердца, я покинула клинику. Свежий воздух

взбодрил, и поездка на велосипеде развеяла мою усталость.

Следующим утром, посмотрев журнал вызовов на день и обнаружив, что должна делать пенициллиновую инъекцию Лил Хоскин, проживающей в Пибоди-билдингс, я внутренне застонала, хотя и предполагала, что это поручат мне. Расписание было составлено так, что этот вызов оказывался последним перед обедом, инструкция предписывала хранить шприц с иглой отдельно от акушерской сумки, а также надеть перчатки. Могли бы и не уточнять.

Пибоди-билдингс в Степни пользовались дурной славой. Их определили под снос ещё пятнадцать лет назад, но они до сих пор стояли, и в них до сих пор жили люди. Худшие многоквартирки, которые только можно представить: вода шла из единственного крана в конце каждого балкона, где располагался и единственный туалет. В квартирах не было никаких удобств. Моё отношение к Лил смягчилось. Возможно, живя в подобных условиях, я бы ничем от неё не отличалась.

Дверь была открыта, но я всё равно постучалась.

– Привет, дорогуша. Я тебя поджидаю. Вона и воды приготвила.

Как мило. Она, должно быть, приложила немалые усилия, чтобы набрать и подогреть воду.

Квартира оказалась грязной и зловонной. За слоем грязи едва ли можно было разглядеть хоть один квадратный дюйм пола, повсюду ползали голые по пояс дети.

На своей территории Лил казалась совсем другой. Возможно, в клинике ей стало страшно, вот и пришлось самоутверждаться, хорохорясь. Дома она не казалась такой громкой и наглой. Раздражающее хихиканье, как я поняла, было не более чем постоянным неудержимым хорошим настроением. Она шпыняла детей, но не зло.

– Пшли вон, маленькие спиногрызы. Медсестра не может войти.

Она повернулась ко мне:

– Пожалте. Можете бросить свои вещички здесь.

Женщина взяла на себя труд разгрести уголок стола и поставила туда таз с мылом и грязным полотенцем.

– Подумала, вам пригодится хорошее чистое полотенце, а, дорогуша?

Всё относительно.

Я поставила сумку на стол, но вытащила только шприц, иглу, ампулу, перчатки и ватный тампон, смоченный в спирте. Дети были в восторге.

– Отвяньте, или я вас за уши оттакаю, – весело предупредила Лил. Потом обернулась ко мне: – Вам ногу подавать или зад?

– Неважно. Как вам удобней.

Она задрала юбку и наклонилась. Внушительная круглая попа была мне ответом.

Дети заахали и столпились вокруг. С пронзительным хохотом Лил, словно лошадь, брыкнулась.

– Ну, ну! Вы что, попы раньше не видали?

Она взревела от смеха, и пятая точка затряслась так, что ввести в неё иглу было практически невозможно.

– Так, держитесь за стул и постоит спокойно хоть секунду, хорошо? – теперь смеялась уже я.

Она послушалась, и меньше чем через минуту с уколом было покончено. Я как следует потёрла область укола, чтобы разогнать жидкость, – доза всё-таки была приличной. Сложила инструменты в коричневый бумажный пакет, чтобы не смешивались с остальными. Потом помыла руки и вытерла приготовленным Лил полотенцем, просто чтобы ей угодить: воспользуйся я своим, она могла бы расценить это как оскорбление.

Она проводила меня до двери, вышла на балкон, дети тащились следом.

– Тады до завтра. Буду оч' ждать. И чайку для вас заварю.

Я ехала прочь и размышляла. В своём окружении Лил не была отвратительной старой кошёлкой – она была героиней. Она сохраняла семью, несмотря на ужасные условия, и её дети выглядели счастливыми. Она оставалась весёлой и ни на что не жаловалась. Как она заработала сифилис, было не моим делом. Я приходила, чтобы лечить её, а не осуждать.

На следующий день я так крепко задумалась, как бы повежливей отказаться от «чайка», что, когда дверь отворилась, застыла в тупом недоумении, уставившись на Лил, которая не была Лил.

Она была немного ниже и толще, в тех же шлёпанцах и бигуди, с той же сигареткой, но – другая. Знакомый визгливый смех обнажил беззубые дёсны. Она ткнула меня в живот:

– Ты приняла меня за Лил, а? Все спутывают. Я ейная мамка. Мы прям двое из ларца. У Лил случился выкидыш, и она пшла в больницу. Ну и слав' богу, я грю. Ей и десятерых хватит с лихвой, да и этот её постоянно то тут, то там.

Несколько вопросов – и передо мной предстали все факты. После того как я вчера уехала, Лил плохо себя почувствовала, потом её стошнило, она легла в постель и отправила одного из детей за бабушкой. Начались схватки, её снова стошнило, и она потеряла сознание.

Бабушка сказала мне:

– С выкидышем я всегда справлюсь, но не с мёртвой женщиной. Нет, сэр.

Она вызвала врача, и Лил увезли прямо в Лондонскую больницу в Уайтчепеле. Позже мы узнали об извлечении мацерированного плода. Возможно, он был мёртв уже три или четыре дня.

Рахит

Сегодня трудно представить, что до прошлого века женщины не получали акушерской помощи во время беременности. Порой женщина впервые видела врача или акушерку, когда у неё уже начинались роды. Неудивительно, что смерть матери, или ребёнка, или обоих сразу считалась обычным делом. Подобные трагедии рассматривались как Божья воля, тогда как на деле они оказывались неизбежным результатом пренебрежения и невежества. Доктора посещали светских дам во время беременности, но такие посещения не были дородовым уходом и, вероятно, скорее походили на дружеские визиты, чем на что-либо ещё, потому что врачи не обучались дородовому уходу. Пионером в этой области акушерства был доктор Дж. У. Баллантайн из Эдинбургского университета. (Кстати говоря, многие крупные медицинские открытия и достижения «родом» из Эдинбурга.) В 1900 году Баллантайн написал статью, в которой сетовал на плачевное состояние дородовой патологии и настаивал на необходимости женских консультаций. Анонимное пожертвование в размере тысячи фунтов позволило в 1901 году поставить в Мемориальной больнице Симпсона первую кровать дородового ухода. (Симпсон, ещё один шотландец, развивал анестезиологию.)

Поразительно, но это была первая подобная кровать во всём цивилизованном мире. Медицина развивалась тогда семимильными шагами. Был выделен стафилококк, а также туберкулёзная палочка, изучены сердце и кровообращение, установлены функции печени, почек и лёгких. Быстро совершенствовались анестезиология и хирургия. Но никто, кажется, не думал, что дородовой уход важен для жизни и безопасности беременной и ребёнка.

Десять лет спустя, в 1911 году, в Бостоне, в США, появилась первая женская консультация. Другая открылась в Сиднее, в Австралии, в 1912 году. Доктору Баллантайну пришлось ждать до 1915 года, пятнадцать лет после его судьбоносной статьи, прежде чем он увидел открытие женской консультации в Эдинбурге. Он и другие дальновидные акушеры сталкивались с резкой оппозицией коллег и политиков, рассматривавших дородовое наблюдение как бесполезное расходование общественных средств и времени врачей.

В то же время прогрессивные, преданные идее женщины боролись за

развитие нормального обучения искусству акушерства. Если доктору Баллантайну приходилось нелегко, то этим женщинам было ещё тяжелее. Вообразите, каково было столкнуться с жестоким противодействием: зубоскальством, презрением, осмеянием, гнусными намёками по поводу уровня интеллекта, моральной чистоты и побудительных мотивов. В те времена, высказав своё мнение, женщина рисковала увольнением. И подобное обращение исходило как от других женщин, так и от мужчин. На самом деле, особенно неприятна была «гражданская война» между различными школами медсестёр, имевших какие-то акушерские знания. Так, одна выдающаяся леди – старшая медсестра больницы Святого Варфоломея – клеймила дерзновенных акушеров «анахронизмом, который снищет в будущем звание исторического курьёза».

Кажется, врачебная оппозиция возникла главным образом на основании утверждения, что «женщины слишком стремятся вмешаться во все возможные сферы жизни»^[6]. Акушеры-мужчины также сомневались относительно интеллектуальной способности женщин охватить анатомию и физиологию деторождения и предполагали, что научиться они этому не в состоянии. Но знаете, в чём крылся истинный корень страха? В деньгах. Большинство врачей брали по одной гинее^[7] за роды. Бытовало мнение, что выучившиеся акушерки собьют им цены, принимая младенцев за полгиней. Мечи были обнажены, и война началась!

В 1860-х Совет акушерства подсчитал, что из примерно 1 250 000 родов за год в Британии лишь около десяти процентов проходили в присутствии врача. Некоторые исследователи опускают цифру до трёх процентов. А значит, всем остальным – а это более миллиона женщин ежегодно – помогали женщины, не прошедшие систематического обучения, или вообще никто не помогал, кроме подруг и родственниц. В 1870-х Флоренс Найтингейл написала «Заметки о послеродовых лазаретах», обратив внимание на «полное отсутствие любых способов обучения в любых существующих учреждениях». Она писала: «...Это фарс или насмешка – называть присутствующих на родах женщин акушерками. Во Франции, в Германии и даже в России практика, подобная нашей, считается женоубийством. В этих странах всё регулируется правительством, у нас – частным предпринимательством». Гинейя, заработанная врачами за роды, была значительной частью их дохода. Угрозе, которую представляли для них обученные акушерки, нужно было как-то противостоять. А то, что тысячи женщин и младенцев ежегодно умирали из-за отсутствия надлежащего ухода, не принималось в расчет.

Однако храбрые, трудолюбивые, преданные своему делу женщины в конечном итоге победили. В 1902 году был принят «Закон об акушерстве», а в 1903-м Центральный совет акушеров выпустил первый сертификат на обучение. Пятьдесят лет спустя я гордилась тем, что стала преемницей этих замечательных женщин и могла предложить приобретённые навыки многострадальным, но стойким и жизнерадостным женщинам лондонских доков. Женская консультация снова открылась в главном нефе церкви. Стояла середина зимы, коксовая печь жарила нещадно, тщательно огороженная со всех четырёх сторон, чтобы обезопасить детей, бегающих вокруг.

Последние две недели Лил не шла у меня из головы, вызывая странную смесь отвращения и восхищения. Восхищаясь тем, как она справляется, я надеялась, что мне больше не придётся с нею встречаться, по крайней мере, не в качестве акушерки.

Семь стопок записей на столе, примерно по десять папок в каждой, намекали, что день будет суматошный – не до мыслей о Лил и её сифилисе. Опять закончим только к семи, и то если повезёт.

Я взглянула на верхнюю папку первой стопки: Бренда, сорок шесть лет, рахит. Ей предстояла госпитализация для проведения кесарева, приписана она была к Лондонской больнице в Уайтчепеле, но беременность вели мы. Как раз в этот момент она, хромая, вошла в зал, пунктуальная до минуты, – ей было назначено на два. Я стояла у стола, остальные ещё не освободились, так что я взяла её на осмотр.

Сердце переполнилось жалостью к маленькой Бренде с её искорежёнными костями. На протяжении веков оставалось неизвестно, что вызывает подобное состояние. Кто-то подозревал, что дело в наследственности. Считалось, что ребёнок «слаб», или «болезнен», или просто ленив, ведь рахитичные дети всегда встают и начинают ходить очень поздно. Их кости укорочены и утолщены на концах и прогибаются под давлением. Позвоночник деформирован, поскольку многие позвонки повреждены. Грудина изогнута, и грудная клетка раздаётся в стороны и часто даже искривляется. Голова большая и квадратная, с выступающими, нижняя челюсть – сглаженная. Часто выпадают зубы. Словно бы этих уродств недостаточно, у рахитичных детей всегда пониженный иммунитет, их вечно преследуют бронхит, воспаление лёгких и гастроэнтерит.

Такие симптомы проявлялись всюду в Северной Европе, особенно в городах, но никто не знал, что их вызывает, пока в 1930-х годах не обнаружили элементарную причину: недостаток витамина D в рационе вызывает дефицит кальция в костной ткани. Такая простая причина – и так

много страданий! Витамин D в изобилии содержится в молоке, мясе, яйцах и особенно в мясном и рыбьем жире. Вы думали, в рационе большинства детей должны быть эти продукты? Но нет, к бедным детям из неблагополучных семей это не относилось. Также витамин D может самостоятельно вырабатываться в организме под действием ультрафиолетовых лучей на кожу. Вы думали, в Северной Европе должно быть достаточно солнца? Но нет, солнце не светило бедным детям в промышленных городах, где стоящие вплотную здания практически перекрывали естественный свет и где дети по многу часов работали на фабриках, в мастерских или работных домах.

Так что дети росли калеками. Кости туловища деформировались, длинные кости ног подкашивались и сгибались под весом верхней части тела. В подростковом возрасте, когда рост прекращался, кости застывали в таком положении.

Даже сегодня, в XXI веке, всё ещё можно увидеть невысоких древних стариков, ковыляющих на своих вывернутых наружу ногах. Это немногие выжившие храбрецы, всю жизнь преодолевавшие последствия бедности и лишений своего детства почти вековой давности.

Бренда лучезарно улыбнулась мне. Странное лицо с челюстью странной формы светилось нетерпеливым предвкушением. Она знала, что её ожидает кесарево сечение, но не беспокоилась из-за этого. Она хотела ребёнка и надеялась, что на этот раз он выживет. Лишь это имело для неё значение, и она была бесконечно благодарна сёстрам, больнице, докторам – всем, но прежде всего – Национальной службе здравоохранения и замечательным людям, устроившим так, что всё это было бесплатно и ей не приходилось ни за что платить.

Акушерская история Бренды была трагична. Она вышла замуж молодой, и в 1930-х перенесла четыре беременности. Все дети умерли. Трагедия женщины с рахитом состоит в том, что наряду со всеми другими костями таз тоже деформируется и уплощается – развивается плоскоррахитический таз. Из-за этого родить ребёнка становится невозможно или очень трудно. Четыре раза Бренда пережила долгие тяжёлые роды, и каждый раз ребёнок умирал. Ей повезло, что она сама не умерла, как бесчисленные женщины по всей Европе за минувшее десятилетие.

Заболеваемость рахитом всегда была немного выше среди девочек, чем среди мальчиков. Причина, вероятно, была социальной, а не физиологической. Бедные многодетные матери, как правило, чаще

благоволили сыновьям (и до сих пор так делают!), поэтому мальчикам доставалось больше еды. Мальчики всегда были подвижнее и больше играли на улице. В Попларе мальчики постоянно крутились у воды, на причалах, у разрушенных бомбами зданий. Так они получали больше солнечного света, в то время как их сестёр держали дома. Кроме того, филантропами организовывались многочисленные проекты на время каникул, например летние лагеря, предлагающие бедным мальчикам пожить месяц за городом в палатках, – такие лагеря спасли тысячи жизней. Но я не слышала, чтобы сто лет назад существовали лагеря и для девочек. Возможно, увозить девочек из дома и селить в палатки считалось недопустимым. Или, возможно, потребности девочек просто игнорировались. Так или иначе, они оставались ни с чем. Каждое лето им отказывали в живительном солнце, и хрупкие маленькие девочки вырастали в искорёженных женщин, которые беременели и девять месяцев вынашивали ребёнка, но не могли его родить.

Неизвестно, сколько женщин умерло от измождения в агонии осложнённых родов: бедняки были расходным материалом, и их число не учитывалось. Вот что я прочитала в старинном руководстве под названием «Предписание для женщины, принимающей роды»: «Если женщина рожает более десяти-двенадцати дней, следует прибегнуть к помощи врача». Десять-двенадцать дней осложнённых родов в руках неквалифицированной женщины! Святые небеса – где же было их милосердие, их понимание?

Очистив разум от тягостных мыслей, я смиренно возблагодарила Бога, что акушерская практика не стояла на месте. Хотя даже когда я училась, самые современные учебники гласили, что женщины с рахитическим тазом должны пройти «пробные роды от восьми до двенадцати часов в качестве проверки выносливости матери и плода». В 1930-х Бренда четырежды подвергалась таким «пробным родам». Представить не могу, почему уже после первого несчастья не было принято решение, что остальных детей она должна рожать кесаревым сечением. Возможно, она просто не могла себе это позволить, ведь до 1948 года всё медицинское обслуживание было платным.

Муж Бренды был убит на действительной службе в 1940 году, поэтому дальше она не беременела. Однако в возрасте сорока трёх лет она снова вышла замуж и теперь опять ждала ребёнка. Её радость и волнение от надежды родить живого малыша, кажется, заполнили женскую консультацию и затмили всё остальное. Она кричала: «Прет, сестрёнка, как сама?» всем, кто находился в поле зрения, а на вопросы о своём здоровье

отвечала: «Чудненько. Лучше не бывает. Прямо как на вершине мира».

Я проводила её к кушетке – сердце кровью обливалось от вида её кое-как ковыляющих кривых коротких ног. С каждым шагом правая нога выгибалась наружу, тогда как левое бедро опасно кренилось в противоположную сторону. Пришлось подставить два табурета и стул, прежде чем ей удалось неловко взобраться на кушетку. На это было больно смотреть. Хотя и тяжело дыша, поднявшись, она просияла. Казалось, все трудности в жизни были для неё вызовом, и их успешное преодоление каждый раз служило поводом для радости. Как ни крути, она не была красавицей, но я совсем не удивилась, что она нашла второго мужа, который, я не сомневалась, её любил.

Бренда была только на шестом месяце беременности, но её живот выглядел аномально большим из-за маленького роста, а также искривлённого позвоночника, выталкивавшего матку вперёд и вверх. Она чувствовала шевеление, а я слышала сердцебиение плода. Пульс и давление были нормальными, а вот дыхание – затруднённым. Я обратила на это внимание.

– Не берите в голову. Ничего такого, – бодро ответила она.

Я чувствовала неуверенность, осматривая деформированное тело Бренды, и попросила сестру Бернадетт меня подстраховать, что она и сделала. Бренда была здорова, насколько только могла, и вынашивала здоровый плод.

Мы осматривали её каждую неделю в течение следующих шести недель. Бренда справлялась со всё нарастающей нагрузкой, передвигаясь с помощью двух палок. Она всегда выглядела счастливой и никогда не жаловалась. На тридцать седьмой неделе её положили в больницу, а на тридцать девятой успешно провели кесарево сечение.

У Бренды родилась чудесная здоровая дочь, которую она назвала Грейс Миракл^[8].

Эклампсия

На протяжении всей истории и вплоть до окончания Второй мировой войны в 1945 году большинство младенцев рождались дома. Потом рожениц начали отвозить в больницу, и это оказалось настолько эффективно, что к 1975 году лишь один процент детей рождался дома. Окружные акушерки стали практически вымирающим видом.

Сегодня мода или тенденция немного изменили ситуацию, и процент домашних родов увеличился примерно до двух. Возможно, всё дело в том, что больничные роды представляют новые и совершенно неожиданные риски для матери и младенца, а люди теперь подходят к этому вопросу со всей ответственностью.

Салли приехала к нам, потому что больше верила матери, чем своему доктору, советовавшему рожать первого ребёнка в больнице.

Её мать сказала:

– Шли его. Ты идёшь в Ноннатус, милашенька. Уж они-то за тобой приглядят.

Бабуля тоже выступила с богатейшим запасом древней народной мудрости и душераздирающих историй о лежании в лазаретах, которых женщины боялись пуще смерти.

Напрасно доктор пытался убедить Салли, что современные больницы не похожи на старые лазареты, но что значило его слово против авторитета мамы и бабули?! В итоге он ушёл с ринга, и Салли договорилась с акушерками Святого Раймонда Нонната.

Первые шесть месяцев мы наблюдали пациенток раз в месяц, потом – раз в две недели в течение шести недель и еженедельно – последние шесть недель. Первые семь месяцев с Салли всё шло по плану. Она была хорошенькой двадцатилетней молодой женщиной, занимающей вместе с мужем две комнаты в доме своей матери. Салли работала телефонисткой, и мать, присутствовавшая на каждом обследовании, ею очень гордилась.

Я села рядом с ней и пробежалась по заметкам. Давление первые шесть месяцев держалось в пределах нормы. Во время предыдущего осмотра оказалось немного повышенным. Сегодня – и меня это обеспокоило – оно поднялось ещё выше. Я попросила её перейти на весы и обнаружила, что женщина поправилась на пять фунтов^[9] за две недели. Предупреждающий колокольчик зазвенел у меня в голове.

Сказав Салли, что хочу её осмотреть, я проводила женщину к кушетке. Тогда-то я и увидела, как распухли её лодыжки. Диагноз начал вырисовываться. Она легла на кушетку, и я нащупала, совершенно определённо, мягкий отёк ниже коленей – не очень явно выраженный, но ощутимый под опытными пальцами. Задержка воды – это объясняет увеличение веса. Я осмотрела всё тело, но больше отёков не нашла.

– Вы по-прежнему чувствуете тошноту? – спросила я.

– Нет.

– Боли в животе?

– Нет.

– Головные боли?

– Ну да, теперь, как вы сказали, я припомнила. Но я списываю это на работу на телефоне.

– Когда вы собираетесь оставить работу?

– Так на той неделе и бросила.

– А головные боли не прекратились?

– Ну, да, но ма говорит не волноваться. Эт' нормально.

Я искоса взглянула на мать, Энид, широко улыбающуюся и кивавшую со знанием дела. Слава богу, девочка пришла в женскую консультацию. Мама не всегда права!

– Оставайтесь здесь, хорошо, Салли? Нужно проверить вашу мочу. Вы принесли анализ?

Она принесла, и Энид добыла его, покопавшись в своей объёмистой сумке.

Подойдя к мраморной стойке, я зажгла стоявшую там горелку Бунзена. Моча была довольно прозрачной и выглядела нормально, когда я налила немного в пробирку. Я подержала верхнюю часть колбочки над пламенем. Нагревшись, моча побелела, в то время как в нижней, непрогретой части пробирки оставалась прозрачной.

Белок. Признак преэклампсии. Размышляя, я на мгновение замерла.

Странно, как порой забываются даже самые значительные события. Я успела забыть Маргарет, но, пока стояла сейчас у раковины, глядя на пробирку, воспоминания о ней и моем первом и единственном ужасном опыте эклампсии нахлынули на меня, вытеснив из головы все остальные мысли. Маргарет было двадцать, и, наверное, она была очень красива, хотя я никогда не видела её красоты. Зато я видела десятки её фотографий, которые показывал мне её любящий и убитый горем муж Дэвид. В те времена все фотографии были чёрно-белыми. Они обладали особым очарованием, созданным эффектами света и тени. К некоторым

фотографиям внимание приковывали интеллигентность и утонченность Маргарет, к другим – её смешливое, озорное настроение, вызывающее желание разделить с ней шутку. На многих снимках её большие ясные глаза бесстрашно глядели в будущее, и на всех мягкие каштановые кудри рассыпались по плечам. На одной особенно запомнившейся фотографии она стояла на берегу моря в Девоне – смеющаяся молодая девушка в купальнике, в брызгах от набегających на скалу волн и с развевающимися на ветру волосами. Гармоничное сочетание линий тела на длинных стройных ногах и направления теней от заходящего солнца делали фото изысканным по любым меркам. Она была из тех девушек, с кем я бы с удовольствием завязала знакомство, но мне так и не довелось – только через Дэвида. Маргарет была скрипачкой, но я никогда не слышала, как она играет.

Все эти фотографии Дэвид показал мне за два дня, что мы её наблюдали. Встретив его в первый раз, я подумала, что он, наверное, её отец. Но нет, он оказался любящим мужем, буквально преклонявшимся перед женой. Он был учёным и выглядел очень сдержанным, суровым мужчиной, возможно даже холодным и бесстрастным. Но в тихом омуте черти водятся, и за два долгих дня его глубокие страсть и боль разве что не разорвали больницу на части. Он говорил то с женой, то сам с собой, то с персоналом. Иногда он бормотал молитвы или выдавливал несколько слов сквозь рыдания. Из этих фрагментов и истории болезни я собрала их историю. В Дэвиде не оказалось ничего от холодного учёного.

Они встретились в музыкальном клубе, где Маргарет выступала. Он не мог отвести от неё глаз. Весь антракт и последующий вечер он следил за каждым её движением. Хотел заговорить с нею, но запинался и не мог выдать из себя ни слова, сам не понимая, почему, ведь он всегда мог похвастаться красноречием. Дэвид не знал, что с ним такое приключилось. Она смеялась и разговаривала с другими людьми, а он забился в угол, едва дыша из-за бешено колотящегося сердца.

Шли дни, а он всё не мог выкинуть её из головы. И по-прежнему ничего не понимал – думал, что его глубоко поразила музыка. Он чувствовал себя беспокойно и неудобно, и его обыкновенные холостяцкие привычки больше не приносили никакого удовлетворения. Потом он столкнулся с ней у Лайонсовского «Дома на углу»^[10], и, на удивление, она его вспомнила, хотя он и не мог взять в толк, почему. Они пообедали вместе, и на этот раз Дэвид был далёк от косноязычия – он не мог перестать говорить. Они проговорили не один час, найдя тысячу и одну тему, на которую им хотелось друг с другом побеседовать, и он никогда не чувствовал себя

таким спокойным и счастливым ни с кем за свои сорок девять лет довольно одинокой жизни. Дэвид думал, что она не может заинтересоваться таким высохшим старым чудаком, как он, пахнувшим формальдегидом и медицинским спиртом. Но она заинтересовалась. Возможно, увидела целостность, духовную силу и глубину неизрасходованных эмоций в этом тихом человеке. Она была его первой и единственной любовью, и он расточал на неё всю страсть молодости с нежностью и внимательностью зрелости.

Впоследствии он мне сказал: «Я благодарен судьбе за то, что просто её знал. Если бы мы не встретились или встретились, но прошли мимо друг друга, вся величайшая литература мира, вся поэзия, все великие истории любви не значили бы для меня ровным счётом ничего. Это невозможно понять, не испытав».

Они были женаты шесть месяцев, и Маргарет находилась на шестом месяце беременности, когда поступила в родовую палату Родильного дома Лондонского Сити, где я работала. Согласно отчётам, Маргарет была абсолютно здорова на протяжении всей беременности. Она приходила в клинику двумя днями ранее, и всё было вполне нормально: вес, пульс, давление, анализ мочи, никакой болезненности – ничего, что указывало бы на то, что произойдёт.

В день приёма Маргарет проснулась рано, и её затошнило, что было странно, потому как токсикоз прошёл примерно восемь недель назад. Вернувшись в спальню, она пожаловалась, что перед глазами скачут пятна. Дэвид заволновался, но жена сказала, что просто хотела бы снова лечь – головная боль наверняка пройдёт, стоит ей ещё немного поспать. Так что он отправился на работу, пообещав позвонить в одиннадцать и справиться о её самочувствии.

Телефон звонил и звонил. Дэвиду казалось, он слышит, как звон отдаётся эхом в пустом доме. Конечно, она могла выйти, почувствовав себя лучше, но дурное предчувствие погнало его домой. Он нашёл её без сознания на полу в спальне, с кровью на губах, щеке, в волосах. Сперва он подумал, что произошла кража, во время которой на неё напали, но полное отсутствие каких-либо признаков взлома, а также явная глубина обморока, затруднённое дыхание, учащённое сердцебиение, которое он почувствовал через её ночное платье, сказали ему, что случилось нечто другое и очень серьёзное.

В ответ на звонок обезумевшего мужа больница тут же прислала машину. Приехал и доктор – последствия описанных Дэвидом симптомов были крайне серьёзны. Прежде чем санитарам разрешили её унести,

Маргарет вкололи морфий.

Нам сказали подготовить боковую палату, чтобы разместить больную с подозрением на эклампсию. Шли мои первые полгода обучения акушерству, и старшая медсестра показала мне и остальным студентам, как это делается. Кровать придвинули к стене, в щель утрамбовали подушки. В изголовье кровати положили ещё подушек и плотно закрепили простынями. Подвели кислород: ротовой клин и дыхательная трубка были наготове, как и аспиратор. Окно завесили тёмной тканью, чтобы приглушить свет.

Во время осмотра Маргарет оставалась без сознания. Давление так подскочило, что систолическое было выше 200, диастолическое – 190. Температура поднялась до 104 градусов по Фаренгейту^[11], пульс достиг 140 ударов в минуту. В полученном через катетер образце мочи оказалось столько альбумина, что, закипев, она стала твёрдой, словно яичный белок. Диагноз был очевиден.

Эклампсия была и остаётся редким и таинственным состоянием беременности, возникающим по неизвестным причинам. Обычно ей предшествует поддающаяся лечению преэклампсия, которая может перерасти в эклампсию, если оставить её без внимания. Редко, очень редко она возникает ни с того ни с сего у совершенно здоровых женщин и за несколько часов может довести до конвульсий. По достижении этой стадии угроза беременности становится так высока, что шансы на выживание плода практически отсутствуют. Единственный выход – безотлагательное кесарево сечение.

Операционная была готова принять Маргарет. Ребёнок умер при родах, Маргарет вернули обратно в палату. Она так и не пришла в сознание. Её держали под сильными успокоительными в затемнённой комнате, но она всё равно то и дело вздрагивала от конвульсий, на которые было страшно смотреть. За слабыми подёргиваниями следовало энергичное сокращение всех мышц тела. Вдруг тело становилось твёрдым, и мышечный спазм выгибал его так, что секунд двадцать с кроватью соприкасались только голова и пятки. Дыхание прекращалось, и она синела от асфиксии. Довольно быстро ригидность спадала, сменяясь яростными судорожными движениями и спазмами конечностей. Было нелегко не дать Маргарет упасть на пол и совершенно невозможно удержать ротовой клин на месте, чтобы она не прикусывала себе язык. Обильно выделяющаяся слюна вспенивалась на губах, смешиваясь с кровью, идущей из растерзанного языка. Лицо опухло и ужасно исказилось. Потом судороги стихали, и наступала глубокая кома, длящаяся час или около того, а затем снова

приходили судороги.

Ужасные приступы многократно повторялись чуть более тридцати шести часов. Вечером второго дня она умерла на руках мужа. Всё это пронеслось у меня в голове за несколько секунд, что я простояла у раковины, глядя на анализ мочи Салли.

Дэвид. Что стало с этим несчастным мужчиной? Он уходил из больницы полуслепым, полубезумным, онемевшим от шока и горя. К сожалению, в медсестринском деле, особенно в больнице, вы встречаете людей в самые сложные моменты их жизни, а потом они уходят от вас навсегда. С какой стати Дэвиду бродить вокруг роддома, где умерла его жена, только чтобы успокоить медсестёр? И, конечно, больничным персоналом не мог отправиться его разыскивать, чтобы выяснить, как он справился с горем.

Я с благодарностью вспомнила, что Дэвид сказал мне сразу после того, как Маргарет умерла, и слова какого-то великого писателя (не могу припомнить, кого) пришли мне на ум:

Тот, кто любит, знает.

Тот, кто не любит, – нет.

Мне жаль его, но я не дам ему ответа.

Однако времени хандрить не было. Надо было найти сестру и сообщить о состоянии Салли.

В тот день дежурила сестра Бернадетт. Она выслушала меня, посмотрела анализ мочи и сказала:

– Моча может загрязниться влагиаличными выделениями, так что возьмём образец из катетера. Приготовьте всё для катетеризации, пожалуйста, а я пойду к Салли и осмотрю её.

Когда я принесла поднос со всем необходимым к кушетке, сестра уже закончила полное обследование и подтвердила всё, что я предполагала.

Она сказала Салли:

– Мы вставим небольшую трубочку в ваш мочевой пузырь, чтобы собрать немного мочи для лабораторного тестирования.

Салли засопротивлялась, но в конечном итоге подчинилась, и я ввела ей катетер. Потом сестра ей объяснила:

– У нас есть основания полагать, что беременность протекает не совсем гладко, так что потребуются полный покой, специальная диета и ежедневный приём лекарств. Для этого вам придётся лечь в больницу.

Салли и Энид встревожились.

– Что случилось? Я чувствую себя хорошо. Просто голова побаливает и

всё.

Её мама вмешалась:

– Если с нашей Сал что-то не то, я могу приглядеть за ней. Она может отдохнуть и дома.

Но сестра была очень настойчива:

– Вопрос не в отдыхе время от времени. Салли должна соблюдать строгий постельный режим двадцать четыре часа в сутки следующие четыре, а то и шесть недель. Придерживаться специальной диеты без соли и с малым потреблением жидкости. И четыре раза в день принимать успокоительные. За ней будут внимательно наблюдать и по несколько раз на дню измерять пульс, температуру и давление. Состояние ребёнка тоже будет проверяться ежедневно. Дома вы всего этого делать не сможете. Салли нуждается в немедленном стационарном лечении, и, если она его не получит, ребёнок окажется в опасности, как и здоровье матери.

Для обычно тихой сестры Бернадетт это была очень длинная речь. Однако она возымела невероятный эффект, ибо заставила мать Салли замолчать: та лишь пискнула, но ничего не сказала.

– Я сейчас же позвоню доктору и узнаю, может ли он немедленно найти для вас койку в одном из родильных домов. А вы оставайтесь, как есть: спокойно лежите на кушетке. Вам не стоит возвращаться домой.

Затем сестра обратилась к Энид:

– А вот вам, возможно, лучше сходить домой, собрать вещи, которые пригодятся Салли в больнице: ночные рубашки, зубную щётку, другие мелочи, – и принести их сюда.

Энид унеслась прочь, радуясь возможности хоть что-нибудь сделать.

Салли прождала несколько часов, прежде чем за ней приехала скорая помощь и увезла её на каталке. Думаю, она была ошеломлена суетой и вниманием, которое привлекла, тем более что не чувствовала себя больной и, войдя в клинику, была вполне способна сама из неё выйти.

Салли забрали в Лондонскую больницу на Майл-Энд-роуд, определив в родовую палату, где лежало десять-двенадцать женщин на том же сроке беременности и в таком же состоянии, как и она сама. Ей давали успокоительные и держали на диете с малым потреблением жидкости. За следующие четыре недели давление постепенно нормализовалось, отёк спал, головная боль прошла.

На тридцать восьмой неделе беременности она родила. Во время родов давление Салли начало повышаться, поэтому, когда шейка матки полностью раскрылась, ей дали лёгкое анестезирующее средство и достали замечательного здорового ребёнка щипцами.

В послеродовой период мать и дитя чувствовали себя прекрасно.

Эклампсия остаётся сегодня такой же тайной, как и пятьдесят лет назад. Было и есть предположение, что её вызывает какой-то дефект плаценты. Но доказательств всё нет, хотя в попытке вычленить этот предполагаемый «дефект» были изучены тысячи плацент.

Случай Салли был типичной преэклампсией. Если бы она не была диагностирована и женщина не получила бы оперативного квалифицированного лечения, её состояние могло бы перерасти в эклампсию. Но простое лечение, которое я описала, – полный покой и успокоительные, – возможно, предотвратили его развитие.

Маргарет умерла в ужасных муках от очень редко встречающейся внезапной сильной эклампсии, развившейся без предупреждающих симптомов и пропустившей фазу преэклампсии. Я больше не сталкивалась с подобными случаями, но они до сих пор изредка встречаются.

Преэклампсия и эклампсия до сих пор являются главными причинами материнской и перинатальной смертности в Великобритании, несмотря на современный дородовой уход. Через что проходила женщина с эклампсией, когда не было никакой дородовой помощи? Чтобы ответить на этот вопрос, много воображения не требуется. Тем не менее сто лет назад врачи, выступавшие за изучение и обеспечение надлежащего дородового наблюдения, считались чудаками, зря тратящими время. Точно так же высмеивали идею систематической и сертифицированной подготовки акушерок.

Пусть те из нас, у кого есть дети, возблагодарят Бога за то, что эти времена теперь в прошлом.

Фред

Монастырь Святого Раймонда Нонната являлся по своей сути чисто женским учреждением. Однако всё же без некоторых мужчин было никак не обойтись. Фред служил в Ноннатус-Хаусе истопником и разнорабочим. Типичный кокни тех дней: низкорослый, с короткими кривыми ногами и мощными волосатыми руками, драчливый, упрямый, находчивый, и всё это приправлено бесконечной болтовнёй и безудержным хорошим настроением. Его самой примечательной особенностью было эффектное косоглазие: один глаз постоянно глядел на северо-восток, пока другой блуждал в юго-западном направлении. Если добавить к этому единственный жёлтый зуб, выпирающий из верхней челюсти, который он обычно свешивал на нижнюю губу и посасывал, то становится очевидно, что Фред не слыл образцом мужской красоты. Однако он излучал такой восхитительный оптимизм, хорошее настроение и простодушную самоуверенность, что сёстры к нему очень привязались и доверяли решение всех практических вопросов. Сестра Джулианна оказалась особенно сильна в проявлении женской беспомощности:

– Ох, Фред, окно в верхней ванной не закрывается. Я попробовала и так, и эдак, но всё бесполезно. Вы думаете?.. Если вы найдёте время, то...

Конечно, Фред нашёл время. Для сестры Джулианны он бы нашёл время передвинуть Альберт-док. Сестра Джулианна выказывала глубокую признательность и высоко ценила его мастерство и опыт. А то, что окно в верхней ванной с того дня и во веки веков было закреплено так, что больше не открывалось, вовсе не считалось неудобством и никем не обсуждалось.

Единственным человеком, не подпавшим под кокнийское очарование Фреда, была миссис Би: она сама вышла из кокни, видела всё это прежде и не понимала, чему здесь восхищаться. Миссис Би носила почётный титул Королевы Кухни. Она каждый день работала с восьми утра до двух дня, готовя нам превосходную еду, будучи настоящим мастером по части стейков, пирогов с почками, наваристого рагу, острого рубленого мяса, сосисок в тесте, пудингов с патокой, фруктовых рулетов, макаронников и всего остального, а также лучших в мире хлеба и тортов. Она была крупной дамой с грозным лицом и особенно суровым взглядом, сопровождавшим её брюзжание: «Ну-ка вы, не свинячьте в моей кухне». А так как кухня служила местом встречи всего персонала, нам часто

доводилось слышать это замечание, когда мы вваливались туда, как правило, уставшие и голодные. Впрочем, мы, девочки, вели себя весьма послушно и почтительно, особенно когда на своём опыте узнали, что лесть – самый короткий путь к пирогу или куску кекса прямо из печи.

Фред, однако, так легко не приручался. Во-первых, из-за дефекта глаз он и в самом деле не видел, какой беспорядок учинял; во-вторых, подлизываться к кому бы то ни было Фред был органически не способен. Он плутовато усмехался миссис Би, посасывал свой зуб, шлёпал её по обширному заду и похохатывал: «Да брось, старушка». Испепеляющий взгляд миссис Би сменялся криком: «Пшёл вон с моей кухни, образина, и держись подальше!» Но увы, Фред не мог держаться подальше, и она это знала. Коксовая печь располагалась в кухне, а он отвечал за растопку, выгребание золы, открытие и закрытие дымоходов и в целом поддерживал её в хорошем состоянии. А так как миссис Би готовила и пекла в основном на той самой печи, она понимала, что зависела от Фреда. Так что между ними держалось напряжённое перемирие, лишь иногда – раза два в неделю – прерывавшееся громкой ссорой. Я, кстати, с интересом отметила, что во время своих препирательств ни один из них не сквернословил – без сомнения, из уважения к монахиням. Окажись они в любом другом месте, воздух бы закипел от крепких словечек.

В обязанности Фреда входило утром и вечером растапливать котёл, а в оставшееся время выполнять другие поручения по договоренности. Ради котла он приходил семь дней в неделю, и такая работа ему очень подходила: она была постоянной и в то же время позволяла заниматься и другими способами заработка, которых он напридумывал себе в избытке за эти годы.

Фред жил со своей незамужней дочерью Долли в двух нижних комнатах небольшого дома у самых доков. Во время войны его призвали, но из-за зрения Фред не смог присоединиться к действующим частям. Поэтому его отправили в сапёрно-строительное подразделение, где, если верить Фреду, он шесть лет служил королю и Отечеству, вычищая уборные.

В 1942 году ему предоставили отпуск по семейным обстоятельствам: его жену и шестерых детей убило прямым попаданием бомбы. Он смог провести немного времени с тремя выжившими детьми, шокированными и травмированными, в общежитии в Северном Лондоне, прежде чем их эвакуировали в Сомерсет, а сам он вернулся к уборным.

После войны Фред снял две дешёвые комнатки и в одиночку поднял остатки своей семьи. Найти постоянную работу ему всегда было нелегко –

и из-за странного взгляда, и потому, что он не хотел надолго уходить из дома, зная, что нужен детям. Стремясь заработать денег, он занимался самой разной деятельностью, иногда даже законной.

Пока мы, светский персонал, завтракали на кухне, Фред в основном хлопотал над своим котлом, что давало прекрасную возможность повытягивать из него истории, чем мы, юные и любопытные, бесстыдно занимались. В свою очередь Фред всегда угождал нам, так как явно обожал плести свои небылицы, частенько начиная их словами: «Хотите верьте, хотите нет...» Смех четырёх молоденьких девушек звучал в его ушах музыкой. А молоденькие девушки смеялись надо всем на свете!

Одна из его постоянных работ – и, как он уверял, самая высокооплачиваемая и высококвалифицированная – заключалась в том, чтобы простукивать днища бочек для пивоварни «Уитбрэд».

Услышав это, Трикси скептически фыркнула:

– Я сейчас тебе днище простучу!

Но Чамми заглотила наживку и сказала со всей серьёзностью:

– Сказать по правде, это ужасно интересно. Расскажите нам ещё.

Фред любил Чамми и называл её не иначе как «Высотулечка».

– Ну, эти их пивные бочки, они должны, вроде как, звучать, и единственный путь их проверить – шарахнуть по днищу и слушать. Коль выходит один звук, знач' хорошая. Коль другой – некудышная. Поняли? Легкотня, но, грю тебе, опыт приходит ток' с годами.

Мы видели, как Фред торгует на рынке луком, но не знали, что он сам его выращивает. Живя на первом этаже, он получил в придачу небольшой садик и отвёл его под лук. Он пробовал картофель – «не в масть», – а вот лук оказался настоящей золотой жилой. Ещё он держал кур и продавал яйца, а также курятину. Но не через мясника: «Шоб не пойми кто половину барыша прикарманил?» – а напрямую на рынке. Ларёк он тоже не брал: «Я не плачу чёртову арендную плату совету», – просто расстилал, где мог, одеяло и торговал с него луком, яйцами и цыплятами.

Цыплята натолкнули его на мысль о перепелах, которых он продавал в вест-эндские рестораны. Перепела – привередливые птицы, нуждающиеся в тепле, поэтому он держал их в доме. Впрочем, маленьким птичкам не требовалось много места, так что он разводил и выращивал их в коробках, которые держал под кроватью, а сворачивал шеи и ощипывал птиц у себя на кухне.

Всегда нетерпеливая Чамми заметила на это:

– Знаете, я думаю, что это, сказать по правде, ужасно умно. Но разве они не пахивают?

Трикси прервала её:

– Ой, замолчи! Мы же завтракаем, – и потянулась за кукурузными хлопьями.

Однако, чтобы отпугнуть кого угодно от завтрака, было достаточно увлечения Фреда канализационными стоками. Прочистка стоков явно была его страстью, и северо-восточный глаз истопника блеснул, когда тот начинал вываливать все подробности этого дела. В таких случаях Трикси, пригрозив: «Я самого тебя запихну в канализацию, если не прекратишь это», – выскакивала за дверь с тостом в руке. Но Фред, поэт тросика и насоса, не унывал:

– Лучше всего мне работалось в Хэмпстеде, поняли? В одном из этих шикарных домов. Эти леди – настоящие надутые жеманницы. Раз поднял я крышку люка, а там, вроде как, полна коробочка: резинка – ну, презерватив, вы знаете, – застрял и давай наливать жижой и водой. Огромный, как не знаю что. – Он развёл руками, и его глаза выразительно закатились в разные углы.

Чамми поделила его энтузиазм, но не значение его слов.

– Вы никогда не видали ничё подобного: в ярд длиной, в фут шириной^[12], разрази меня гром. Дама, вся такая шикарная, глядь на него и грит: «Ох, боже мой, и как такое может быть?» А я такой: «Ну, если вы не знаете, леди, значит, вы дрыхли». А она такая: «Не дерзите, любезный!» Ну, я всё вытащил и заломил двойную цену, а она и заплатила как миленькая.

Шаловливо улыбнувшись, он потёр руки и принялся посасывать свой зуб.

– О, весьма недурно, Фред, молодчина! Сказать по правде, получить двойную цену – это ужасно умно.

Лучшим же и самым прибыльным начинанием Фреда были фейерверки. На некоторое время его сапёрно-строительную часть приписали к Королевским инженерным войскам в Северной Африке. Те ежедневно имели дело со взрывчаткой. Любой работающий с инженерными войсками, каким бы скромным ни было его место, обязан хоть что-то знать о взрывчатых веществах, и Фред нахватался там знаний в достаточном объёме, чтобы после войны уверенно встать на путь производства фейерверков на кухне своей маленькой квартирке.

– Эт' легко. Просто нужно кучку правильного удобрения, щепотку того, потом чутка этого – и вот те и «бабах»!

Чамми, с расширенными от дурного предчувствия глазами, воскликнула:

– Фред, но разве это, сказать по правде, не ужасно опасно?

– Неа, неа, коль знаешь, что ладишь, а уж я-то знаю. Продавались за милую душу по всему Поплару. Все хотели. Я б набил карманы, если б они оставили меня в покое, эти сволочи, пардоньте, мисс.

– Кто? Что случилось?

– Эти бобби, полиция то бишь, взяли да и попробовали мои ферверки и увидали, что они опасные, что я, мол, подвергаю опасности жизнь человек. Я спрашиваю вас... я спрашиваю вас – стал бы я такое делать, а? Стал бы?

Оставаясь сидеть на полу, он поднял глаза и простёр измазанные пеплом руки, словно моля о признании его невиновности.

– Конечно, нет, Фред, – подхватили мы. – Что случилось?

– Ну, они обвинили меня, не они, а судья: влепил штраф и отпустил, потому как у меня, вроде как, трое ребятишек. Хорошим он был типом, этот судья, но сказал: если я снова так сделаю, то пойду в тюрьму, дети там или не дети. Так что я завязал.

Последней экономической авантюрой и весьма, надо сказать, успешной были глазированные яблоки. Долли приготовила карамель на их маленькой кухоньке, а Фред купил ящик дешёвых яблок на Ковент-Гарден. Всё, что было нужно, так это палочки, чтобы наколоть яблоко и опустить его в карамель, и в два счёта шеренги глазированных яблок выстроились на сушилке.

Фред не мог понять, почему не додумался до этого раньше. Это была победа. Стопроцентная прибыль и гарантированные продажи – при таком-то количестве детей вокруг. Он предвкушал безоблачное будущее с бесконечными продажами и прибылью.

Однако неделю или две спустя по молчанию маленькой фигурки, сидящей у печки, возясь с дымоходом, стало ясно, что что-то пошло не так. Ни тебе весёлого приветствия, ни болтовни, ни фирменного немелодичного свиста – просто тишина. Он даже не отвечал на наши вопросы.

Наконец Чамми встала из-за стола и подошла к нему.

– Ну же, Фред! В чём дело? Может, мы сможем помочь? А даже если не сможем, вам станет лучше, стоит лишь всё нам рассказать. – И она коснулась его плеча своей огромной рукой.

Фред повернулся и поднял глаза. Северо-восточный поник, немного влаги поблескивало в юго-западном. Голос был хриплым, когда он ответил:

– Пёрья. Перепельи пёрья. Вот в чём дело. Кто-то пожаловался на перепельи пёрья в моих яблоках. Пришли санитарщики и давай их проверять, сказали, пёрья и куски пёрьев поприлипали ко всем моим

глазурным яблочкам и я несу угрозу общественному здоровью.

Очевидно, санитарный инспектор сразу же захотел посмотреть, где делают глазурованные яблоки, и, когда ему показали кухню, в которой регулярно забивают и ощипывают перепелов, немедленно распорядился прекратить оба этих занятия под страхом судебного разбирательства.

Казалось, благосостоянию Фреда был нанесён такой непоправимый ущерб, что никакие слова не могли его утешить. Чамми была очень добра к истопнику и всё заверяла, что ему подвернётся что-нибудь получше, но он так и не успокоился, и завтрака мрачнее у нас ещё не бывало. Фред потерял лицо, и это его ранило.

Однако триумф Фреда был ещё впереди.

Рождественское дитя

Бетти Смит должна была родить в начале февраля. Весь декабрь она так радостно суежилась, готовя рождественские праздники для мужа и шестерых детей, родителей и свекрови со свёкром, бабушек и дедушек с обеих сторон, братьев, сестёр и их детей, дядей и тётей и очень древней прабабушки, что никто из семьи и представить не мог, что ребёнок родится на Рождество.

Дэйв работал управляющим на верфи в Вест-Индских доках. В свои тридцать он был умным, компетентным и очень хорошо знал своё дело. Его высоко ценили в Управлении Лондонского порта и платили хорошие деньги. В результате семья смогла поселиться в одном из больших викторианских домов недалеко от Коммершиал-роуд. Бетти не переставала благодарить судьбу за то, что вышла за Дэйва сразу после войны и уехала из тесной многоквартирки с её ужасной антисанитарией. Она любила свой большой просторный дом и радовалась, когда вся семья съезжалась сюда на Рождество. Детям тоже нравилось. Они чудесно проводили время с двадцатью пятью маленькими кузенами и кузинами, съезжавшимися со всего Поплара, Степни, Боу и Кеннинг-Тауна.

Дядя Альф наряжался Рождественским Дедом. Дом стоял под горкой, а у дяди Альфа были самодельные сани на колёсиках. Их выкатывали на самый верх улицы, нагружали мешком с подарками и по сигналу толкали. Дети не знали, как это было устроено. Всё, что они видели, так это Рождественского Деда, мягко катящегося к ним в самоходных санях и останавливающегося прямо возле дома. Они были вне себя от восторга.

Но в этом году всё обещало быть по-другому. Вместо Рождественского Деда на санях прибыла акушерка на велосипеде. Вместо мешка подарков – голенький кричащий младенец.

Моё Рождество тоже было не таким, как всегда. Впервые в жизни я начала осознавать, что это религиозный праздник, а не просто повод для обжорства и пьянства.

Всё началось в конце ноября с чего-то, что, как мне сказали, называется Адвентом, Пришествием. Для меня это было пустым звуком, но для монахинь значило время подготовки. Большинство людей готовились к Рождеству, как Бетти: покупали еду, напитки, подарки и лакомства. Монахини готовились по-другому – молитвами и размышлениями.

Религиозная жизнь – жизнь скрытая, так что я не видела и не слышала, что происходило, но за четыре недели Адвента начала интуитивно чувствовать что-то в воздухе. Ничего не зная и не понимая, я, как дети, перенимающие волнение родителей, «переняла» от сестёр настоящее ощущение спокойствия, умиротворения и радостного предвкушения, что нашла, однако, странным для себя, беспокоящим и нежеланным.

Это состояние достигло кульминации в Сочельник, когда я поздно вернулась с вечерних визитов. Оказавшаяся поблизости сестра Джулианна сказала мне:

– Пойдёмте со мной в часовню, Дженнифер, сегодня мы выставили ясли.

Не желая показаться невежливой, отказав, я пошла за ней. Часовня не была освещена, за исключением двух свечей в яслях. Сестра Джулианна опустилась на колени у алтаря, чтобы помолиться, а потом обратилась ко мне:

– Сегодня родился наш благословенный Спаситель.

Помню, как смотрела на маленькие гипсовые фигурки, солому и всё остальное и думала, как вообще умная и просвещённая женщина может так серьёзно ко всему этому относиться? Она пытается казаться смешной?

Кажется, я пробормотала что-то вежливое о том, как всё безмятежно, и мы разошлись. Однако на сердце у меня и не пахло безмятежностью. Что-то, чему я пыталась сопротивляться, пилило меня изнутри. То ли тогда, то ли позже меня посетила мысль: если Бог действительно существует, если Он – не просто миф, это должно сказываться на всём в жизни. Это была неудобная мысль.

Я много лет ходила на рождественские ночные службы, но не по религиозным соображениям, а из-за драматизма и красоты церемонии. Конфессия меня не волновала. Живя в Париже, я посещала Русскую православную церковь на улице Дарю из-за красоты песнопения. Рождественская всенощная, проходившая с одиннадцати вечера примерно до двух утра, была одним из самых главных событий моей музыкальной жизни. Литургия, исполненная басом русского певчего, восходящим на четверть тона, никогда не перестаёт звучать у меня в ушах, хотя прошло уже более пятидесяти лет.

Сёстры и светский персонал отправились на полуночную мессу в церковь Всех Святых на Ист-Индия-Док-роуд. Я удивилась, найдя церковь переполненной. Сильные, грубые докеры, настырные разнорабочие, хихикающие подростки в остроносых туфлях, целые семьи, принесшие с собой младенцев, маленьких детей, – все были там. Толпа собралась

огромная. Церковь Всех Святых – большой викторианский храм – той ночью вместила, должно быть, человек пятьсот.

Служба оказалась такой, как я и ожидала: эффектной, красивой, драматичной, но лично для меня лишённой всякого духовного содержания. Я задумалась, почему. Почему это было смыслом жизни для этих добрых сестёр и всего лишь театральным представлением – для меня?

Мы наслаждались рождественским обедом, рассевшись вокруг большого стола, когда зазвонил телефон. Все застонали. А мы-то надеялись сегодня отдохнуть! Медсестра, ответившая на звонок, вернулась, чтобы сообщить: Дэйв Смит сказал, что его жена, кажется, рожает. Стон перерос в обеспокоенный вздох.

Сестра Бернадетт подскочила со словами:

– Пойду поговорю с ним.

Вернувшись через пару минут, она подтвердила:

– Похоже на роды. На тридцать четвёртой неделе это не очень удачно.

Я сообщила доктору Тёрнеру, он сразу же приедет, если потребуется нам. Кто сегодня на вызовах?

Я.

Мы приготовились идти вместе. В то время я ещё обучалась, и меня всегда сопровождала опытная акушерка. Наблюдая за сестрой Бернадетт за работой, я с первой минуты поняла, что она одарённая акушерка. Её знания и умения дополнялись интуицией и чуткостью. Я бы без малейшего колебания вверила ей свою жизнь.

Вместе мы покинули уютное тепло превосходного рождественского обеда и пошли в комнату для стерилизации за родовым набором и акушерскими сумками. Набор представлял собой большую коробку, содержащую прокладки, пелёнки, водонепроницаемую бумагу и тому подобное; обычно его доставляли в дом за неделю до предполагаемых родов. В голубых акушерских сумках лежали инструменты и лекарства. Приладив всё это на велосипеды, мы выкатили их в холодный безветренный день.

Я никогда не знала Лондон таким тихим. Казалось, ничто не шевелилось, кроме двух акушерок, молча едущих на велосипедах по пустынной дороге. Обычно Ист-Индия-Док-роуд полон грузовиков, спешащих в доки и из доков, но сегодня широкий проезд выглядел величественно и красиво в своём пустынном безмолвии. Ничто не двигалось ни по реке, ни в доках. Не раздавалось ни звука, разве что редкий крик чайки. Спокойствие великого сердца Лондона было незабываемо.

Мы подъехали к дому, и Дэйв нас впустил. Через окно мы видели большую ёлку, огонь в камине и комнату, полную людьми. Когда мы прибыли, к стеклу прижималось с десяток любопытных детских мордашек.

Дэйв сказал:

– Бетти наверху. Я бы отправил их всех по домам, но она не хочет. Жене нравится, что немного шумно, говорит – это ей поможет.

В гостиной под аккомпанемент расстроенного пианино энергично запели «Ферму старика Макдональда». Особое внимание уделяли партиям животных, которые исполняли различные дядюшки, знающие толк в лошадях, свиньях, коровах и утках. Дети визжали от смеха и просили спеть ещё.

Мы пошли наверх, в комнату Бетти, где царили тишина и покой, контрастирующие с шумом и гамом внизу. Ярко горел огонь. У матери Бетти едва ли было время подготовить комнату к родам, но она совершила невозможное: чистота, сменное постельное бельё, горячая вода, даже детская кровать.

Первое, что сказала Бетти:

– Прямо сюжет для романа, да, сестра?

Она была простой жизнерадостной женщиной, из тех, кто не витает в облаках и спокойно принимает всё, что выпадает на долю. Несомненно, она верила в сестру Бернадетт так же, как и я.

Открыв родовой набор, я постелила на кровать коричневую водонепроницаемую простыню, потом – пелёнку и послеродовые прокладки. Мы переоделись и вымыли руки, и сестра осмотрела Бетти. Воды отошли час назад. Я заметила на лице сестры напряжённую сосредоточенность, затем – тяжёлую озабоченность. Несколько минут она ничего не говорила, потом медленно сняла перчатки и осторожно проговорила:

– У вашего ребёнка, кажется, тазовое предлежание. Это значит, что ноги идут вперёд головы. Для ребёнка совершенно нормально лежать так до тридцати пяти недель, но потом он обычно переворачивается, и головка выходит первой. Ваш ребёнок не перевернулся. Хотя сейчас тысячи детей вполне благополучно рождаются в тазовом предлежании, это гораздо опаснее, чем когда голова идёт первой. Возможно, вам стоит подумать о родах в больнице.

Реакция Бетти была незамедлительной и категоричной:

– Нет. Никакой больницы. Если вы рядом, сестра, я буду в порядке. Акушерки из Ноннатуса принимали всех моих детей в этой комнате, и я не хочу ничего другого. Что скажешь, мам?

Мать согласилась и припомнила, что её девятый ребёнок тоже выходил попой, а у её соседки Глэд не меньше четверых появлялись на свет задом.

Сестра сказала:

– Что ж, значит, решено. Мы будем делать всё возможное, но я хочу попросить прийти доктора Тёрнера. – Она обернулась ко мне: – Схóдите позвонить ему, сестра?

Несмотря на сравнительный достаток, телефона у Дэйва не было. В этом не было смысла, потому что ни у кого из его друзей и родственников не было телефонов и никто бы никогда им не позвонил. Телефона-автомата на улице им вполне хватало.

Когда я спускалась по лестнице, лавина кричащих детей в бумажных шляпах, со светящимися волнением лицами пронеслась мимо меня. Голос снизу крикнул:

– Прячьтесь. Я досчитаю до двадцати и пойду вас искать. Раз, два, три, четыре...

Дети хлынули выше, вопя и толкаясь, прячась в шкафах, за шторами – где угодно. К тому времени, как я добралась до двери, всё стихло, кроме:

– Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать... я иду искать.

Я вышла на мороз безлюдной улицы, чтобы найти телефонную будку.

Доктор Тёрнер был врачом общей практики, не только оперирующим в Ист-Энде, но живущим тут с женой и детьми. Беззаветно преданный своему делу и пациентам, он, мне казалось, всегда сидел на телефоне. Как большинство врачей своего поколения, он был первоклассным акушером, со знаниями и мастерством, полученными из опыта его необъятной практики.

Доктор ждал моего звонка. Я изложила ему факты. Он сказал:

– Спасибо, сестра. Сейчас буду.

Я представила, как вздыхает его жена: «Тебе даже в Рождество дома не сидится...»

А в доме всё ещё продолжались прятки. Когда все дети были найдены, поднялся невероятный шум. Входя в дверь, я столкнулась с краснолицым мужчиной, нёщим ящик пустых пивных бутылок.

– Как насчёт опрокинуть со мной по одной, а, медсестра? – спросил он. – Ты, сестра, и всё такое. Ой, а она пьёт, как думаешь?

Я заверила его, что сёстры пьют, но не на дежурстве, и по той же самой причине я бы тоже не стала этого делать.

Мимо моего уха просвистел серпантин, пущенный невидимой фигурой из-за двери.

– Ой, извините, сестра. Это, должно быть, наш Пол.

Я стряхнула розово-оранжевую полоску со своей формы и пошла наверх.

В комнате Бетти стояли удивительные тишина и спокойствие. Толстые старые стены и тяжёлая деревянная дверь изолировали звук, да и сама Бетти выглядела спокойной и умиротворённой. Сестра Бернадетт делала записи, мать Бетти, Айви, вязала в углу. Клацанье спиц и треск огня – вот и всё, что было слышно.

Сестра объяснила мне, что не даёт Бетти успокоительных, потому что это может повлиять на ребёнка. Она сказала, что определить, сколько продлится первый период родов, трудно, и что в настоящее время у плода вполне нормальное сердцебиение.

Прибыл доктор Тёрнер, выглядевший так, словно в мире не было ничего, чем бы он хотел заняться в Рождество с бóльшим удовольствием, чем родами при тазовом предлежании. Посовещавшись с сестрой, он тщательно осмотрел Бетти. Я ожидала, что он проведёт ещё одно влагалищное исследование, но он принял диагноз сестры без вопросов. Доктор Тёрнер сказал Бетти, что, судя по всему, с ней и ребёнком всё хорошо и он вернётся к пяти вечера, если мы не позовём его раньше.

И мы стали ждать. Самая главная часть работы акушерки предполагает напряжённую, часто драматическую активную деятельность, но она компенсируется длительным спокойным ожиданием.

Сестра Бернадетт села и достала свой молитвенник – прочесть дневные молитвы. Монахини жили по монашеским правилам шести служб в день: утренняя, час третий, час шестой, час девятый, вечерня, повечерие и святое причастие каждое утро. В созерцательном сообществе все службы составляют в целом около шести часов молитв. В работающем сообществе это практически невозможно, поэтому с первых дней освоения профессии акушерки Святого Раймонда Нонната совершали богослужения по разработанной специально для них укороченной версии. Таким образом они могли вести религиозную жизнь и работать полный день медсёстрами и акушерками.

Вид этого прекрасного молодого лица в свете огня, беззвучно движущихся губ, читающих древние молитвы под тихий шорох благоговейно перелистываемых страниц, был глубоко волнующим. Я смотрела на неё и дивилась глубине чувства призвания, способного заставить молодую женщину отречься от мирской жизни с её радостями и возможностями в пользу жизни религиозной, связанной обетами бедности, целомудрия и послушания. Я могла понять призвание к медсестринскому делу и акушерству, которое восхищало меня и во время учёбы, и во время

практики, но призвание к религиозной жизни находилось за гранью моего понимания.

Бетти застонала, когда пришла схватка. Сестра улыбнулась, встала и подошла к ней. Затем вернулась к молитвеннику, и в комнате снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем больших часов и клацаньем вязальных спиц Айви. Из-за двери доносились звуки веселья, но здесь стояло молитвенное спокойствие.

Я сидела в свете огня, позволив мыслям вернуться в прошлое. Сколько раз я встречала Рождество в больницах! Вопреки тому, что можно было бы подумать, это были счастливые часы. Пятьдесят лет тому назад отношение в больницах было гораздо более личным, чем сегодня. Сестринская иерархия была чудовищна, но, по крайней мере, каждый был знаком со всеми остальными. Пациенты лежали в больнице гораздо дольше, и, так как медсёстры работали по шестьдесят часов в неделю, мы успевали по-настоящему узнать их как людей. На Рождество все немного расслаблялись, и даже самая свирепая старшая по палате медсестра после нескольких рюмочек шерри хихикала с практикантками. Происходящее больше напоминало забавы школьников, но всё было по-доброму, и главная цель заключалась в том, чтобы доставить радость пациентам, особенно тяжелобольным.

Больше всего мне запомнились рождественские гимны в Сочельник. Во главе со старшей медсестрой весь персонал ходил по палатам со свечами и пел. Для пациента, прикованного к больничной койке, это, должно быть, выглядело потрясающе. В больнице работало более сотни медсестёр, двадцать, а то и больше врачей, более пятидесяти человек вспомогательного персонала. Медсёстры надевали парадную форму и выворачивали плащи алой подкладкой наружу. Все несли свечи. Мы проходили через затемнённые палаты, как правило с тридцатью койками в каждой, распевая стародавнюю историю Рождества.

Всё это уже давным-давно ушло из больниц, оставив лишь воспоминания, но это было очень красиво, и я знаю, что многие пациенты плакали тогда от переполнявших их чувств.

Роды при тазовом предлежании

Время медленно утекало. Снизу раздался крик: «Да, да, да, паровозиком!» Сначала они всё нарезали круги по гостиной, потом шум стал громче – вереница людей двинулась вверх по лестнице. Они кричали во всё горло и одновременно топали. Сестра Бернадетт подумала, что шум может потревожить Бетти, но та сказала:

– Нет, нет, сестра. Мне нравится это слышать. Не хочу, чтобы в доме было тихо – только не на Рождество.

Сестра улыбнулась.

Схватки стали сильнее и, казалось, чаще. Сестра Бернадетт встала и, осмотрев Бетти, повернулась ко мне:

– Думаю, лучше бы сходить позвонить доктору Тёрнеру, если это вас не затруднит, сестра.

Было четыре, когда я позвонила доктору, и через пятнадцать минут он уже приехал. Я ужасно волновалась. Это были мои первые роды при тазовом предлежании.

Бетти начала чувствовать желание тужиться. Сестра Бернадетт сказала ей:

– Вы должны изо всех сил стараться пока не тужиться, дорогая. Дышите глубже, постарайтесь расслабиться, но не тужьтесь.

Мы надели маски и снова помыли руки.

Посмотрев на сестру Бернадетт, доктор проговорил:

– Принимайте роды, сестра. Я буду здесь, если понадобится.

Очевидно, он был полностью в ней уверен.

Она кивнула, объяснила Бетти, чтобы та оставалась на спине, держа ягодицы на краю кровати, и попросила нас с Айви придерживать её за ноги. Я училась, поэтому сестра чётко и тщательно объясняла всё, что делала.

Я видела, как по мере расширения родового канала что-то выходит, но это не было похоже на попку младенца. Это было что-то пурпурное.

Сестра заметила моё недоумение и пояснила:

– Выпадение пуповины. Во время родов при тазовом предлежании такое часто происходит, потому что ягодицы, в отличие от головы, – не сфера, и пуповина может легко проскочить между ножками ребёнка. Пока она пульсирует, как обычно, волноваться не о чем.

Родовой канал продолжал расширяться, и теперь я вполне ясно видела ягодицы ребёнка. Сестра встала на колени между ногами Бетти – кровать была слишком низкой, чтобы стоять, – и продолжила объяснять всё негромким голосом:

– Левая крестцово-передняя позиция, то есть первой из-под лобковой кости появится левая ягодица. Не тужьтесь, Бетти, – попросила она. – Ребёнок должен появиться медленно. Чем медленнее, тем лучше. – И снова прокомментировала для меня: – Ножки будут свёрнуты. Я хочу повернуть ребёнка, чтобы обеспечить наилучшее положение для родов; кроме того, так сила тяжести поможет сохранить правильный наклон головки, когда тело ребёнка будет свисать с вульвы. Это важно.

Появились ягодицы, и сестра с бесконечной осторожностью вставила руку и зацепилась пальцами за согнутые ножки.

– Делайте что угодно, Бетти, только не тужьтесь, – велела сестра Бернадетт.

Ножки выскользнули легко. Это была девочка. Также выскользнул длинный отрезок пуповины, пульсирующей столь энергично, что это было заметно глазу.

– Ребёнок ещё полностью прикреплен к плаценте, – сказала сестра, – и через пуповину идёт питательная жидкость. Даже при том, что тело наполовину родилось, пока не выйдет голова или, во всяком случае, пока нос и рот не будут прочищены, чтобы можно было дышать через них, жизнь ребёнка зависит от плаценты и пуповины.

Мне казалось жутким, что эта извилистая пульсирующая штука была так необходима для поддержания жизни, и я спросила:

– Её не надо затолкать обратно?

– Не обязательно. Некоторые акушерки так поступают, но, по мне, это не даёт никаких преимуществ.

Ещё одна схватка – и тело ребёнка вышло до плечиков.

Полотенца повесили на каминный экран, чтобы согрелись. Сестра попросила одно и плотно обернула его вокруг ребёнка, объясняя, что она делает:

– От этого двойная польза. Во-первых, ребёнку нельзя охлаждаться. Большая часть её тела теперь открыта, и если она начнёт задыхаться от шока, вызванного холодным воздухом, то будет вдыхать амниотическую жидкость, что может оказаться фатальным. Во-вторых, полотенце позволяет мне получше ухватиться. Ребёнок скользкий, а я должна повернуть его на четверть окружности так, чтобы затылок оказался под лобковой костью. Я сделаю это, когда буду доставать плечики.

Со следующей схваткой левое плечико уткнулось в тазовое дно, и сестра вытащила его, подцепив пальцем под руку и в то же время немного вращая тело по часовой стрелке. Правое плечо появилось таким же образом, и теперь обе ручки ребёнка находились снаружи. Внутри матери осталась только голова.

– У вас девочка, – сообщила сестра Бетти, – но, судя по размеру её конечностей, я не думаю, что она родилась на шесть недель раньше срока. Полагаю, произошла путаница с датами. А теперь, Бетти, тужьтесь изо всех сил, используя каждую схватку, чтобы вытолкнуть головку ребёнка. Доктору, возможно, придётся приложить надлобковое давление, но я бы предпочла, чтобы вы вытолкнули головку сами.

Схваток не было целых три минуты, и я напряглась и забеспокоилась, но сестра казалась расслабленной. Она поддерживала ребёнка руками, а потом полностью отпустила, и он остался висеть совсем без поддержки. Я чуть не задохнулась от ужаса.

– Так и надо, – успокоила сестра. – Масса тела ребёнка мягко потянет голову немного вниз и увеличит наклон головы, а это как раз то, чего я добиваюсь. Тридцати секунд будет достаточно. Это не навредит ребёнку.

Потом она снова подхватила ребёнка. Должна признаться, что почувствовала облегчение.

Схватки продолжились.

– Теперь тужьтесь, Бетти, так сильно, как только можете.

Бетти тужилась, но головка больше не опускалась. Сестра с доктором Тёрнером согласились, что во время следующей схватки он приложит надлобковое давление, а если это не поможет, придётся воспользоваться щипцами.

Сестра объяснила мне:

– Иначе пуповина зажмётся между головкой и крестцовой костью. Сейчас с ребёнком всё хорошо, но если так будет продолжаться слишком долго, то есть дольше, чем несколько минут, возникнет определённый риск асфиксии.

Я, шокированная и встревоженная, сцепила пальцы, но сестра оставалась совершенно спокойной. Пришла схватка, и доктор положил руки Бетти на живот, чуть выше лобковой кости, и с усилием надавил. Бетти застонала от боли, но головка явно сдвинулась.

– Используем метод Морисо – Смелли – Вейта для извлечения головы, – объяснила мне сестра. Она снова оставила ребёнка свободно свисать, и моё сердце забило где-то в горле.

– Со следующей схваткой, если всё будет по плану, дыхательные пути

откроются, и ребёнок сможет дышать. Мне понадобится влагалищное зеркало Симса, будьте готовы передать его, когда я попрошу.

Я взглянула на её лоток – посмотреть, где зеркало. Руки так дрожали, что на одну ужасную секунду я представила, как переворачиваю весь лоток или, взяв зеркало, роняю его на пол.

Началась ещё одна схватка, и доктор снова надавил Бетти на живот. Сестра поместила правую руку ребёнку на плечики, пальцы левой руки – во влагалище. Я видела, как, осторожно шевеля пальцами, она что-то нащупывает. Ребёнок лежал на её предплечье.

– Я пытаюсь зацепиться указательным пальцем за рот ребёнка, чтобы сохранить наклон головы, при котором рот и нос окажутся на воздухе первыми. Это *не должно* оказывать дополнительного давления. Если вы когда-нибудь примените этот метод, медсестра, помните об этом. Пытаясь тянуть, можно вывихнуть ребёнку челюсть.

Меня замутило от страха. Оставалось только надеяться, что мне никогда не придётся принимать роды при тазовом предлежании.

Я наблюдала, как сестра умело проводит манипуляции с задней частью черепа правой рукой, объясняя:

– Я просто подтолкнула затылочный бугор, чтобы увеличить наклон. Пожалуйста, доктор, если можно, надавите чуть сильнее, и, думаю, дыхательные пути освободятся. Вот так. Сестра, зеркало, пожалуйста.

Чтобы унять дрожь, пришлось придерживать одну руку другой. «Только бы не уронить, только бы не уронить», – вот и всё, о чём я тогда могла думать. Передав зеркало, я испытала такое облегчение, что чуть не рассмеялась.

Но было кое-что ещё, что стоило увидеть.

Теперь в промежности виднелся подбородок малыша, и сестра осторожно вставила расширитель во влагалище, подталкивая заднюю стенку в обратном направлении, словно обувным рожком. Вот показались нос и рот. Сестра попросила тампон, который я ей тут же протянула, и вытерла нос и рот ребёнка, освобождая их от слизи.

– Теперь она может дышать и больше не зависит от плацентарного кровоснабжения.

Это удивительно – слышать вздох, сопровождаемый тихим криком. Лица младенца не было видно, а его голос уже можно было услышать.

– Как мне нравится этот звук, – сказала сестра. – Вы слышите, Бетти?

– Ещё как! Она в порядке, маленькая бедняжка? Я чувю, ей так же тяжело, как и мне.

– Да. Ваша малышка теперь в порядке и, уверяю вас, со следующей

схваткой она родится. Думаю, у вас разрыв промежности, но я не вижу его за зеркалом и не могу с этим ничего поделать, потому что, если я передвину зеркало, ваш ребенок не сможет дышать.

Ещё одна схватка. «Вот оно», – подумала я с некоторым облегчением. Появление головки заняло всего двенадцать минут, но мне они показались вечностью. Схватки были сильными, да и доктор надавливал весьма ощутимо. Сестра потянула ребёнка вниз, пока нос не оказался на уровне промежности, а потом – быстро вверх, над животом матери. Движение заняло не более двадцати секунд, и головка вышла на свет. Я чуть не рыдала от облегчения.

Младенец был синим.

Сестра держала её за лодыжки ножками вверх.

– Ничего страшного, что она синенькая, – пояснила сестра. – Этого и следовало ожидать. Надо убедиться, что лёгкие прочистились. Когда она задышит уверенней и размеренней, цвет улучшится. Будьте любезны, передайте мне катетер для слизи.

Меня больше не трясло, и я смогла выполнить просьбу, не боясь ничего уронить.

Сестра перевернула ребёнка, держа его в левой руке. Потом вставила катетер ему в рот и очень осторожно втянула воздух с другого конца, чтобы наверняка удалить всю жидкость и слизь. Жидкость, булькая, вошла в катетер. Потом сестра точно так же очистила каждую ноздрю. Малышка два-три раза глубоко вздохнула, закашлялась и заплакала. Или, лучше сказать, громко закричала. И быстро порозовела.

– Что за чудесный крик, – заметила сестра. – Ещё несколько таких воплей сделают меня счастливой.

Младенец не остался в долгу и охотно заревел.

Пуповину зажали и обрезали, младенца, завернутого в тёплые полотенца, вручили Бетти.

– О, какая красавица, – воскликнула Бетти, – благослови её маленькое сердечко. Она стоит всей боли в мире.

«Это чудо, – думала я. – Мать тут же забывает муки, через которые прошла, в ту же секунду, как прижимает к груди ребёнка».

– Сегодня Рождество, – заметила Бетти. – Мы должны назвать её Кэрл [13].

– Чудесное имя, – похвалила сестра. – Теперь мы должны удалить плаценту, и, думаю, вам лучше остаться, где вы есть: у вас действительно разрыв, и, полагаю, доктору будет легче зашить вас в этом положении.

Доктор приготовил шприц и сказал сестре:

– Хочу ввести эргометрин, чтобы поспособствовать изгнанию плаценты.

Она кивнула.

Я не стала спрашивать, почему. В те дни давать эргометрин не было в порядке вещей, за исключением случаев чрезмерной задержки третьего этапа родов, сильного кровотечения или не полностью вышедшей плаценты. Как я отмечала ранее, сегодня инъекция окситоцина сразу после рождения ребёнка – обычное дело.

В течение нескольких минут пришла схватка, и плацента шлёпнулась в подставленный сестрой почкообразный лоток.

– Хорошо, уступаю место вам, доктор, – сказала сестра Бернадетт.

Легче сказать, чем сделать. Сестра попыталась встать, но не смогла, задохнувшись от боли.

– Мои ноги! Я их не чувствую – так затекли.

Не удивительно! Бедняжка, она стояла на коленях на полу более получаса, не меняя позы, полностью сосредоточившись на своей работе.

– Не могу пошевелиться. Вам придётся мне помочь – ноги словно бы заснули.

Галантный доктор обхватил её руками и потянул. Должно быть, она оказалась мёртвым грузом, потому что у него ничего не получилось. Мы с Айви присоединились, и принялись все вместе толкать и тянуть сестру, умирая от хохота. Наконец мы подняли её и заставили потопать и пошевелить ногами. Постепенно кровообращение и чувствительность восстановились, и она смогла стоять без посторонней помощи.

Доктор снова вымыл руки и приготовился накладывать швы. Он попросил меня подержать его фонарик, освещая разрыв. Сделав местное обезболивание, он всё как следует осмотрел.

– Всё не так плохо, Бетти, – сообщил он. – Я скоро вас зашью, и за пару недель всё заживёт. Однако я хочу вас осмотреть, чтобы убедиться, что не порвана шейка – при родах с тазовым предлежанием такое иногда случается.

Он вставил два пальца во влагалище и всё ощупал, а мне объяснил:

– Диаметр таза меньше, чем головы. Поэтому шейка матки может расшириться достаточно для его прохождения, но недостаточно для свободного выхода головки. Это один из тех случаев, когда может порваться шейка. Если это действительно так, мать нужно отправить в больницу, потому что у меня нет средств, чтобы восстановить шейку матки здесь. Однако, – уверенным голосом продолжил он, – вам повезло, Бетти, внутри у вас ничего не порвано. Я просто наложу несколько швов снаружи.

Он выбрал иголку и нитку, стянул мышцу щипцами и за несколько круговых движений запястьем аккуратно всё подлатал – всего за пару минут.

– Вот так. Готово. Теперь давайте устроим вас поудобней.

Тем временем сестра осматривала младенца:

– Она весит пять с половиной фунтов^[14], Бетти. Ваша маленькая Кэрол, разумеется, не родилась на шесть недель раньше положенного срока. От силы недели на две – вы, должно быть, накинули месяц на вашу дату. В следующий раз внимательней ведите записи.

– В следующий раз! – воскликнула Бетти. – Вот вы загнули! Следующего раза не будет: хватит с меня и одного тазового предлежания.

Ребёнок был вне опасности, мать – удобно устроена, так что сестра Бернадетт с доктором собрались уезжать. Я осталась прибраться, выкупать младенца и сделать записи. По пути вниз сестре пришлось перекрикивать толпу, чтобы дозваться Дэйва и сообщить ему о рождении дочери. Через закрытые двери мы слышали, как выкрикивают поздравления и затягивают «Он такой славный малый».

– Это кто славный малый? – поинтересовалась Бетти. – Дэйв? Какое нахальство!

Она обняла свою малышку и счастливо рассмеялась.

Дэйв пришёл сразу. Раскрасневшийся и слегка потрёпанный, но гордый и счастливый. Войдя, сразу обнял Бетти. Многие мужчины в Ист-Энде едва могли связать пару слов, но не Дэйв – не зря его назначили управляющим на верфи.

– Бетти, ты удивительная, и я тобой горжусь, – сказал он. – Рождественская малышка – это чудо, и боюсь об заклад, мы никогда не позабудем этого рождения. Считаю, что мы должны назвать её Кэрол.

Он взял ребёнка на руки, а потом с тревогой сказал:

– Боже, какая крошечная! Боюсь сломать. Лучше верни её обратно, Бетти.

В этот момент Кэрол хныкнула и наморщила личико, и все засмеялись.

Я поняла, что звуки снизу изменились. Праздничный шум стих, с лестничной площадки доносились шарканье, шёпот и хихиканье. Дэйв сказал мне:

– Они все там, хотят посмотреть младенца. Как думаете, когда им можно будет войти?

Я не видела причин, почему бы им не зайти; в конце концов, здесь не больница.

– Мы с Айви закончим уборку, и, когда я буду купать малышку, дети смогут войти. Уверена, им это понравится. А пока нужно натаскать побольше горячей воды.

Кувшины с горячей водой были доставлены, и мы с Айви быстро привели в порядок Бетти, подготовив к визиту посетителей. Потом я поставила жестяную ванночку на стул у камина и приготвила малышке воду нужной температуры.

Айви открыла дверь:

– Можете войти, только чтоб вели себя тихо и хорошо. Кто расшалится, тут же отправится вон.

Бабушкино слово явно было законом для всех. Я не считала, но, наверное, в комнату гуськом вошли малышей двадцать, все с большими, круглыми, полными благоговения глазами. Удачно, что спальня была большой. Они становились вокруг меня, садились на кровать, забирались на стулья, подоконники, куда угодно, чтобы увидеть. Я с восторгом глядела по сторонам, потому что любила детей, и это был удивительный опыт.

Айви объявила, что младенца зовут Кэрл. Крошка лежала на полотенце у меня на колене, по-прежнему завёрнутая во фланелевую простыню. Взяв влажный тампон, я протёрла ей лицо, уши, глаза. Она заворочалась и облизнулась. Тоненький голосок сказал:

– О-о, смотрите, какой у неё маленький язычок.

На голове ребёнка осталась кровь и слизь, поэтому я объявила:

– Сейчас я помою ей волосы.

Мальчик на подоконнике выпалил:

– Я не люблю, когда мне моют волосы.

– Эй, ты, замолчи! – властно сказала маленькая девочка.

– Вот уж нет уж. Сама замолчи, командирка.

– Я не командирка. Подожди у меня...

– Так, – строго начала Айви, – ещё одно слово, и вы оба вылетите отсюда.

Мёртвая тишина!

Я продолжила:

– Я не стану использовать мыло, которое так противно лезет в глаза.

Держа малышку личиком вверх и пристроив её затылок на краешке ванны, я аккуратно плеснула водой на крошечную головку и протёрла тампоном. Основной целью было смыть кровь, чтобы ребёнок выглядел попрличней. Большую часть слизи лучше оставлять на коже в качестве защитного слоя. Вытерев крошку полотенцем, я сказала мальчику на

подоконнике:

– Вот, и совсем не противно, правда?

Он не ответил. Просто мрачно на меня посмотрел и покивал.

Я развернула простыню. Теперь у меня на колене лежал голенький младенец. Раздался дружный вздох, и несколько голосов прокричали:

– Что это?

– Часть пуповины, – объяснила я. – Когда Кэрол сидела у мамы в животике, они были связаны пуповиной. Когда она родилась, мы перерезали пуповину, потому что больше она не нужна. У вас у всех была пуповина – там, где сейчас пупки.

Несколько детей задрали юбки или спустили штаны, с гордостью демонстрируя мне пупок.

Я взяла младенца в левую руку, положив головку на предплечье, и погрузила маленькое тельце в тёплую воду. Она задёргала крошечными ручками и ножками, поднимая брызги. Все дети смеялись, явно не прочь присоединиться.

Айви твёрдо заявила:

– Теперь слушайте, что я скажу. Никакого шума. Вы ж не хотите напугать ребёнка.

Тишина воцарилась мгновенно.

Обтерев ребёнка полотенцем, я сказала:

– Теперь нужно её одеть.

Конечно же, все маленькие любительницы наряжать кукол захотели мне помочь. Но Айви остановила их, сказав, что они смогут наряжать Кэрол потом, когда она немного подрастёт.

Вдруг одна девочка пронзительно закричала:

– Это Перси! Это Перси! Он пришёл посмотреть ребёнка. Он знает и хочет поздороваться.

Дети расшумелись так, что даже Айви больше не имела над ними власти. Все они указывали в одном направлении, крича на что-то на полу.

Я проследила за их взглядами и, к своему удивлению, обнаружила медленно и величественно выползающую из-под кровати невероятно большую черепаху. На вид ей было лет сто, а то и больше.

Дэйв расхохотался:

– Конечно, он хочет увидеть ребёнка. Он всё об этом знает. Он очень умный, наш Перси.

Дэйв поднял черепаху, и дети принялись щекотать её старую морщинистую кожу, трогать жёсткие коготки на лапах.

– Возможно, он хочет получить свой рождественский обед и всё такое.

Угостим его, а? – спросил Дейв.

Большинство детей теперь больше интересовались черепахой, чем ребёнком, и Айви мудро сказала:

– Идите-ка все вниз и займитесь рождественским обедом для Перси.

Дети убежали, а мне объяснили причину этого явления. Перси положили в коробку и задвинули под кровать – на зимовку. Обычно в спальне было прохладно. Тепло от камина и, возможно, движение, не прекращающееся несколько часов, должно быть, разбудили Перси, и, думая, что наступила весна, он и выполз. С точки зрения драматического эффекта трудно было придумать время удачнее.

Было около семи вечера, когда я собралась уезжать. Но Дэйв меня не отпустил.

– Пойдёмте, сестра. Сегодня Рождество. Да и рождение ребёнка надо бы обмыть.

Он потянул меня к задней комнате, где обнаружился бар.

– Чем будете травиться?

Соображать пришлось быстро. После прерванного на середине рождественского обеда я ничего не ела. Крепкий алкоголь свалил бы меня с ног, так что я выбрала «Гиннесс» с мясным пирогом. Мне и правда не хотелось болтаться тут без дела. Роды казались прекрасным рождественским опытом, вечеринка же была не по мне. Слышать такое в качестве фона было прекрасно, но сидеть среди пышнотелых икающих тётушек в бумажных колпаках и краснолицых потных дядюшек было для меня чересчур. Хотелось просто побыть одной.

После тёплой комнаты уличный холод резал, словно ножом. Ночь стояла безоблачная и звёздная. В те времена улицы едва освещались – звёздный свет был настоящим подспорьем. Морозные узоры украсили всё вокруг: чёрные камни мостовых, стены, здания, даже мой велосипед. Вздрогнув, я решила крутить педали как можно активнее, чтобы согреться.

За милю или две от Ноннатус-Хауса внезапный порыв заставил меня повернуть направо, на Вест-Ферри-роуд – к Собачьему острову. Я объехала весь Остров – а это семь или даже восемь миль, – прежде чем вырулить на Ист-Индия-роуд, и не могу вам сказать, что побудило меня сделать это.

Вокруг не было ни души. Доки закрыты, корабли замерли в порту. Единственным, что я слышала, проезжая по Вест-Ферри-бридж, был плеск воды. Никакого света, кроме мерцания звёзд и огней рождественских ёлок в окнах многих домов, на Острове не было. Широкая, величественная Темза, раскинувшаяся справа от меня, ревниво хранила свои секреты. Я

поехала медленнее, словно боясь развеять волшебство.

Когда я повернула на запад, показалась низкая луна, и серебристая дорожка заискрилась через реку от Гринвича к моим ногам. Я притормозила велосипед. Казалось, по этим серебряным следам можно было перейти с северного берега на южный. Мысли сделались такими же мимолётными и мерцающими, как лунные блики на воде. Что со мной происходит? Почему работа так меня захватила? И главное – почему сёстры так глубоко на меня повлияли? Я вспомнила свою презрительную реакцию, всего двадцать четыре часа назад, на ясли в часовне, а потом безмятежную красоту лица сестры Бернадетт, когда она читала молитву в мягких отблесках огня. Я не могла сложить одно и другое. Не могла понять. Всё, что я знала, так это то, что не могу сбросить это со счетов.

Джимми

– Дженни Ли? Где, чёрт возьми, ты пряталась всё это время? Мы несколько месяцев не получали от тебя известий. Мне пришлось добраться до твоей матушки, чтобы выяснить, где ты. Она сказала, ты – акушерка в монастыре. Мне пришлось мягко объяснить ей, что монахини этого не делают и что она, должно быть, ошиблась, но она и слышать ничего не хотела. Что? Ты? Да ты с ума сошла! Я всегда говорил, что у тебя винтиков в голове не хватает. Что? Не можешь говорить? Почему? Этот телефон предназначен для будущих отцов! Слушай, это же смешно. Хорошо, хорошо! Я повешу трубку, но только когда ты пообещаешь встретиться с нами в «Руках штукатура» в свой выходной. В четверг? Окей, договорились. Не опаздывай.

Дорогой Джимми! Я знала его всю свою жизнь. Старые друзья – всегда самые лучшие, а друзья детства – самые особенные: растут вместе и знают друг о друге и лучшее, и худшее. Мы играли вместе, сколько я себя помнила, потом покинули дом, и наши пути разошлись, чтобы снова сойтись в Лондоне. Джимми и его друзья приходили на все вечеринки и танцы, организованные в разных домах медсестёр, к которым я была прикреплена, а я, когда могла, присоединялась к их братству во всевозможных пабах Вест-Энда. Это было отличное соглашение, потому что они гарантированно встречались со множеством новых девушек, а я могла насладиться их компанией без каких-либо обязательств.

В молодости я не гуляла с парнями. Не потому (я надеюсь), что была непривлекательной, скучной или неженственной, а потому, что любила человека, которого не могла получить и из-за которого моё сердце постоянно болело то сильнее, то слабее. По этой причине другие мужчины не представляли для меня никакого романтического интереса. Я наслаждалась компанией и общением моих друзей-мужчин, их живыми широкими умами, но сама мысль о физической близости с любым мужчиной, кроме любимого, вызывала у меня отвращение. В результате у меня было очень много друзей, и на самом деле я была очень популярна среди парней. По моему опыту, ничто так не подогревает интерес молодого человека, как вызов симпатичной девушки, которая по какой-то необъяснимой причине не считает его секс-символом века!

Наступил вечер четверга. Было очень приятно для разнообразия

направляться на запад. Я находила жизнь с сёстрами и работу в Ист-Энде столь неожиданно поглощающими, что не хотела ходить куда-либо ещё. Однако как противостоять возможности принарядиться? В 1950-х платья были довольно строгими. В моде были длинные юбки, расширяющиеся к подолу; чем уже талия и туже пояс, тем лучше, независимо от комфорта. Нейлоновые чулки только появились и имели швы, которые, *по правилам хорошего тона*, должны были идти по ноге сзади и строго прямо. «У меня швы на месте?» – взволнованным шёпотом постоянно переспрашивали друг у друга девушки. Туфли были убийственными – с пяти- или шестидюймовыми^[15] шпильками на стальных набойках и с мучительно острыми носами. Поговаривали, что Барбара Гулден, фотомодель того времени, ампутировала мизинцы, чтобы в них втискиваться. Как и все модные девушки тех дней, я расхаживала по Лондону в этих безумных туфлях и ни в жизни бы не променяла их на что-либо другое.

Аккуратный макияж, шляпка, перчатки, сумочка – и я была готова.

Тогда рядом с Олдгейт ещё не построили метро, так что, чтобы попасть в подземку, мне приходилось садиться на автобус, идущий по Ист-Индия-Док-роуд и Коммерциал-роуд. Мне всегда нравилось верхнее переднее сиденье лондонского автобуса, и я по сей день уверена, что никакой транспорт, каким бы дорогим и шикарным он ни был, не может предложить и половины той зрелищности, выигрышной точки обзора и неспешности движения, позволяющей бесконечно впитывать в себя проплывающие мимо пейзажи, примостившись высоко надо всеми и вся.

Пока автобус плыл по улице, мои мысли устремились к Джимми и его друзьям и тому случаю, когда я оказалась на грани того, чтобы меня выгнали из медсестёр, если бы кто узнал.

Больничная иерархия в те дни была очень строга, и поведение, даже вне службы, находилось под неусыпным контролем. За исключением организованных общественных мероприятий, парни *никогда* не допускались в общежития медсестёр. Я даже помню один воскресный вечер, когда какой-то парень зашёл за своей девушкой. Он позвонил в звонок, и медсестра открыла дверь. Он назвал имя девушки, которую хотел повидать, и медсестра отправилась искать её, оставив входную дверь открытой. Шёл довольно сильный дождь, поэтому парень шагнул внутрь и в ожидании замер на коврике. Это произошло в тот момент, когда мимо проходила старшая по общежитию медсестра. Встав, как вкопанная, она уставилась на него, а потом, вытянувшись во все свои четыре фута одиннадцать дюймов^[16] роста, сказала:

– Молодой человек, как вы посмели явиться в медсестринский дом! Пожалуйста, немедленно ступайте на улицу.

Столь страшными казались эти медсёстры старой школы и столь абсолютной была их власть, что молодой человек покорно вышел на улицу и встал под дождём, а сестра захлопнула перед ним дверь.

Моё поведение с Джимми и Майком было бы, несомненно, сочтено заслуживающим немедленного выдворения из школы подготовки медсестёр и, весьма вероятно, из профессии в целом. В то время я работала в роддоме лондонского Сити. Однажды ранним вечером, после дежурства, меня позвали к единственному телефону в здании.

– У аппарата очаровательная Дженни Ли с фантастическими ногами? – промурлыкал вкрадчивый голос.

– Перестань, Джимми. Что случилось? Чего ты хочешь?

– Когда ты успела стать такой циничной, моя дорогая? Ты меня несказанно огорчила. Когда у тебя свободный вечер? Сегодня! Какая удача! Встретимся в «Руках штукатура»?

За более чем пиршественной пинтой всё выяснилось. Джимми и Майк делили на двоих крохотную квартирку на Бейкер-стрит, но то одно, то другое – девушки, пиво, одежда, сигареты, кинотеатры, иногда лошади, леди Чаттерли (их общий автомобиль) и прочие предметы первой необходимости, – и в результате им вечно не хватало денег заплатить за аренду. Квартирная хозяйка, которая, конечно, оказалась сущим драконом, терпела, если плата задерживалась на две-три недели, но когда доходило до шести-восьми недель, начинала изрыгать пламя. Однажды вечером, вернувшись домой, ребята обнаружили, что их одежда пропала, зато появилась записка, что они получат её обратно, когда внесут плату.

Они сели с карандашом и бумагой и подсчитали, что вся их одежда стоит меньше, чем плата за просроченные восемь недель, так что их дальнейшие действия были очевидны. В три часа утра они тихо съехали с квартиры, оставив ключи на столике в холле, и провели остаток ночи в Риджентс-парке. Стоял чудесный сентябрьский вечер, и, сносно поспав, они бодренько отправились на работу, поздравляя друг друга с отличным планом и его великолепным исполнением. Ребята полагали, что могли бы вести такой образ жизни бесконечно, и сокрушались, какими были дураками, вообще платив этой драконихе.

Джимми учился на архитектора, а Майк – на инженера-строителя. Их обоих прикрепили к лучшим компаниям Лондона (подобная подготовка в те дни строилась на старой системе подмастерьев, и студенты не просиживали дни в колледже). Хотя мыться и бриться они могли в

общественных туалетах, менять одежду не получалось (её у них просто не было), а ни одна приличная лондонская фирма не потерпела бы, чтобы её сотрудники день за днём являлись покрытыми осенними листьями. Так что недели через две парни поняли, что нужен другой план. К сожалению, обоим по-прежнему требовалось полностью обновить гардероб, и с деньгами было очень туго.

Пока мы обсуждали, что делать, дошло уже до третьей пинты пива. Джимми спросил:

– А нет ли в вашем медсестринском доме какой-нибудь котельной или чего-нибудь вроде того, где мы могли бы немного перекантоваться?

Старые друзья есть старые друзья. Я даже не взвесила, чем рискую, отвечая:

– Да, есть, хотя и не котельная. Сушильня под самой крышей. Там стоят баки для воды и сушится одежда. Думаю, там даже есть раковина.

Их глаза загорелись. Раковина! Они смогли бы с комфортом помыться и побриться.

– Насколько мне известно, – продолжила я, – она используется только днём, но не ночью. Там есть пожарная лестница, идущая по задней части здания, – предполагаю, что из сушильни на эту лестницу выходит дверь или окно. Наверное, они заперты изнутри, но я открою, и вы сможете войти. Пойдёмте, посмотрим.

И после ещё пинты или двух мы отправились в медсестринский дом на Сити-роуд. Ребята двинулись вокруг здания к пожарной лестнице, а я зашла с парадного входа. Сразу же устремившись в сушильню, я обнаружила, что поднимающиеся окна с лёгкостью открываются изнутри. Я подала знак стоящим внизу друзьям, и один за другим они поднялись по железной лестнице, крепящейся к стене, – без какого-либо ограждения. Сушильня, напомню, располагалась на шестом этаже. В обычных условиях взбираться туда было бы страшно, но для подкреплённых несколькими пинтами пива ребят это не составило труда, и вскоре они торжествующе вступили в свой новый дом. Я была заключена в объятия, расцелована и названа «молотком».

Я сказала:

– Не вижу никаких препятствий к тому, чтобы вам здесь остаться, но не возвращайтесь до десяти вечера и уходите до шести утра, чтобы никто не заметил. И не шумите: если вас найдут, у меня будут большие неприятности.

Никто так и не узнал, что около трех месяцев они жили в сушильне медсестринского дома. Для меня навсегда останется загадкой, как они

управлялись с той ужасающей пожарной лестницей рано поутру в середине зимы. Впрочем, когда человек молод и полон жизни и энергии, ему всё по плечу. Крик «Олдгейт-Ист – поезд дальше не идёт» ворвался в мои воспоминания. Я отправилась в знакомый паб. Стоял один из тех великолепных июньских вечеров, когда бесконечный дневной свет всё никак не меркнет, – такие вечера наполняют вас радостью. Воздух был тёплым, светило солнце, пели птицы. Как хорошо жить! В пабе же, напротив, было темно и мрачно. Это была наша любимая пивная. Тем вечером пиво было отличным, время было отличным, друзья – отличными, но почему-то создавалось ощущение, что с заведением что-то не так. Мы немного поболтали, выпили пару бокалов, но, думаю, все чувствовали себя немного не в своей тарелке.

Вдруг кто-то выкрикнул:

– Эй! А поедем-ка все в Брайтон – устроим ночное купание!

Ответом был гул одобрения.

– Пойду за леди Чаттерли.

Это было имя, присвоенное их общему автомобилю. Кто теперь помнит негодование, вызванное выходом романа «Любовник леди Чаттерли», написанного Дэвидом Гербертом Лоуренсом в 1920-х, и судебное дело против издателей, намеревавшихся сделать сию «непристойную публикацию» достоянием гласности? Всё, что происходит в этой книге, так это то, что хозяйка поместья заводит интрижку с садовником, но дело попало в Верховный суд, и какой-то напыщенный королевский адвокат заявил: «Та ли эта книга, которую вы позволили бы читать своим слугам?» После этого выражение «леди Чаттерли» стало синонимом запретных удовольствий, а издательство обогатилось, продав не один миллион экземпляров книги.

Леди Чаттерли не была семейным автомобилем, но подержанным лондонским такси 1920-х годов. Она была великолепной и огромной и при благоприятном стечении обстоятельств разгонялась до сорока миль в час. Двигатель пробуждался к жизни при помощи кривого стартера, вставляющегося под элегантный радиатор. Здесь требовалась недюжинная сила, и ребята обычно раскручивали его по очереди. Передний капот, если требовалось добраться до двигателя, открывался как два огромных жучиных крыла, по обе стороны от радиатора светили четыре грандиозных фары. По всей длине автомобиля шли подножки. Колёса были спицевыми, а вместительный салон пах лучшей кожаной обивкой, полированным деревом и латунью. Она была гордостью и радостью ребят. Они держали её в гараже где-то в Мэрилебоуне и проводили всё своё свободное время,

воскрешая её хилый старый двигатель к жизни и надраивая величественное тело.

Но было в леди Чаттерли ещё кое-что особенное: к выхлопной трубе добавили колпак, а по бокам прикрепили ящики для цветов. Окна были занавешены, так что водитель не видел, что происходит за задним окном, но никто о таких мелочах не беспокоился. Автомобиль мог также похвастаться латунными дверными молоточками и почтовыми ящиками. Её имя было начертано золотой краской спереди, а сзади красовалась приписка: «НЕ СМЕЙТЕСЬ, МАДАМ, ВНУТРИ МОЖЕТ СИДЕТЬ ВАША ДОЧЬ».

И вот Леди подали к пабу, и все вышли повосхищаться ею. Несколько прежних энтузиастов передумали ехать, но человек пятнадцать всё же забрались в леди Чаттерли, и она под аплодисменты покатила по Мэрилебоун-Хай-стрит на стабильных двадцати пяти милях в час. Вечер стоял восхитительный, тёплый и безветренный. Заходящее солнце выглядело так, будто никогда полностью не сядет, хотя было уже около девяти вечера. План заключался в том, чтобы в полночь искупаться в Брайтоне, рядом с Западным пирсом, и потом вернуться в Лондон с остановкой в «Грязном Дике» – придорожном кафе на А23 – на яичницу с беконом.

Дороги в 1950-х были не те, что сегодня. Для начала нам предстояло покинуть центральный Лондон и пропетлять не одну милю по пригородам: Воксхоллу, Вандсворту, Элифанту, Клэпхему, Бэлхему и другим. Дорога не то что бы бесконечная, но пару часов заняла.

Когда мы миновали пригороды, водитель крикнул:

– Мы на открытой дороге. Ничто не остановит нас на пути к Брайтону!

Ничто, кроме капризов леди Чаттерли, имевшей склонность перегреваться. Сорок миль час были её пределом, а она слишком долго гнала на этой скорости. Пришлось останавливаться в Редхилле, Хорли (или это был Кроули?), Какфилде, Хенфилде и куче других «филдов», чтобы она могла отдохнуть и остыть.

Нервы сидевших в «золочёной карете» становились столь же потрёпанными, как и её обивка. Солнце, которое, мы думали, никогда нас не покинет, предательски уползло на другую сторону земного шара, оставляя девушек мёрзнуть в тонких летних платьях.

Парни кричали с передних сидений:

– Ещё всего пара миль. Вижу Саут-Даунс на горизонте.

В конце концов после пятичасовой поездки, около трёх часов утра, мы приползли в Брайтон. Море выглядело чёрным и очень-очень холодным.

– Так, – крикнул один из парней, – кто полезет купаться? Не трусьте. Вам понравится – стоит только окунуться.

Девушки были настроены менее оптимистично. Ночное купание, задуманное в тепле и безопасности лондонского паба, – совсем не то же, что плавание в три утра в холодной, чёрной реальности Ла-Манша. Я оказалась единственной девушкой, решившейся поплавать той ночью. Не зря же я преодолела весь этот путь!

Галька Брайтон-Бич противна и при лучших обстоятельствах, а уж на шестидюймовых шпильках – просто убийственна. Мы собирались купаться обнажёнными, но никто не подумал, что же потом использовать в качестве полотенца. Зима и ранняя весна выдались холодными, но про температуру никто тоже не подумал.

Шестеро из нас разделись и с притворно весёлыми криками, чтобы подбодрить друг друга, погрузились в море.

Обычно я люблю плавать, но холод ударил, словно ножом, выбив из меня дыхание и наградив приступом удушья, длившимся весь остаток ночи. Сделав несколько гребков, я выползла из моря, задыхаясь, и села на влажную гальку, дрожа от холода. У меня не было ничего, чтобы вытереться или укутаться. Какая же я дура! Почему вечно попадаю в такие дурацкие ситуации? Я попыталась обтереть вздрагивающие плечи кружевным платочком. Не помогло. Лёгкие горели, воздух, казалось, в них не лез.

Некоторые ребята в самом деле веселились, кувыряясь друг рядом с другом. Мне оставалось только позавидовать их живучести. У меня даже не находилось сил, чтобы доползти с берега до машины.

Джимми вылез из воды, смеясь и швыряясь в кого-то водорослями, и подошёл ко мне. Когда он рухнул на гальку рядом со мной, мы толком друг друга не видели, но он сразу почувствовал неладное. Возможно, услышал, как я хриплю. Его весёлость как рукой сняло, и Джимми стал добрым, заботливым и серьёзным, каким я его всегда знала, когда он был маленьким мальчиком.

– Дженни! Что такое? Ты больна. У тебя удушье. О, моя дорогая, ты совсем заледенела. Давай я оботру тебя своими брюками.

Я не могла отвечать, могла только сражаться за дыхание. Он накинул брюки мне на спину и энергично её растёр. Он дал мне рубашку, чтобы вытереть лицо и волосы, вытер ноги носками с трусами. Оставив майку сухой, Джимми надел её на меня, ведь собственной у меня не было. Он помог мне влезть в тонкое хлопковое платье, надел свои ботинки мне на ноги и помог дойти с берега к машине. Его собственная одежда насквозь

промокла, но он словно бы этого не чувствовал.

Все, развалившись, спали в леди Чаттерли, так что мне негде было даже сесть. Джимми быстро с этим разобрался. Он потряс какого-то парня:

– Просыпайся и двигайся. У Дженни приступ астмы. Ей нужно где-то сесть.

Потом другого:

– Просыпайся и снимай куртку. Для Дженни.

Прошло всего несколько минут, а он уже освободил мне угол и раздобыл пиджак. Разбудил ещё одного парня и забрал куртку и у него – набросить мне на ноги. Джимми сделал всё с таким шармом и лёгкостью и все так его любили, что никто даже не разворчался. Уже не в первый раз я пожалела, что не могу влюбиться в Джимми. Он всегда мне нравился, но не более того. Я любила лишь одного человека, и это не оставляло возможности полюбить кого-либо ещё.

В конце концов, мы двинулись обратно в Лондон. Искупавшиеся ребята находились в приподнятом настроении, воодушевленные плаваньем и подтруниванием друг над другом. Все девушки спали. Я сидела, наклонившись вперёд, уперев локти в колени, рядом с открытым окном и пыталась заставить лёгкие снова работать. Ингаляторов тогда ещё не существовало; единственным методом лечения были дыхательные упражнения, которые я и делала. В конце приступ обычно проходил. Смерть от удушья – новое явление, свойственное современной жизни, а тогда мы привыкли говорить, что «от астмы ещё никто не умирал».

Когда мы покидали Брайтон, на небе занимался красивый летний рассвет.

Мы медленно и величественно ехали на север, несколько раз останавливаясь, чтобы леди Чаттерли остыла. У подножья холмов Норт-Даунс она отказалась двигаться дальше.

– Все наружу. Придётся подтолкнуть, – весело крикнул водитель. Ему-то что: он думал остаться за рулём.

Солнце было уже высоко, летнее утро разливалось по пригородам. Мы все вылезли из машины. Опасаясь, что физические усилия вызовут новый приступ, я сказала:

– Я возьму руль. Вы можете толкать. Вы сильнее меня и не страдаете астмой.

Я сидела за рулём леди Чаттерли, а остальные толкали её вверх на Норт-Даунс. Сердце сжималось от жалости к бедным девушкам на шпильках, толкающим автомобиль, но я ничего не могла поделать, поэтому просто наслаждалась поездкой.

Отдых, должно быть, привёл старушку в себя, потому что, перевалив через гребень и скатившись вниз, она глубоко и с удовольствием чихнула, и двигатель вернулся к жизни. Дальше мы доехали до Лондона без особых неприятностей.

Все мы работали в то утро, в основном с девяти утра. Я должна была заступить на дежурство с восьми в далёком Ист-Энде. Вернувшись в Ноннатус-Хаус только после десяти, я ожидала серьёзных неприятностей. Но я ещё раз поняла, насколько нравы монахинь были либеральнее жёсткой больничной иерархии. Рассказав сестре Джулианне о ночных приключениях, я думала, она никогда не перестанет смеяться.

– Хорошо, что мы сейчас не перегружены, – прокомментировала она. – Вам лучше сходить принять горячую ванну и позавтракать, а то ещё сляжете с простудой. Можете начать утренний обход с одиннадцати и поспать днём. К слову сказать, мне нравится ваш Джимми.

Год спустя Джимми женился «по залёту». Содержать жену и ребёнка на стипендию он не мог, так что бросил учёбу на четвёртом курсе и устроился чертёжником в пригородный окружной совет.

Лет тридцать спустя я совершенно случайно столкнулась с Джимми на автостоянке «Теско». Он шатался под тяжестью огромной коробки, идя рядом с крупной и сердитой на вид женщиной, несшей растение в горшке. Она не переставая говорила что-то противным голосом, резанувшим мне слух ещё до того, как я их заметила. Джимми всегда был худощавым, но теперь выглядел болезненно тощим. Плечи ссутулились, седые волосы рассыпались по лысеющей голове.

– Джимми! – окликнула я, когда мы поравнялись.

Его бледно-голубые глаза посмотрели в мои, и между нами тут же вспыхнули тысячи воспоминаний о веселой беззаботной молодости. Его глаза загорелись, и он улыбнулся.

– Дженни Ли! – сказал он. – Сколько лет!

Женщина ткнула его пальцем в грудь:

– А ну-ка пошли, нечего трепаться. Ты же знаешь, сегодня вечером придут Тёрнеры.

Его светлые глаза, казалось, лишились остатка цвета. Посмотрев на меня в отчаянье, он произнёс:

– Да, дорогая.

Когда они отошли, я услышала, как она подозрительно спросила:

– Что это вообще за женщина?

– О, просто девушка, с которой я был знаком в старые времена. Между

нами ничего не было, дорогая.

И он зашаркал прочь, воплощение подкаблучника.

Лен и Кончита Уоррен

«Большие семьи, может быть, и норма, но это уже нелепость», – размышляла я, просматривая список своих дневных вызовов. Двадцать четвертый ребёнок! Наверняка какая-то ошибка, хотя это и не похоже на сестру Джулианну.

Должно быть, первая цифра неправильная.

Я укрепилась в своих подозрениях, когда открыла хирургические записи. Всего сорок два года, так что это невозможно. Всё-таки приятно видеть, что и другие ошибаются – не только я.

Мне предстояло нанести визит, чтобы оценить состояние матери и условия в доме с точки зрения допустимости домашних родов. Никогда этого не любила. Казалось такой наглостью просить осмотреть спальню, уборную, кухню, механизмы обеспечения горячей водой, люльку и постельное бельё для малыша, но ничего не поделаешь – надо. Всё могло оказаться весьма отвратительным, мы привыкли работать в довольно примитивных условиях, но если они действительно никуда не годились, мы имели право отказать в принятии родов на дому, и женщине приходилось отправляться в больницу.

Миссис Кончита Уоррен – необычное имя, думала я, катясь к Лаймхаусу. Большинство местных женщин звали Дорис, Вини, Этель (произносилось как «Эфф») или Герти. Но Кончита! Это имя дышало «сладостью южных стран... искрящейся, наполненной до края»^[17]. Что Кончита делала на серых улицах Лаймхауса, окутанных пеленой серого дыма, с серым небом над головой?

Я свернула с главной улицы в узкие проулки и с помощью незаменимой карты определила, где нужный мне дом. Это был один из лучших, бóльших домов – три этажа с полуподвалом, выходящим в сад. По две комнаты на каждом этаже и одна в полуподвале – итого семь комнат. Многообещающе.

Я постучала в дверь, но никто не открывал. Обычное дело, однако никто и не крикнул: «Заходи, милашенька». Мне слышался изрядный шум внутри, так что я снова постучала – сильнее. Никакого ответа. Ничего не оставалось, кроме как повернуть ручку и войти.

Узкий коридор был почти, но всё же не совсем непроходимым. Две стремянки и три большие коляски выстроились вдоль стены. В одной коляске беспокойно спал ребёнок семи или восьми месяцев. Вторая была

полна чего-то похожего на стираное белье. Третья – угля. В те времена коляски были очень большие, с огромными колёсами и высокими бортами, так что мне пришлось протискиваться мимо них боком. Лестница на второй этаж, тоже завешанная выстиранными пелёнками, виднелась прямо по курсу. Омерзительный запах мыла, влажного белья, детских испражнений и молока в сочетании с кухонными запахами казался мне тошнотворным. «Чем скорее я отсюда выберусь, тем лучше», – подумала я.

Шум доносился из полуподвала, но никакой лестницы вниз я пока не видела. Я заглянула в первую комнату по коридору. Очевидно, это было то, что моя бабушка назвала бы «салон», парадной гостиной, заставленной лучшей мебелью, безделушками и фарфором, с картинами, кружевом и, конечно, пианино. Такими салонами пользовались только по воскресеньям и особым случаям. Но если *эта* прекрасная комната и была когда-либо чьим-то «салон», то гордая хозяйка дома разрыдалась бы от её нынешнего вида.

Около полудюжины бельевых верёвок крепились к рейке для подвеса картин сразу под карнизом красиво оштукатуренного потолка. С каждой свисало бельё. Свет проникал сквозь единственную линияющую занавеску, которая, казалось, была приколочена к окну, прикрывая комнату с улицы; отдёрнуть занавеску, очевидно, не представлялось возможным. Деревянный пол был устлан всевозможным хламом: сломанные радиоприёмники, детские коляски, мебель, игрушки, штабель дров, мешок угля, остатки мотоцикла, инструменты, моторное масло, бензин... Помимо всего этого, в комнате обнаружили многочисленные жестянки из-под краски, выстроившиеся на верстаке, кисти, валики, тряпки, банки со спиртом, бутылки с растворителем, рулоны обоев, банки с засохшим клеем и ещё одна стремянка. В одном углу занавеска была подколота английской булавкой дюймов на восемнадцать, пропуская достаточно света, чтобы осветить новую швейную машинку «Зингер» на длинном столе. Выкройки, булавки, ножницы и нитки были разбросаны по всему столу, и там же – совершенно невероятно! – лежали несколько отрезков очень хорошего дорогого шёлка. Рядом со столом стоял портновский манекен. Столь же невероятным, а также единственным, что напоминало салон мой бабушки, оказался рояль, стоявший у одной из стен. Крышка клавиатуры была открыта, обнажая грязные жёлтые клавиши, местами с отбитой слоновой костью, но мои глаза были прикованы к названию производителя – «Стейнвей». Я не могла в это поверить – «Стейнвей» в такой комнате, в таком доме! Хотелось броситься его попробовать, но я искала путь в полуподвал, откуда доносился шум.

Покинув комнату, я заглянула в следующую по коридору. Там обнаружился проход в полуподвал. Спускаясь по деревянной лестнице, я топала и шумела, как только могла, – никто ведь не знал, что я зашла в дом, и я не хотела их напугать. Я громко крикнула:

– Здравствуйте!

Никакого ответа.

– Есть кто-нибудь? – бессмысленно добавила я.

Там явно кто-то был. И по-прежнему никакого ответа. Дверь внизу лестницы была приоткрыта, и мне ничего не оставалось, кроме как толкнуть её и войти.

Тут же воцарилась мёртвая тишина, и я почувствовала, как на меня воззрился десяток пар глаз. Большинство из них были широко распахнутыми невинными глазами детей, однако среди них оказались и угольно-чёрные очи красивой женщины с чёрными волосами, ниспадавшими ей на плечи тяжёлыми волнами. Она обладала прекрасной кожей – бледной, но слегка смугловатой. Точёные руки были влажными после стирального корыта, к пальцам прилипло мыло. Хотя она, очевидно, бесконечно занималась стиркой, женщина не выглядела неопрятной. Она была крупной, но не слишком. Грудь казалась упругой, бёдра – широкими, но не дряблыми. Цветастый фартук прикрывал простое платье, алая лента, стягивающая тёмные волосы, подчёркивала изысканный контраст между ними и кожей. Она была высокой, и наклон изящной головы на тонкой шее красноречиво говорил о гордой красоте испанской графини с поколениями аристократии за спиной.

Она не проронила ни слова. Дети тоже. Почувствовав себя неловко, я принялась лепетать, что я окружная акушерка, что стучала, но не получила ответа, и что хотела бы посмотреть комнаты на предмет пригодности для домашних родов. Она не ответила. Я повторила свою маленькую речь. По-прежнему молчание. Она просто смотрела на меня со спокойной сдержанностью. «Не глухая ли?» – задумалась я.

Тут двое или трое детей начали что-то говорить ей на беглом испанском. Прелестная улыбка расцвела на её губах. Шагнув ко мне, она проговорила:

– *Si. Bebé*^[18].

Я спросила, можно ли мне увидеть спальню. Никакого ответа. Я посмотрела в сторону ребёнка, который говорил с ней, девочки лет пятнадцати. Она объяснила матери по-испански, и та ответила с любезной учтивостью, слегка наклонив изящную голову:

– *Si.*

Стало ясно, что миссис Кончита Уоррен не говорит по-английски. За всё время, что я её знала, единственные слова, которые я от неё слышала, не считая диалогов с детьми, были *si* и *bebé*.

Эта женщина произвела на меня неизгладимое впечатление. Даже в 1950-х этот полуподвал считался бы убогим. Его беспорядочно заполняли каменная раковина, корыто, кипящий бойлер, каток для белья, висящие повсюду одежда и пелёнки, большой стол, заставленный кружками и тарелками с остатками еды, газовая плита с грязными кастрюлями и сковородками и смесь неприятных запахов. И тем не менее эта гордая красивая женщина держала всё под контролем и внушала уважение.

Мать поговорила с девочкой, и та провела меня наверх, на второй этаж. Передняя спальня оказалась вполне приличной, с просторной двуспальной кроватью. Я проверила её – не более провисающая, чем любая другая. Подойдёт. В комнате располагались три детских кровати, две деревянных кровати с откидными бортиками, одна люлька, два очень больших комода и маленький шкаф. Освещение было электрическим. Пол – покрыт линолеумом.

Девочка сказала:

– Мама уже всё подготовила, – и открыла ящик, полный белоснежных одежек для младенца.

Дальше – больше. Я попросила показать уборную. Там оказалась ванная – превосходно! Всё, что я хотела увидеть.

Когда мы покидали спальню, я мимоходом заглянула в комнату напротив – дверь оказалась приоткрыта. Туда было втиснуто три двуспальных кровати, а больше никакой другой мебели.

Мы спустились на два пролёта вниз, на кухню, стуча подошвами по деревянной лестнице. Я поблагодарила миссис Уоррен, заявив, что всё более чем удовлетворительно. Она улыбнулась. Дочь перевела ей, и она сказала:

– *Si*.

Мне следовало осмотреть женщину, произвести сбор акушерского анамнеза, но, очевидно, я не смогла бы это сделать, раз мы не понимали друг друга, и я даже представить не могла, как попросить одного из детей такое перевести. Поэтому я решила прийти ещё раз, когда дома будет отец семейства. Я спросила мою маленькую проводницу, когда он вернётся, и она ответила: «Вечером». Попросив её передать матери, что вернусь после шести, я ушла.

В то утро у меня было ещё несколько визитов, но я постоянно возвращалась мыслями к миссис Уоррен. Она была такой необычной. В

основном наши пациентки были лондонками, родившимися в том же районе, что и их родители, и бабушки с дедушками. Иностранцы были редкостью, особенно женщины. Все местные женщины жили общинной жизнью, бесконечно суя нос в дела друг друга. Но если миссис Уоррен не говорила по-английски, она не могла стать частью этого общества.

Кроме того, меня заинтриговало её тихое достоинство. Большинство женщин, которых я встречала в Ист-Энде, вели себя довольно шумно. А её латинская красота?! Средиземноморские женщины раньше стареют, особенно после родов, и обычно одеваются в чёрное с головы до пят. Но эта женщина была одета ярко, и на вид ей было не больше сорока. Возможно, яркое южное солнце старит кожу, а влажный северный воздух, напротив, сохранил.

Мне захотелось узнать о ней побольше, и я намеревалась как следует расспросить сестёр за ланчем. Ещё мне хотелось подразнить сестру Джулианну за то, что она написала «двадцать четвёртая беременность» вместо четырнадцатой.

Ланч в Ноннатус-Хаусе был главным приёмом пищи и общей трапезой сестёр и мирского персонала. Еда была простой, но хорошей. Я всегда с нетерпением его ждала, потому что всегда была голодной. Каждый день за стол усаживалось двенадцать, а то и пятнадцать человек.

После молитвы я объявила, что познакомилась с миссис Кончитой Уоррен. Сёстры её хорошо знали, хотя общаться толком не общались, ведь она не говорила по-английски. Видимо, она прожила бóльшую часть жизни в Ист-Энде. Как же тогда вышло, что она не выучила язык? Сёстры не знали. Предположили, что у неё не было в том нужды или склонности к изучению языков или она просто была не слишком умна. В последнем предположении могла быть доля истины: я и прежде замечала, что недалёкие люди могли сойти за умных, просто ничего не говоря. На ум сразу же пришла дочь архидиакона из романов Троллопа, у ног которой валялось всё барчестерское общество и Лондон, восхваляя её красоту и восхищаясь умом, хотя на самом деле она была откровенно глупа. Она добилась этой завидной репутации, сидя на позолоченных стульях, красиво выглядя и не говоря ни слова.

– Как вообще она попала в Лондон? – поинтересовалась я. Ответ на этот вопрос сёстры знали. Очевидно, мистер Уоррен был ист-эндцем, родившимся в доках и обречённым работать там же, где его отец и дядюшки. Но, став юношей, он превратился в бунтаря, не желающего жить по шаблону. Сбежал из дома и отправился на Гражданскую войну в Испании. Вряд ли он имел хоть малейшее представление о том, что делает,

ведь в 1930-х иностранные дела редко проникали в сознание рабочих. Политический идеализм мог не играть никакой роли: сражался ли он на стороне республиканцев или роялистов, было несущественно. Всё, чего он хотел, так это приключений, и война в далёкой романтической стране пришла как нельзя кстати.

Ему повезло выжить. И он не просто выжил, но и вернулся в Лондон с красивой испанской девочкой-крестьянкой одиннадцати или двенадцати лет. Они отправились в дом его матери и, очевидно, стали жить вместе. Можно только гадать, что родственники и соседи подумали об этом шокирующем происшествии, но мать приняла сына, и он не остался один на один со сворой сплетников. В любом случае, девочку едва ли можно было отправить обратно: он забыл, откуда она родом, а она, казалось, и сама не знала. Кроме того, он её любил.

Как только стало возможно, он на ней женился. Это оказалось не так-то просто: свидетельства о рождении не было, а сама она не была уверена в своей фамилии, дате рождения и происхождении. Однако, поскольку к тому времени у неё уже было три или четыре ребёнка, она выглядела на шестнадцать и, по-видимому, была католичкой, местного священника уговорили оформить наконец столь плодотворные отношения.

Я была очарована. Вот она, настоящая романтика. Деревенская девушка! Она, конечно, была похожа не на крестьянку, а на принцессу испанского двора, разогнанного республиканцами. Храбрый англичанин спас её и увёз с собою? Вот так история! Всё казалось таким необычным, и я с нетерпением ждала вечерней встречи с мистером Уорреном.

Тут я вспомнила о детях и дерзко заявила сестре Джулианне:

– Я тут поймала вас на ошибке. Вы указали в журнале дневных вызовов двадцать четвёртую беременность, тогда как имели в виду четырнадцатую.

В глазах сестры Джулианны вспыхнул огонёк.

– О нет, – возразила она, – это не ошибка. У Кончиты Уоррен действительно родилось двадцать три ребёнка, этот двадцать четвёртый.

Я опешила. Вся эта история была настолько невероятной, что и нарочно не придумаешь.

Когда я вернулась в их дом, дверь была открыта, так что я просто вошла. Жилище буквально изобиловало молодёжью и детьми. Утром я видела только совсем малышей и девочку-подростка. Теперь школьники вернулись с уроков, старшие, по-видимому, с работы. Все они выглядели настолько счастливыми, словно попали на вечеринку. Старшие таскали младших, некоторые играли на улице, некоторые, должно быть, делали уроки. У них не возникало совершенно никаких разногласий, и за всё

время, что я знала эту семью, никто не поссорился и не проявил дурного характера.

Протиснувшись мимо лестниц и колясок в коридоре, я отправилась вниз, к полуподвальной кухне. Лен Уоррен сидел на деревянном стуле у стола, со всеми удобствами куря самокрутку. Один ребёнок сидел у отца на колене, другой ползал по столу, и он подтягивал его обратно за штанишки, не давая свалиться. Парочка малышей сидела у него на ноге, и он покачивал их вверх и вниз, напевая: «Скачи, скачи, лошадка». Они умирали со смеху, так же, как и отец. Вокруг его глаз и носа от смеха разбегались морщинки. Он был старше жены, лет пятидесяти, не слишком симпатичный в общепринятом смысле, но такой искренний и открытый, такой откровенно весёлый, что, глядя на него, сердце радовалось.

Мы улыбнулись друг другу, и я сказала ему, что хотела бы осмотреть его жену и сделать записи.

– Хорошо. Кон готовит ужин, но я скажу ей, что она может оставить его на Вин.

Кончита казалась спокойной и сияющей, стоя у котла, в котором стирала утром, а теперь готовила огромное количество пасты. В те времена все пользовались медными котлами: они вмещали около двадцати галлонов^[19] и ставились на ножках над газовой горелкой. Опорожнить их можно было через приделанный спереди краник. Такие котлы предназначались для стирки, и я впервые видела, чтобы в них готовили, но, думаю, другого способа накормить такую большую семью не было. Это было необычно, но весьма разумно и практично.

– Во что, Вин, возьми-ка на себя ужин, справишься, красавица? Медсестра хочет поглядеть нашу маму. Тим, подь сюды, приятель, на-ка ребёнка и держи его подальше от котла. Мы ведь не хотим никаких приключений в дому, так ведь? И Дорис, милая, подсобика-ка Вин. А я провожу маму с медсестрой наверх.

Девочки быстро переговорили с матерью по-испански, и Кончита, улыбаясь, подошла ко мне.

Мы пошли наверх, по пути Лен постоянно болтал с разными детьми:

– Живенько, Сирил, живенько. Убери-ка грузовик со ступенек, ай да молодец. Мы ж не хотим, чтоб медсестра свернула шею, так ведь?

– Молодчинка, Пит. Делай уроки. Он учёный, наш Пит. Дайте ему время, и он станет профессором, вот увидите.

– Эй, Сью, красавица моя! Поцелуешь своего папулечку, а?

Он крайне редко переставал говорить. На самом деле, я бы даже сказала, что за всё время нашего знакомства Лен Уоррен ни разу не смолк.

Когда время от времени ему было нечего сказать, он свистел или пел – не выпуская тонкой самокрутки изо рта. В наши дни врачи категорически против курения в присутствии детей и беременных, но в 1950-х связи между курением и плохим самочувствием ещё не видели, и курили практически все.

Мы вошли в спальню.

– Конни, красавица, медсестра просто хочет посмотреть твой животик.

Он оправил постель, и Кончита легла. Он потянул вверх её юбку, остальное она сделала сама. Открылись растяжки на животе, но не чрезмерные. На вид это была её четвёртая беременность, но уж никак не двадцать четвёртая. Я пропальпировала матку – пять-шесть месяцев.

– Шевеления? – спросила я.

– О да, этот кроха и пинается, и извивается. Что твой футболист, особенно ночью, когда всем охота поспать.

Головка оказалась наверху, но этого следовало ожидать. Обнаружить сердцебиение плода не получилось, но раз он так пихается по ночам, то всё в порядке.

Я осмотрела всё остальное. Её грудь налилась, но осталась упругой – никаких опухолей или отклонений. Лодыжки не отекали. Выступило несколько варикозных вен, но ничего серьёзного. Пульс и кровяное давление были нормальными. Казалось, она в идеальном состоянии.

Я решила попробовать установить её срок. Полагаться только лишь на клиническое обследование ненадежно: на одном и том же сроке крупный ребёнок и маленький могут создать видимость четырех-шести недель разницы, так что для более точного определения нужны некоторые даты. Хотя, судя по семи-восемимесячному ребёнку, спящему внизу, вряд ли у Кончиты вообще были месячные.

Я не привыкла задавать столь деликатные вопросы мужчинам. В 1950-х такие темы никогда не поднимались в «смешанных компаниях», и я почувствовала, как заливаюсь краской.

– Ах, неа, ничё такого, – ответил он.

– Пожалуйста, не могли бы вы спросить её – она могла не упоминать этого при вас.

– Можете поверить мне, медсестра, она сто лет уж не кровила.

Пришлось оставить на этом тему. Если кто и знает, так это он, рассудила я.

Я упомянула, что каждый вторник у нас работает женская консультация и пациенткам лучше бы самим приходиться на осмотр. На лице Лена появилось сомнение.

– Ну, она не любит выходить, сами понимаете. Не говорит по-нашенски и всё такое. А я не хочу, чтоб она заплутала иль напугалась. К тому ж ей вон за сколькими ребятишками надо присматривать, сами понимаете.

Поняв, что не могу настаивать, я записала её на домашние предродовые осмотры.

За всё это время Кончита не сказала ни слова. Она просто улыбалась и безропотно позволяла трогать и тыкать себя, слушая, как о ней говорят на иностранном языке.

С грацией и достоинством встав с кровати, она пошла к комоду за расчёской. Расчёсанными её волосы казались ещё красивее, и я почти не заметила у неё седины. Поправив алую ленту, женщина с гордой уверенностью повернулась к мужу, который обнял её и пробормотал:

– Эт' моя Кони, моя девочка. Ох, какая ты красотка, моё сокровище.

Она довольно рассмеялась, угнездившись в его объятиях. И он обсыпал её поцелуями.

Столь неприкрытое проявление любви между мужем и женой было нехарактерно для Поплара. Какими бы ни были отношения наедине, на публике мужья всегда старались показать грубоватое безразличие, а то и непристойно подшучивали, что я находила весьма забавным, но о любви открыто не говорили. Ласковые же, нежные и любящие взгляды, которые Лен и Кончита бросали друг на друга, очень тронули меня.

Следующие четыре месяца я часто возвращалась в этот дом. Всегда по вечерам – чтобы поговорить о течении беременности с Леном. В любом случае мне нравилась его компания, болтовня, атмосфера в этой счастливой семье и хотелось узнать о них побольше, что оказалось нетрудно с учётом неуёмной говорливости Лена.

Он был маляром и обойщиком. Должно быть, хорошим: девяносто процентов его заказов поступало «с запада» – «из домов этих шишек», как он выражался. Трое или четверо старших сыновей работали вместе с отцом, и, по-видимому, он никогда не оставался без дела. При низких производственных затратах это, должно быть, приносило в семейный бюджет немало денег.

Лен отправлялся работать прямо из дома, из сарая на заднем дворе, где также держал свою тележку. Мастерские тех времён не могли позволить себе ни фургонов, ни грузовиков. У них были тележки, обычно деревянные, часто – самодельные. Лен смастерил свою из старой детской коляски, сняв обтянутый тканью кузов и приделав к высокому пружинящему основанию удлинённую деревянную конструкцию.

Получилось отлично. Пружины обеспечивали лёгкость передвижения, а огромные хорошо смазанные колёса позволяли легко толкать тележку. Отправляясь выполнять новый заказ, Лен и его сыновья загружали в неё всё необходимое и, толкая перед собой, выдвигались по адресу. Возможно, они проходили десятки миль, а то и больше, но это было частью их работы. В этом отношении малярам и обойщикам ещё повезло: работа занимала примерно неделю, и они могли оставлять свои инструменты в доме заказчика и добираться обратно на метро, доезжая до станции Олдгейт. Сантехникам, штукатурам и им подобным повезло меньше: их работа, как правило, занимала всего один день, так что вечером приходилось тащить все инструменты домой. В те дни по всему Лондону можно было увидеть рабочих, толкающих свои тележки. Им приходилось идти по проезжей части, что значительно затрудняло движение. Но водителям оставалось только воспринимать их как часть лондонского пейзажа.

Однажды я спросила Лена, призывали ли его на войну.

– Неа, франкисты постарались, – сказал он, указывая на ранение в ногу, сделавшее его негодным к военной службе.

– Во время войны семья оставалась в Лондоне? – продолжила расспросы я.

– Чёрта лысого, извиняюсь за выражение, медсестра, – ответил он. – Позволить немчуре забрать Кон и детей?

Он был проникательным, хорошо осведомлённым и, прежде всего, предприимчивым. В 1940-м Лен наблюдал неудачную стратегическую бомбардировку воздушных баз и полевых складов боеприпасов. Видел битву за Британию.

– И я подумал: этот скользкий чёртов Гитлер, он же не остановится, нет. Дальше он пойдёт в доки. Когда в 1940-м первая бомба упала на Миллуолл, я понял, что нас ждёт, и сказал Кон: «Я увезу тебя отсюда, моя девочка, и детей, и всё остальное».

Лен не стал ждать, когда начнётся эвакуация. С присущей ему энергичностью и предприимчивостью он сел на поезд от Бейкер-стрит и отправился из Лондона на запад, в Бакингемшир. Посчитав, что отъехал достаточно далеко, он вышел в многообещающей на вид сельской местности. Это оказался Амершам, сейчас практически ставший лондонским пригородом, до которого можно добраться по подземке по линии «Метрополитен». Но в 1940-м это была настоящая деревня, удалённая от Лондона.

Дальше Лен просто бродил по улицам, стучась в двери, объясняя хозяевам, что у него семья и он хочет выбраться из Лондона, спрашивая, не

найдётся ли для них комнатки.

– Должно быть, я обошёл тыщу мест. Бьюсь об заклад, они думали, что я сбрендил. Все сказали «нет». Некоторые не говорили, а просто шарахали дверью у меня перед носом. Но я не собирался сдаваться, нет уж. Мне просто казалось, что однажды кто-нибудь брякнет «да». Просто не раскисай, приятель, сказал я себе.

Так и ночь настала. Я протаскался по округе весь день, а видел только захлопывающиеся перед носом двери. Сказать по правде, чувствовал я себя паршивенько. Ну и потопал обратно на станцию. Пригорюнился совсем, скажу я вам. Иду себе по улице, а кругом всё магазины с квартирами наверху – никогда не забуду. Я в квартиры-то не стучался, только в дома, где побольше комнат.

Тут одна дама – вовек её не забуду – заходит в дверь рядом с магазином, а я и говорю ей попросту: «Нет ли у вас комнаты для меня, леди?» Я был в отчаянье, и спросил её, а она возьми и ответь «да».

– Та дама была ангелом, – задумчиво проговорил он. – Без неё мы б все умерли, как пить дать.

Это произошло в субботу. Он договорился с женщиной, что соберёт всех своих домочадцев за воскресенье и приедет к ней в понедельник. Так они и сделали.

– Я сказал Конни и детям, что мы едем на каникулы в деревню.

И объявил домовладельцу, что они уезжают. Они оставили всю свою мебель и забрали только то, что смогли унести.

Дама разместила их в комнате, которую называла «задней кухней», – в довольно вместительной комнате на первом этаже, выходящей в небольшой дворик, с проходом в квартиры выше и магазин сбоку. Там был каменный пол, раковина с холодной водой, бойлер и газовая плита. Под лестницей стоял большой шкаф, но не было отопления, не было даже розетки для электрического обогревателя. Однако был электрический свет и уборная на улице. Но никакой мебели. Не знаю, что обо всём этом подумала Кончита, но она была молода и хорошо приспособлялась. Рядом был муж и дети – а что ещё имеет значение?

Они прожили там три года. Лен несколько раз ездил в Лондон, чтобы привезти какую-то мебель и постели – что помещалось в тележку. Вскоре к ним присоединилась его мать.

– Разве я мог оставить старуху проклятой немчуре?

Очевидно, его мать проводила ночи и большую часть дня в кресле в углу. Старшие дети пошли в школу. Лен устроился молочником. Он никогда не имел дела с лошадьми, но ему досталось послушное старое

создание, хорошо знавшее маршрут, и Лен со свойственной ему проворностью вскоре всему научился и заколесил, насвистывая, по улицам. Дети ходили с ним, когда могли, и чувствовали себя царями горы, сидя высоко позади лошади.

Кончита присматривала за детьми и занималась стиркой и уборкой у приютившей их дамы. Всё было отлично, с какой стороны ни посмотри. Родилось ещё двое детей.

Когда они ждали девятого ребёнка, местный эвакуационный комитет посчитал, что семье Лена нужно больше места, и выделил им две комнаты, кухню и ванную. Сегодня это звучит довольно удручающе – всего две комнаты для троих взрослых и восьмерых детей, но на самом деле им повезло. Времена стояли тяжёлые. Все, наверное, видели душераздирающие старые кинохроники – поезда, забитые ист-эндскими детьми с бирками и небольшими мешочками, покидающие Лондон. Благодаря же отцу, дети Уорренов не разлучались с родителями на протяжении всей войны.

У Лена и Кончиты рождались красивые дети. Многие из них могли похвастаться иссиня-чёрными волосами и огромными тёмными глазами, как у матери. Старшие девочки были ослепительны и легко могли бы стать моделями. Все дети говорили на любопытной смеси кокни и испанского. С мамой они говорили только по-испански; с отцом, как и с любым другим англичанином, на чистейшем кокни. Меня это двуязычие очень впечатлило.

У меня не было возможности познакомиться поближе с кем-нибудь из них, главным образом потому, что их отец никогда не замолкал и развлекал меня своими рассказами. Мне удалось немного сойтись только с Лиззи. В свои двадцать она была очень опытной портнихой. Я всегда любила наряды и стала её постоянной клиенткой. За несколько лет она сшила мне множество красивых вещей.

В доме всегда было людно, но, насколько я могла судить, не случилось никаких конфликтов. Если между младшими детьми возникал спор, отец добродушно говорил: «Не, не, давайте-ка обойдёмся без этого», и все слушались. Я видела, как воюют между собой братья и сёстры, особенно живущие в тесноте, но только не дети Уорренов.

Для меня осталось загадкой, где они все спали. Я видела одну спальню с тремя двуспальными кроватями. По-видимому, две спальни наверху были такими же, и все дети спали вместе.

В последний месяц беременности Кончиты я приходила к ним каждую неделю. Однажды вечером Лен предложил мне поужинать с ними. Я была

в восторге. Еда чудесно пахла, и я, как обычно, была голодна. Я не брезговала пищей, приготовленной в котле, в котором утром стирали пелёнки, и с удовольствием согласилась. Лен объявил:

– Кажется, медсестра не отказалась бы от тарелочки. Лиззи, красавица, принеси-ка.

Лиз навалила в тарелку пасты и дала мне вилку. Только в этом Кончита раскрыла своё крестьянское происхождение. Вся её семья ела из одной тарелки. Две большие неглубокие посуды, старомодные чаши для умывания, которые раньше стояли в каждой спальне, были наполнены пастой и выставлены на стол. У каждого члена семьи была своя вилка, и он ел ею из общей миски. Отдельную тарелку дали только мне. Я уже сталкивалась с подобным, когда жила в Париже и проводила выходные с итальянской крестьянской семьёй, переехавшей туда в поисках работы. Они точно так же ели из одной тарелки, стоящей посреди стола.

Настало время Кончитиных родов. Ориентировочных дат не было, следовательно, не было и уверенности, когда ей рожать, но головка ребёнка опустилась, да и выглядела Кончита так, словно отхаживала последние дни.

– Пора бы этому малышу поторапливаться. Она устала. Погожу-ка пока ходить на работу, ребята и сами управятся. А я присмотрю за Конни и детьми.

Так Лен, к моему удивлению, и сделал. В те дни ни один уважающий себя мужчина Ист-Энда не стал бы унижаться, занимаясь так называемой «женской работой». Большинство мужчин не убирали за собой со стола, даже грязных носков с пола не поднимали. Но Лен делал всё. Кончита нежилась по утрам в постели или сидела на кухне в удобном кресле. Иногда играла с малышами, но Лен следил за ними и, стоило детям слишком расшуметься, решительно забирал их и развлекал в другом месте. Ему помогала Салли, пятнадцатилетняя девочка, уже окончившая школу, но ещё не поступившая на работу. Впрочем, Лен мог делать всё сам: менять пелёнки, кормить малышкой, убираться, ходить за покупками, готовить и бесконечно стирать и гладить, сопровождая всё пением, свистом и неизменно хорошим настроением. Кстати, он был единственным человеком, которого я знала, кто умудрялся крутить самокрутку одной рукой и кормить ребёнка – другой.

Двадцать четвёртый ребёнок Кончиты родился ночью. Звонок, сообщивший, что воды отошли, поступил около одиннадцати вечера.

Я гнала к Лаймхаусу так быстро, как только могла, предполагая, что

роды пройдут быстро. И оказалась права.

Я нашла всё в идеальной готовности. Кончита лежала на чистых простынях, с коричневой бумагой и клеенкой под нею. В комнате было тепло, но не жарко. Ребёночка ждали кровать и одежды. На кухне кипятилась вода.

Лен сидел подле жены, массируя ей живот, бёдра, спину, грудь, протирая лицо и шею куском холодной фланели, крепко обнимая с каждой схваткой и ободряюще бормоча:

– Ты моя девочка... Ты моя любимая... Осталось чуток. Я держу тебя. А ты просто держись за меня.

Увидев его там, я была поражена. Я ожидала соседку, мать или старшую дочь. Я никогда не видела рядом с роженицей мужчин, не считая врачей. В этом, как и во всём остальном, Лен был исключением.

Беглого взгляда хватило, чтобы понять, что Кончита близка ко второму этапу. Я быстро переделась и разложила свой поднос. Сердцебиение плода было стабильным, головка едва прощупывалась. Должно быть, уже легла на тазовое дно. Когда отходили воды, я не делала влагалищного осмотра без особой на то необходимости, потому что любое такое вторжение угрожало занесением инфекции. Схватки шли через каждые три минуты.

Кончита покрылась потом и постанывала, но не слишком сильно. Между схватками она улыбалась мужу, полностью расслабляясь в его руках. Болеутоляющих она не принимала.

Нам не пришлось долго ждать. На её лице отразилось крайнее сосредоточение, она закричала от натуги, и с очередным толчком ребёнок целиком вышел. Он был очень маленьким, и роды прошли так быстро, что мне оставалось только поймать его. Крошка оказался на простыне безо всякой моей помощи. Я прочистила дыхательные пути, и Лен протянул мне зажим для пуповины и ножницы, в совершенстве зная, что делать. Думаю, он мог бы и сам принять роды. Плацента тоже вышла довольно быстро и без обильного кровотечения.

Лен нежно завернул ребёнка в тёплые одеяла и уложил в люльку. Он крикнул вниз, чтобы принесли горячей воды, и сообщил, что родилась девочка. Затем обмыл жену и ловко поменял простыни. Причесал её чёрные волосы и перевязал белой лентой, подходящей к белой ночной рубашке. Он называл её любимицей, любимой, сокровищем, а она ему мечтательно улыбалась.

Лен крикнул вниз одной из дочерей:

– Эй, Лиз, возьми-ка эти простыни и положи в бойлер, хорошо,

красавица? А потом можно бы выпить по чашечке чая, а?

Потом вернулся к жене, взял ребёнка из колыбели и протянул ей. Кончита удовлетворённо улыбнулась, прикасаясь к крохотной головке, и поцеловала свою дочку в личико, ничего не говоря, просто довольно посмеиваясь.

Лен же был в полном восторге и снова начал балаболить. Во время родов он едва ли сказал хоть слово. Это был единственный раз на моей памяти, когда он так надолго замолчал. Теперь же его ничто не сдерживало.

– Ой, глядите на неё. Только глядите на неё, медсестра. Разве не красавишна? Глядите на эти ручки, на эти ноготочки. Ой, она разинула ротик! Ах, ты моя сладенькая... Глядите, у неё реснички длиннющие, как у мамы. Лучшей просто не бывает.

Лен был взволнован, словно молодой отец первого ребёнка.

Он позвал всех остальных детей, и они расселись вокруг матери, болтая на смеси испанского с английским. Спали только малыши, остальные бодрствовали и радовались.

Я собрала инструменты и тихонечко выскользнула из комнаты, чувствуя, что единство и счастье семьи станет ещё сильнее, если меня там не будет. Увидев, что я ухожу, Лен вежливо вышел со мной. Когда мы покинули комнату, я услышала, что разговор полностью перешёл на испанский.

Он поблагодарил меня за всё, что я сделала, хотя по сути я не сделала ничего. Снося мою сумку вниз по лестнице, он спросил:

– Давайте-ка выпьем по чашечке чая, а, медсестра?

Всё наше чаепитие он радостно проболтал. Я призналась ему, как полюбила и заважала его семью. Он мог ею гордиться. Я сказала, как впечатлена тем, что все они так складно говорят по-испански.

– Мои дети очень башковитые, эт' точно. Башковитей, чем их старик. Я-то так и не одолел этот язык.

И внезапно меня ослепило озарение – мне открылся секрет их счастливого брака. Она не говорила ни слова по-английски, а он – по-испански.

Сестра Моника Джоан

– Свет – высший уровень, жизнь – нижний, свет становится Жизнью. Пламенная вспышка, дарованное видение, золотой миг жертвоприношения.

Я могла бы слушать её весь день – красивый переливистый голос, порхающие руки, прикрытые глаза, надменно изогнутые брови, складки на покрывале, когда она поворачивала длинную шею. Ей было за девяносто, и разум её помутился, но я была совершенно очарована.

– Сияющие вопросы, бесконечные ответы, астро-ментальная проекция человека, заключённая в эфире. Внешняя тьма – это чудовищный дракон, поедающий свой хвост. Ты знала?

Я сидела у её ног, околдованная, и качала головой, боясь разрушить волшебство, заговорив.

– Это космическое тело, критическая точка, трансляция текущего параллелизма в нейтральный центр исчезающей точки. Видала ли ты, как облака проходят, плывут и вращаются, словно планеты? Так мы видим, как приходит Он, пронзённый. Я – шип, пронзивший его чело. Чувствуешь запах горелого, дорогая?

– Нет. А вы?

– Думаю, ариманическое бессознательное миссис Би побудило её испечь пирог. Пойдём-ка во имя Господа. Думаю, мы должны провести расследование, а ты?

Я бы предпочла продолжить слушать её, но знала, что если волшебство разрушилось, оно не вернётся – до поры до времени, – а перед запахом пирога сестра Моника Джоан не могла устоять. Она одобрительно улыбнулась:

– Пахнет медовыми коврижками миссис Би. Ну же, шевелись, хватит сидеть сиднем!

Она вскочила и быстрой лёгкой походкой, высоко подняв голову, выпрямив спину, помчалась в сторону кухни.

Миссис Би повернулась, когда она вошла:

– Приветствую, сестра Моника Джоан. Вы рановато, они ещё не готовы. Но я оставила вам миску из-под теста, если хотите.

Сестра Моника Джоан накинулась на миску, словно недели две не ела, и принялась скоблить большой деревянной ложкой, облизывая её с обеих сторон с восторженным бормотанием.

Миссис Би подошла к раковине и взяла мокрую тряпку.

– Ох, сестра, вы перепачкали себе всё одеяние и немного покрывало. Оботрите пальцы, вот так, хорошая девочка. Вы же не пойдёте так на час третий, правда? А колокол прозвонит с минуты на минуту.

Колокол прозвонил. Сестра Моника Джоан быстро оглянулась и подмигнула:

– Я пошла. А вы теперь можете помыть мыску. О, восторг Небесный, сферы движутся, и крошечные песчинки касаются звёзд. Феникс восстает из живого пламени, и крики Цереры... не забудьте оставить хрустяшек на мою долю.

Она поспешила прочь из кухни, и миссис Би с любовью открыла ей дверь.

– С ней не соскучишься, вот уж точно. Ты ведь и не подумала бы, что она прошла в доках обе Мировые войны и Депрессию? Приняла тысячи наших детей. Не хотела уходить во время «Большого блица». Принимала детей в бомбоубежищах и церковных криптах, а однажды – в том, что осталось от разбомбленного дома. Благослови её Бог. Если она хочет хрустяшек, я их ей наделаю.

Я часто слышала подобные истории от многих людей – о её многолетней самоотверженной работе, преданности, целеустремлённости. В Попларе все знали и любили сестру Моника Джоан. Я слышала, что она вышла из очень аристократической английской семьи, возмутившейся, когда в 1890-х она объявила, что собирается стать монахиней. Разве её сестра не была графиней, а мать – леди с титулом по собственному праву? Как она могла так их обесчестить? Десять лет спустя, когда она стала одной из первых акушерок в стране, родня молча негодовала. Но совсем её отсекали, когда она вступила в религиозный орден и начала работать в Ист-Энде.

За ланчем мы единственный раз в день собирались все вместе. Большинство монашеских орденов принимают пищу в тишине, но в Ноннатус-Хаусе говорить разрешалось. Мы стояли, пока не приходила сестра Джулианна и не читала молитву, потом садились. Миссис Би вкатывала свою тележку, и, как правило, сестра Джулианна вместе с ещё одним человеком прислуживали, разнося тарелки. Темы для разговоров были общими: здоровье матери сестры Бернадетт, двое гостей, которых ждали на чаепитие.

Сестра Моника Джоан была капризна. Она не могла есть отбивные из-за зубов и не любила фарш. Капусту она вообще не выносила. Приходилось ждать пудинга.

– Возьмите немного картофельного пюре, дорогая, с луковым соусом. Вы же знаете, как любите луковый соус миссис Би. И вам нужен белок, вы же знаете.

Сестра Моника Джоан вздохнула, словно на неё обрушилась вся несправедливость мира.

– Постой и подумай! Жизнь – всего лишь день, хрупкая капля, уходящая в тень^[20].

– Да, дорогая, я знаю, но немного картофельного пюре не помешает.

Не выпуская вилки из рук, сестра Евангелина приостановилась и фыркнула:

– А что за хрупкая капля?

Сестра Моника Джоан, позабыв капризы, едко сказала:

– Китс, моя дорогая, Джон Китс. Наш величайший поэт, хотя вы, возможно, этого и не знаете. Ох, не следовало мне говорить ничего про хрупкие капли. Это я оговорилась.

Она вытащила прекрасный батистовый носовой платок и изящно приложила его к носу. У сестры Евангелины начала краснеть шея.

– С вашего языка оговорочки так и сыплются, если хотите знать моё мнение, дорогая.

– Никто не спрашивал вашего мнения, дорогая, – очень, очень тихо проговорила Моника Джоан, обращаясь к стене.

Сестра Джулианна поспешила вмешаться:

– А ещё я положила вам несколько свежих морковок. Я же знаю, что вы любите морковь. А знаете, что в этом году у пастора в классе конфирмантов семьдесят два ученика из молодёжного клуба? Вообразите только! И всё это ляжет на плечи викариев, помимо основной работы.

Все заинтересованно и одобрительно забормотали о размере класса конфирмантов, а я наблюдала, как сестра Моника Джоан указательным пальцем гоняет морковь по тарелке. Её руки – кости и вены, обтянутые прозрачной кожей, – притягивали взгляд. Ногти, как правило, были длинными, потому что она не трудилась их обстригать и сопротивлялась, если кто-нибудь хотел это сделать. Указательные пальцы на обеих руках были удивительными. Она могла согнуть только первые фаланги, сохраняя остальную часть пальца выпрямленной. Тихонечко наблюдая за ней, я попыталась сама так сделать, но не смогла. На кончики пальцев сестры попала подливка, и она их облизала. Кажется, ей понравилось, и она немного просветлела. Снова обмакнула палец. Между тем разговор свернул к предстоящему благотворительному базару.

Сестра Моника Джоан взяла вилку, съела всю картошку с подливкой,

но не морковь и с тяжёлым вздохом отодвинула тарелку подальше. Очевидно, она о чём-то задумалась. Повернувшись к сестре Евангелине, она громко, но сладчайшим своим тоном проговорила:

– Китс, должно быть, не в вашем вкусе, – может, вы восхищаетесь Лиром, дорогая?

Сестра Евангелина поглядела на неё с оправданным подозрением. Инстинкт подсказывал, что это ловушка, но она не обладала ни красноречием, ни остроумием, только тяжёлой, увесистой честностью. И двинулась прямо в силлок:

– Кем?

Худший ответ из возможных.

– Эдвардом Лиром, дорогая, одним из наших величайших комических поэтов, «Кот и Сова», вы же знаете. Думаю, вас особенно мог бы восхитить «Донг с фонарём на носу», дорогая.

Все за столом ахнули от такого хамства. Лицо сестры Евангелины залила краска, в глазах заблестела влага. Кто-то сказал: «Передайте, пожалуйста, соль», а сестра Джулианна быстро спросила: «Кто хочет ещё отбивную?» Сестра Моника Джоан лукаво посмотрела на сестру Евангелину и пробормотала, словно бы про себя:

– О боже, снова Китс и его капля. – И, достав платок, она начала чуть слышно напевать: – Колокольчик тревожно звонит, в колодце котёнок сидит...

Сестра Евангелина, чуть не взрываясь от бессильной ярости, шумно отодвинулась на своём стуле от стола.

– Кажется, звонит телефон, пойду отвечу, – пробормотала она, покидая трапезную.

В воздухе повисло напряжение. Я искоса взглянула на сестру Джулианну, гадая, что же она будет делать. Старшая сестра выглядела чрезвычайно сердитой, но не могла ничего сказать сестре Монике Джоан при нас. Другие сёстры в замешательстве уткнулись в свои тарелки. Сестра Моника Джоан сидела очень прямо и надменно, прикрыв глаза. Ни один мускул не дрогнул на её лице.

Я часто о ней думала. Её разум явно помутился, но сколько в этом было маразма, а сколько – простого озорства? Это беспричинное, ничем не спровоцированное нападение на сестру Евангелину казалось заранее спланированным. Почему она так поступила? История её более чем пятидесятилетней самоотверженной преданности беднейшим из беднейших предполагала святость. Тем не менее она сидела здесь, намеренно унижая свою сестру в Боге перед всем остальным персоналом,

включая миссис Би, только что принёсшую пудинг.

Сестра Джулианна встала и взяла поднос. Раздачу пудинга можно было использовать как необходимый акт диверсии. Сестра Моника Джоан знала, что в воздухе витает неудовольствие. Обычно пудинг сперва подавался ей, с предоставлением права выбора порции, но на этот раз её обслужили последней. Она сидела с отстранённым видом и как будто бы не замечала этого. В любой другой ситуации она бы, горько жалуясь, слопала свой пудинг и попросила бы добавки. Но не сегодня.

Сестра Джулианна взяла последнюю миску, положила в неё рисовый пудинг и тихо проговорила:

– Передайте сестре Монике Джоан, пожалуйста. – А потом: – Я пойду проведу сестру Евангелину, если позволите. Сестра Бернадетт, можно попросить вас прочитать благодарственную молитву?

Она поднялась, прочитала личную молитву, перекрестилась и ушла.

Раздалось несколько бессвязных замечаний, что чернослив немного жестковат и интересно, пойдёт ли дождь во время вечернего обхода, но все мы чувствовали себя немного неловко и радовались, что обед закончился. Сестра Моника Джоан поднялась, царственно тряхнув головой, и особенно нарочито крестилась во время молитвы.

Бедная сестра Евангелина! Она была неплохой и уж точно не заслуживала мучений, которые причиняла ей сестра Моника Джоан. Конечно, у неё был малость красный нос, но чтобы назвать его «фонарём»... Она была тяжёлой и медлительной и умом, и телом. Её большие плоские ноги тяжело шлёпали при ходьбе. Она грохала вещи на стол, вместо того чтобы ставить. Плюхалась в кресло, а не садилась. Я видела, как сестра Моника Джоан наблюдала все эти особенности с поджатыми губами, подбирая юбки, когда тяжёлые ноги сестры Евангелины проходили мимо. Она, такая лёгкая, такая изящная,двигающаяся с такой грацией, казалось, не могла терпеть физические недостатки других и называла её прачкой или женой мясника.

Что касается остроты ума, то и тут сестра Евангелина не выдерживала сравнений с сестрой Моникой Джоан. Она думала медленно и чересчур тщательно, целиком поглощённая практической стороной дела. Сестра Евангелина была внимательной трудолюбивой акушеркой и честной и праведной монахиней, но я сомневаюсь, чтобы за всю её жизнь у неё возникла хоть одна оригинальная идея. Сестра Моника Джоан, напротив, блистала умом и мудростью, восхищая своей интеллектуальной гимнастикой, скачущей от христианства к космологии, от астрологии к мифологии. Всего этого, сваленного в кучу вместе с поэзией и прозой и

спутавшегося в сознании, находящемся на грани распада, было слишком много для сестры Евангелины. Она просто тупо моргала, стоя с открытым ртом, или непонимающе фыркала и топала прочь из комнаты. Несомненно, сестра Евангелина несла свой крест, на вершине которого громоздилась сестра Моника Джоан, хихикая и подмигивая, пиная её пятками, восторгаясь очередным своим ехидным замечанием, вроде:

– Кажется, гром гремит... Ах, это всего лишь вы, дорогая. Погода немного неустойчива, не правда ли, милая?

В ответ сестра Евангелина могла только скрипеть зубами и убираться восвояси. Ей никогда не удавалось взять верх, как бы она ни старалась. Обладай она чувством юмора, у неё ещё был бы шанс разрядить ситуацию смехом – но я никогда не видела, чтобы сестра Евангелина смеялась сама по себе, что бы ни случилось. Сперва она смотрела на остальных, чтобы убедиться, что это действительно забавно, и лишь затем присоединялась к общему веселью. Сестра Моника Джоан потешалась и над этим:

– Колокольчики звенят, звёздочки весело хохочут. Маленькие ангелочки хлопают крылышками и смеются в небесной гармонии. Сестра Евангелина – маленький херувимчик, и звенящий звук её смеха оглашает изменчивую Вселенную вечной неизменностью. Правда, дорогая?

Бедная сестра Евангелина могла только мрачно отвечать:

– Не понимаю, о чём вы.

– Ах, пока, пока, конечно, не звезда, плод радости, шелуха безысходности...

Сестра Джулианна изо всех сил старалась сохранить мир между двумя сёстрами, но не очень успешно. Как можно вынести выговор девятилетней помешанной? Да и что это даст? Уверена, сестра Джулианна, как и я, не знала, сколько в её поведении было маразма, а сколько умышленных козней; в любом случае, рассудок сестры Моника Джоан вспыхивал и угасал прежде, чем она могла с этим что-то поделать. И страдания сестры Евангелины продолжались.

Монашеские обеты бедности, целомудрия и послушания тяжелы, весьма тяжелы. Но ещё тяжелей день за днём жить под одной крышей со своими сёстрами в Боге.

Мэри

Она, должно быть, специально перехватила меня, когда я вышла из автобуса у туннеля Блэкуолл. Было около половины одиннадцатого вечера, и я возвращалась из недавно открывшегося «Фестиваль-холла». Наверное, я выглядела нарядней остальных, что для неё означало богаче. Подойдя ко мне, она проговорила тихо, с напевным ирландским выговором:

– Не разменяете ли пять фунтов?

Я была поражена. Разменять пять фунтов! Сомневаюсь, что у меня оставалось три шиллинга до конца недели. Это как если бы сегодня кто-нибудь остановил вас на улице с просьбой разменять пятьсот фунтов.

– Нет, у меня нет, – резко ответила я.

Голова наполнилась музыкой, и я мысленно прокручивала концерт снова и снова. Возиться с незнакомцами, задающими глупые вопросы, совсем не хотелось. Но она так отчаянно вздохнула, что я не могла не взглянуть на неё снова.

Она оказалась очень маленькая и худенькая, с идеально овальным лицом, словно сошла с полотна прерафаэлитов. С одинаковым успехом ей могло быть как четырнадцать, так и двадцать лет. Пальто на ней не было, только тонкий, совершенно не годящийся для такого прохладного вечера жакет. Она не носила ни чулок, ни перчаток, руки её дрожали. Она выглядела очень бедной, истощённой девочкой – но, очевидно, имела пять фунтов.

– Почему бы тебе не разменять их в кафе?

Она воровато огляделась:

– Не смею. Кто-нибудь увидит меня и заявит. Тогда меня поколотят или убьют.

Я догадалась, что она, наверное, украла деньги. Краденное не имеет никакой ценности, если не можешь избавиться от него. Не думаю, что у неё возникли бы с этим проблемы, но девушка явно была слишком напугана, чтобы попробовать. Что-то заставило меня спросить:

– Ты голодна?

– Не ела ни сегодня, ни вчера.

Не ела сорок восемь часов с пятью фунтами в кармане. Всё страньше и страньше, как говорила Алиса гусенице.

– Слушай, пойдём в кафе и купим тебе поесть. Я расплачусь твоими

пятью фунтами, и все подумают, что они мои. Как тебе такой план?

Лицо девочки осветилось радостной улыбкой:

– Тогда вам лучше взять их сейчас, чтобы никто не увидел, как я передаю их вам.

Она огляделась и сунула мне в руку огромную белую хрустящую банкноту. Какая доверчивая, подумала я. Страшится кого-то, но не боится, что я прикарманю эти пять фунтов и сбегу.

В кафе мы заказали ей стейк, два яйца, картошку и горох. Она сняла жакет и села. Тогда-то я и увидела, что она беременна. Обручального кольца на пальце не было. Беременность вне брака в те времена считалась страшным позором. Уже не таким страшным, как за двадцать или тридцать лет до этого, но впереди её ожидали непростые времена.

Она ела с голодным сосредоточением, а я, глядя на неё, потягивала кофе. Её звали Мэри, и она была настоящей ирландской красавицей: рыжевато-коричневые волосы, тонкая кость, бледная кожа. Она могла быть кельтской принцессой или отпрыском пьяного ирландского землекопа, трудно сказать, – возможно, особой разницы и нет, подумалось мне.

Утолив первый голод, она поглядела на меня с улыбкой.

– Откуда ты? – спросила я.

– Из графства Мейо.

– Ты когда-нибудь бывала вдали от дома?

Она потрясла головой.

– Твоя мама знает, что ты беременна?

Страх, вина и обида наполнили её прекрасные глаза. Её губы сжались.

– Послушай, я акушерка. Я замечаю такие вещи – меня этому учили.

Однако я думаю, что больше пока никто не заметил.

Её лицо стало менее напряжённым, так что я снова спросила:

– Твоя мама знает?

Она покачала головой.

– Что ты собираешься делать? – продолжила расспрашивать я.

– Не знаю.

– Тебе придётся вернуться домой, – сказала я. – Лондон – большой страшный город. Ты не сможешь воспитывать здесь ребёнка самостоятельно. Тебе нужна материнская помощь. Придётся ей рассказать. Она поймёт. Знаешь, матери почти никогда не оставляют своих дочерей в беде.

– Я не могу вернуться домой. Это невозможно, – возразила она.

Она явно не собиралась больше обсуждать эту тему, так что я спросила:

– Как ты попала в Лондон и зачем вообще сюда приехала?

Она немного расслабилась и выглядела более расположенной к беседе. Я заказала ей яблочный пирог и мороженое. Медленно, кусочек за кусочком, история Мэри вышла наружу. Меня настолько очаровала переливчатая музыка её голоса, что я бы слушала её всю ночь, независимо от того, читала бы она список отданного в прачечную белья или рассказывала старую, как мир, печальную историю своей жизни.

Она была старшей из пятерых выживших детей. Восемь её братьев и сестёр умерли. Её отец был работником на ферме и резчиком торфа. Они жили в, как она выразилась, «хижине». Мать работала прачкой в «большом доме». Когда Мэри было четырнадцать, отец заболел воспалением лёгких и умер. Семья осталась без защитника. Хижина была прикреплена к земле, на которой трудился отец, а так как ни один из сыновей ещё не дорос до того, чтобы работать вместо него, семью выселили. Они переехали в Дублин. Мать, деревенская женщина, которая никогда не уезжала далеко от гор и лугов, среди которых выросла, никак не могла приспособиться к чуждой ей обстановке. Они нашли временный приют в доходном доме, и поначалу мать занялась стиркой или, во всяком случае, попыталась, но вокруг оказалось столько бедняков и такая конкуренция со стороны других женщин, что вскоре она отказалась от борьбы. Они не смогли платить арендную плату, и их снова выселили. Мэри устроилась на завод – шестьдесят часов в неделю за гроши. Мик, её тринадцатилетний брат, бросил школу и, соврав про возраст, получил работу на кожевенном заводе. Для обоих это был рабский детский труд.

Совместных усилий брата и сестры хватило бы, чтобы держать семью на плаву, если бы не мать.

– Моя бедная мама! Я ненавижу её за то, что она сделала с нами, хотя на самом деле не могу ненавидеть. Она так и не смогла позабыть холмов и бескрайнего неба, криков кроншнепа и жаворонка, моря и ночной тиши.

Её голос походил на грустный, жалобный плач гобоя, выбивающийся из оркестра.

– Поначалу она просто пила «Гиннесс», заявляя, что «ей так хорошо». Потом принялась за любой старый кислый портер, который могла получить. Затем пошёл ирландский самогон, который гнал один заточник. Не знаю, что она пьёт сейчас. Наверно, денатурат с холодным чаем.

Директриса школы сообщила, что трое младших детей прогуливали занятия, а когда являлись, были оголодавшими и полуголыми. Их отняли у матери и поместили в детский дом. Она, кажется, даже не заметила, что они пропали. Она уже связалась с другим мужчиной.

– Это, наверное, хорошо, что их забрали: у меня две маленькие сестры,

и я не хочу, чтобы то, что случилось со мной, случилось и с ними.

Я содрогнулась. Мне доводилось слышать от представителей социальных служб, что, если мать приводит в дом другого мужчину, это часто становится смертным приговором для детей.

– Он был крупным мужчиной. Я никогда не видела его трезвым. И я ничего не могла поделать. Я никогда не думала, что что-либо может быть настолько ужасным. Он делал это снова и снова, пока я не привыкла. Когда он начал бить нас с мамой всем, что под руку подвернётся, я поняла, что должна уехать. Мама, казалось, не замечала ударов – думаю, она была слишком пьяна, чтобы что-нибудь чувствовать. Но я не была. Я думала, он убьёт меня.

Собрав все свои вещи в узелок, она пару ночей провела на улицах Дублина, но мыслями была в Лондоне. Она спросила:

– Знаете сказку про Дика Уиттингтона и его чёрную кошку? Мама часто нам её рассказывала, и я всегда думала, что Лондон – чудесное место.

Она сходила в доки и узнала, сколько стоит доплыть до Англии – три её недельные зарплаты. Так что она вернулась на фабрику: днём работала, ночью спала в кладовой.

– Я была тиха, словно мышь, и скрытна, словно тень, никто не знал, что я там. Даже сторож не находил меня во время ночного обхода, иначе вышвырнул бы на улицу, – с озорной улыбкой сообщила Мэри.

Она ничего не тратила на еду, подворовывая у других заводских девушек, а в конце третьей недели забрала зарплату и ушла, заявив, что больше не вернётся.

В те времена из Дублина в Ливерпуль каждый день отплывали грузовые суда, но всё же ей пришлось ждать до понедельника, прежде чем она смогла попасть на борт.

– Всё воскресенье я слонялась по докам. Как там красиво: огромные корабли, плеск воды, крик чаек... И я так радовалась, что поплыву в Лондон, что даже не замечала голода.

После очередной ночи, проведённой на улице, она заплатила все деньги, кроме пары шиллингов, за билет в один конец и поднялась на борт.

– Это был самый волнующий момент в моей жизни, и, сказав прощай Ирландии, я перекрестилась, помолилась о душе своего отца и попросила Богоматерь присмотреть за моей бедной мамой, братьями и сёстрами.

Она прибыла в ливерпульские доки около семи вечера в понедельник. Они, похоже, оказались не столь отличными от дублинских, как она ожидала. На самом деле они были точно такими же, только больше. Мэри

не знала, что делать. Когда она спросила, где Лондон, ей ответили, что до него ещё триста миль.

– Триста миль, – повторила она. – Я чуть не упала в обморок. Я-то думала, что он буквально за углом. Представляете, какой я была глупой?

Мэри провела ещё одну ночь под открытым небом и нашла немного выброшенного для чаек хлеба. Он оказался затхлым и грязным, но хоть немного утолил её голод.

Утром, когда взошло солнце, вместе с ним поднялось и её настроение, вернулся юношеский оптимизм, и она стала расспрашивать, как можно добраться до Лондона без денег. Ей ответили, что практически все грузовики, выезжающие сегодня из Ливерпуля, отправляются в Лондон, и всё, что ей нужно сделать, так это спросить какого-нибудь водителя, не возьмёт ли он её.

– У такой красивой девушки не должно возникнуть никаких проблем, – добавил советчик.

По своему опыту я знала, что это правда. Лет с семнадцати я путешествовала автостопом по всей Англии и Уэльсу, всегда тормозя дальнбойщиков и безопасно достигая пункта назначения. Я всегда ездила одна. Я слышала, что водители грузовиков подбирают девушек только с одной целью, но со мной ничего такого не случилось. Все дальнбойщики, которых я встречала, были трезвыми, трудолюбивыми людьми, со знанием дороги, полным кузовом груза и графиком, который нужно было соблюдать. Кроме того, на грузовиках значилось название компании: пожалуй кто, их бы сразу нашли и сообщили не только начальнику, но и домой – жене!

Мэри нашла водителя. Она рассказала мне о нём:

– Он был таким хорошим человеком. Путь получился долгим, и мы всю дорогу проговорили. Я пела ему песни, которым папа научил меня в детстве, и водитель сказал, что у меня хороший голос. В чём-то он был похож на отца. Знаете, он даже отвёл меня в придорожное кафе, купил мне еды и ничего за это не взял. Он просто сказал: «Держи, милая, думаю, тебе оно пригодится». Про себя я подумала, что, пожалуй, полюблю Англию, если все англичане такие. – Мэри смолкла и опустила взгляд в свою тарелку. Её голос был едва слышен, когда она проговорила: – Он оказался последним хорошим человеком, которого я встретила в этой стране.

На несколько долгих минут между нами повисла тишина. Я не хотела испытывать её доверие, да и не любила совать нос в чужие дела, поэтому спросила:

– Как насчёт ещё одного мороженого? Уверена, ты с ним справишься.

И я не откажусь от ещё одного кофе, если ты считаешь, что можешь его себе позволить.

Она рассмеялась и сказала:

– Я могу позволить себе сто чашек кофе.

Хозяин принёс наш заказ и сказал, что уже пятнадцать минут двенадцатого и он закрывается, так что нам придётся заплатить сразу, но мы можем посидеть до полуночи.

Счёт получился на два шиллинга и девять пенсов, включая кофе, что сопоставимо примерно с двадцатью пенсами сегодня. Я встала в полный рост и величественным жестом протянула пятифунтовую банкноту.

Мужчина подскочил и залопотал:

– Слушайте, а помельче ничего нету? Как, думаете, я разменяю вам пять фунтов?

Я ответила холодно и твёрдо:

– Сожалею, но мельче нет. Если бы было, я бы вам дала. Моя подруга не взяла с собой денег. Если вы не можете разменять банкноту, боюсь, мы не можем заплатить вам за эту еду.

Я сложила банкноту и убрала её обратно в сумочку. Это сработало.

Он пробормотал:

– Хор'шо, хор'шо, мисс Самодовольство. Ваша взяла.

Он подошёл к кассе и выгреб её до дна, затем пошёл в контору, чтобы отпереть сейф, и наконец вернулся к столу, бормоча и ворча, и отсчитал четыре фунта, семнадцать шиллингов и три пенса сдачи, после чего я вручила ему пять фунтов^[21].

Глядя на всё это, Мэри хихикала, словно школьница. Я подмигнула ей и убрала сдачу в сумочку. Она по-прежнему мне доверяла, а я по-прежнему могла встать и уйти со всеми её деньгами.

Было поздно. Хотя у меня был свободный вечер, день выдался тяжёлым, а утреннее дежурство начиналось в восемь утра и обещало вылиться в ещё один непростой день. Хотелось сказать: «Послушай, мне надо идти», но что-то влекло меня к этой одинокой девушке, и я спросила:

– У тебя есть планы на ребёнка?

Она покачала головой.

– Когда рожать?

– Я не знаю.

– К кому ты записалась на роды?

Она ничего не ответила, и я повторила вопрос.

– Ни к кому я не записывалась, – ответила она.

Я забеспокоилась. На вид Мэри была на шестом месяце, но если она

сильно голодала, ребёнок просто мог быть маленьким, и в этом случае срок мог уже подойти. Я сказала:

– Послушай, Мэри, тебе нужно записаться на роды. Кто твой доктор?

– Никто.

– Где ты живёшь?

Она не ответила, я спросила ещё раз, но она снова промолчала. Мэри казалась сердитой, в голосе слышалось жёсткое недоверие, когда она наконец отрезала:

– Не ваше дело.

Думаю, если бы в моей сумочке не лежали четыре фунта, семнадцать шиллингов и три пенса, она бы встала и ушла.

– Мэри, ты должна сказать мне, потому что тебе нужен доктор, а твоему ребёнку – родовая помощь. Я – акушерка и, возможно, смогу устроить это для тебя.

Она закусила губу, погрызла ногти, а потом сказала:

– Я жила в «Полнолуном кафе» на Кейбл-стрит. Но больше не могу туда вернуться.

– Почему? – спросила я. – Потому что украла пять фунтов из кассы?

Она кивнула.

– Они убьют меня, если найдут. А они *найдут* меня, я почему-то в этом уверена. А потом убьют.

Последние слова она произнесла ровным, безразличным голосом, словно смирилась с неизбежным.

Настала моя очередь молчать. Я знала, что Ист-Энд – жестокий район. Акушерки не видели этого, потому что нас глубоко уважали, и в целом мы имели дело только с порядочными семьями. Но эта девушка могла легко связаться с плохой компанией, и, если она украла у них, предполагаемое насилие могло перерасти в реальное. Её жизни действительно могла угрожать опасность. Тогда я ещё ничего не слышала о печально известных кафе на Кейбл-стрит.

Я спросила:

– У тебя есть где переночевать?

Она покачала головой.

Я вздохнула, ощущая, как наползает на плечи ответственность.

– Пойдём посмотрим, открыта ли МЖХА ^[22]. Уже очень поздно, и я не уверена, во сколько они закрываются, но попробовать стоит.

Мы поблагодарили хозяина кафе и вышли. На улице я отдала Мэри деньги, и мы прошли порядка мили до МЖХА. Оказалось, они закрываются в десять вечера.

Я утомилась и устала. Высокие каблуки убивали. Мне предстояло ещё тащиться целую милю обратно в Ноннатус-Хаус, а утром заступать на дежурство. Я уже кляла себя за то, что ввязалась. Могла бы просто сказать на автобусной остановке: «Нет, я не могу разменять пять фунтов» и уйти.

Но я посмотрела на Мэри, стоящую перед закрытой дверью. Она выглядела такой маленькой и уязвимой и почему-то совершенно послушной в моих руках. Как я могла оставить её на улице, когда её, может быть, ищут, чтобы убить? Кто заметит, если она исчезнет? Я подумала: «Упаси меня Боже от такого несчастья», и эта мрачная мысль оказалась верней, чем могло бы показаться.

Она вздрогнула от холодного ночного воздуха и попыталась плотнее запахнуть тонкий жакет на шее. На мне было тёплое верблюжье пальто с прекрасным меховым воротником, которым я очень гордилась. Воротник отстёгивался, так что я сняла его и накинула на её тонкую шейку. Мэри радостно вздохнула и укуталась в тёплый мех.

– Ох, как чудесно, – проговорила она, улыбаясь.

– Пойдём, – сказала я. – Тебе лучше вернуться со мной.

Закир

Миля ходьбы от МЖХА к Ноннатус-Хаусу казалась бесконечной. Я слишком устала от разговоров, так что мы шли молча. Сначала я могла думать только о своих ногах и проклятой обуви, созданной для красоты, но не для пеших прогулок. Вдруг мне в голову пришла блестящая мысль – снять эти чёртовы тиски! Так я и сделала, стянув заодно и чулки. Ощущать холодный асфальт было прекрасно, и это меня приободрило.

Что я собиралась делать с Мэри? В Ноннатус-Хаусе было десять спален, и все заняты. Я решила положить её в гостиной для персонала, поискав пару одеял в общей кладовой. Придётся встать до половины шестого утра, чтобы рассказать сестре Джулианне, когда та выйдет из часовни. Нельзя рисковать: надо поставить в известность старшую сестру, прежде чем кто-нибудь найдёт девушку. Монахини не брали, да и не могли взять каждого нищего, постучавшегося к ним в двери. Если бы они сделали это, Ноннатус-Хаус тут же наводнили бы страждущие, и в каждой спальне, на каждую кровать улеглось бы по десять человек! Нет, у сестёр была своя работа – медсестринское и акушерское дело, и именно на этом своём призвании они должны были сосредоточиться.

Шлёпая босыми ногами по мостовой, я размышляла о том, что Мэри сказала о дальнобойщике. «Он был последним хорошим человеком, которого я встретила в этой стране». Как трагично. Хороших людей миллионы – на самом деле подавляющее большинство. Как получилось, что она, милая и красивая девушка, никогда с ними не встречалась? Как она дошла до такой нищеты? Возможно, из-за любви? Или отсутствия любви? Оказалась бы я на месте Мэри, если бы не любовь?

Мысли, как и всегда, устремились к мужчине, которого я любила. Мы познакомились, когда мне было всего пятнадцать. Он мог бы легко использовать меня и унижить, но не стал – он меня уважал. Он любил меня до безумия и желал мне только добра. Воспитывал, защищал и направлял все мои юные годы. Повстречай я не того человека в возрасте пятнадцати лет, размышляла я, и, глядишь, оказалась бы в таком же положении, как сейчас Мэри.

Мы брели дальше в полном молчании. Я не знала, о чём думала Мэри, но моя душа тосковала по взгляду, звуку, прикосновению человека, которого я так любила. Бедняжка, какие прикосновения она познала, если

дальнобойщик был единственным хорошим человеком, которого она повстречала?

Мы подошли к Ноннатус-Хаусу. Было где-то два часа ночи. Я устроила Мэри в гостиной и сказала:

– Туалет в конце коридора, дорогая. Спи спокойно, увидимся утром.

Из последних сил я доплелась до спальни и поставила будильник на пять пятнадцать утра.

Выйдя из часовни, сёстры удивились, увидев меня, но не нарушили обета молчания, соблюдавшегося в это время. Я подошла к сестре Джулианне и рассказала ей, что произошло. Она не говорила, но глаза её светились пониманием. Монахини прошли мимо меня безмолвной процессией, и я вернулась в постель, поставив будильник на половину восьмого.

В восемь утра я вошла в кабинет сестры Джулианны.

– Я поговорила с отцом Джо из церковного дома на Уэллклоуз-сквер, – сказала она. – Они могут взять девушку и позаботиться о ней. Я заглянула в гостиную. Она так крепко спала, что не проснётся, наверное, до полудня. Мы принесём ей завтрак, когда она встанет, а потом отведём в церковный дом. А вы ступайте на завтрак и принимайтесь за работу.

Её глаза заулыбались мне, и она добавила:

– Вы не могли поступить иначе, моя дорогая.

И снова меня поразила доброта и гибкость сестёр по сравнению с суровой негибкостью больничной системы, в которой я до этого работала. Если бы я взяла кого-нибудь в медсестринское общежитие на ночь без разрешения, то поплатилась бы за это головой, просто потому, что это было против правил.

Мэри проспала до четырёх дня. Мы как раз пили чай перед вечерней сменой, так что времени повидаться с нею почти не оставалось. Сестра Джулианна принесла ей чая и хлеба с маслом, который она уплетала, когда я вошла в гостиную. Сестра объяснила Мэри, что она не могла остаться в Ноннатус-Хаусе, но могла бы пойти в дом, где ей будут рады. Там ей обеспечат дородовой уход, помогут подготовиться к родам. Мэри посмотрела на меня своими большими серьёзными глазами, я кивнула и пообещала, что приду её навестить.

Вот так я и окунулась в мир сутенёров и проституток, грязных борделей, маскирующихся под круглосуточные кафе, что выстроились по Кейбл-стрит и в окрестностях Степни. Это скрытый мир. То же самое происходит в каждом городе во всём мире, и всегда происходило, но мало кто знает об этих делишках, да и не хочет знать.

Существует два типа проституток: высшего класса и все остальные. Французские куртизанки были, пожалуй, высшим классом в своём деле, и мы с удивлением читаем об их салонах, дорогих развлечениях, художественном и политическом влиянии.

Сегодня в Лондоне шикарные вест-эндские девушки по вызову спокойно работают в очень дорогом заведении с несколькими избранными клиентами, получая огромные гонорары. Обычно это очень умные, хорошо образованные женщины, которые работают над этим, планируют, учатся – одним словом, занимаются проституцией с истинным профессионализмом. Одна такая девушка сказала мне:

– Нужно начинать с самого верха. Эта не та работа, когда можно начать со дна и проложить себе путь наверх. Если начнёшь со дна, опустишься только ещё ниже.

Подавляющее большинство проституток начинают со дна и влачат жалкое существование. Исторически проституция была единственным средством заработка для бедной женщины, особенно с детьми, которых нужно кормить. Какая женщина, достойная имени Матери, будет рассуждать об аморальности торговли своим телом, если её дитя умирает от голода и холода? Не я.

Сегодня – как, впрочем, и в 1950-х – в западных обществах не наблюдается такого голода, но есть другой голод, питающий проституцию. Любовный. Тысячи бегут от отчаянных обстоятельств и оказываются одни, совсем без друзей, в большом городе. Они жаждут сочувствия и привяжутся к любому, кто его выразит. Тут и вступают в игру сутенёры и мамки. Они предлагают ребёнку еду и жильё, мнимую доброту и за несколько дней втягивают в проституцию. Единственное различие между XXI веком и 1950-ми в том, что тогда склоняемым к проституции детям было около четырнадцати лет. Сегодня возраст снизился до десяти. Мэрин дальнбойщик направлялся в Роял-Альберт-Док, поэтому высадил её на Коммершиал-роуд. Она рассказала мне:

– Мне было ужасно одиноко – как никогда в жизни. В Ирландии, строя планы отправиться в Лондон, я была так взбудоражена. Путешествие казалось захватывающим, ведь я плыла в прекрасный город Лондон и не чувствовала себя одинокой, витая в мечтах. Но когда я добралась досюда, то поняла, что не знаю, что делать.

Кто сказал: «Лучше ехать и надеяться, чем приезжать»? Полагаю, все мы испытывали нечто подобное в той или иной степени.

Мэри купила шоколадку в табачном киоске и побрела по запруженной дороге. В то время Коммершиал-роуд и Ист-Индия-Док-роуд считались

самыми оживлёнными дорогами в Европе, потому что порт Лондона был самым оживлённым портом в Европе. Непрерывный поток грузовиков изумил и испугал Мэри. В Дублине по сравнению с Лондоном было тихо, как в деревне. Пронзительный визг сирены чуть не довёл её до сердечного приступа, а потом она увидела, как тысячи людей выливаются из ворот доков. Девушка распласталась вдоль стены, а они всё проходили, болтая, смеясь, ссорясь, крича и разговаривая друг с другом. Но ни один из них не заговорил с застенчивой маленькой фигуркой в проходе. На самом деле, вряд ли её даже заметили. Мэри рассказывала:

– Я чуть не плакала от одиночества. Хотелось крикнуть: «Я здесь, рядом с вами! Подойдите и поздоровайтесь со мной. Я проделала долгий путь, чтобы очутиться здесь».

Ей не особо понравилась Коммерциал-роуд, поэтому она свернула на боковую улицу, где увидела играющих детей. Мэри и сама была почти что ребёнком, но они не приняли её в игру. Она пошла дальше, пока не очутилась у канала, проходящего под мостом Стинкхаус на пути к докам. Было приятно стоять у моста, глядя на воду, и она всё стояла и стояла, наблюдая за водяной крысой, высывавшейся из своей норы и прятывавшейся обратно, и удлинявшимися тенями.

– Я просто не знала, что делать дальше. Мне не было холодно, потому что стояло лето, не хотелось есть, потому что милый дальнбойщик накормил меня сосисками с картошкой. Но я чувствовала себя такой пустой внутри и чуть ли не до боли хотела, чтобы кто-нибудь со мной поговорил.

Наступила ночь. Мэри негде было переночевать, и не было денег снять жильё. Впрочем, она уже столько ночей провела под открытым небом, что это её не беспокоило. В то время по всему Ист-Энду стояли разбомбленные дома, и она присмотрела один себе для ночлега. Однако её выбор оказался неудачным.

– Меня разбудил страшный шум. Мужчины кричали и дрались, ругались и бранились. В лунном свете я видела ножи и какие-то вспышки. Я залезла поглубже в дыру, в которой спала, и спряталась под какими-то вонючими мешками. И сидела тихо, неподвижно, едва дыша. Затем услышала полицейские свистки и лай собак. Я испугалась, что собаки унюхают меня, но всё обошлось. Возможно, мешки, под которыми я пряталась, пахли так плохо, что они не могли унюхать ничего другого.

Мэри хихикнула. Я – нет. Моё сердце было слишком переполнено другими чувствами.

Она, видимо, наткнулась на разбомбленный дом, в котором частенько

пировали пьяницы. Когда полиция зачистила место, Мэри выползла и провела остаток ночи на канале.

Следующий день прошёл так же, как и предыдущий, – она просто бродила по Степни вдоль Коммершиал-роуд, не зная, что делать.

– Вокруг была куча автобусов, и я подумала, может, мне сесть на один и куда-нибудь уехать – мне совсем не нравилось то место, где я находилась. Но спереди у них были написаны названия вроде Уоппинга, Баркинга, Майл-Энда и Кингс-Кросса, а я не имела не малейшего представления, где это. Я так хотела попасть в Лондон, и дальнбойщик сказал, что это Лондон, когда меня высаживал, так что я не стала садиться на автобус, потому что не знала, куда приеду.

Прошло ещё два дня. Одна-одинёшенька, она ни с кем так и не заговорила и по-прежнему ночевала на канале. На третий вечер Мэри потратила последние гроши на сосиску в тесте. В свой четвёртый день в Лондоне ей пришлось бы голодать, если бы она не заметила на кладбище старушку, кормящую воробьёв хлебными крошками.

– Я подождала, пока старушка уйдёт, потом разогнала птиц и, ползая на коленях, собрала крошки в подол. Светило солнце, деревья были такие симпатичные. Я даже увидела белочку. Усевшись на траве, я съела все крошки. На вкус – ничего. На следующий день я снова пошла на кладбище, думая, что и старушка придёт покормить птиц. Но она не пришла. Я прождала весь день, но она так и не появилась.

Вечером Мэри нашла какие-то объедки в мусорном баке.

Пока она говорила, я ломала голову, почему эта смышлёная девушка, которой хватило находчивости и предприимчивости спланировать путешествие из Дублина, не вела себя более изобретательно и предусмотрительно, приехав в Лондон. Она могла бы пойти в полицию, католическую церковь, Армию спасения, МЖХА и другие подобные места, где бы ей помогли, приютили её, вероятно, нашли бы работу. Однако такой план действий, казалось, не приходил ей в голову. Возможно, это случилось бы, пройди ещё немного времени. Но вместо этого она встретила Закира.

– Я глядела в окно пекарни, нюхала хлеб и думала, чего бы я только ни отдала, чтобы его получить. Он подошёл, встал рядом со мной и спросил: «Хочешь сигаретку?» После дальнбойщика он был первым человеком, который со мной заговорил. Было так приятно, что кто-то мне что-то сказал, но я не курю. Тогда он поинтересовался: «Может, тогда хочешь что-нибудь съесть?» – и я ответила: «Ещё как хочу». Он посмотрел на меня и улыбнулся такой милой улыбкой. Его зубы сияли белизной, а глаза были

такими добрыми. У него были такие красивые тёмно-карие глаза. Я полюбила эти глаза в то же мгновение, когда впервые заглянула в них. Он сказал: «Пойдём-ка возьмём по рулету. Я тоже голодный. А потом пойдём на канал и съедим их там». Мы вошли в магазин, и он купил рулетов с разными начинками, и фруктовые пироги, и даже шоколадный торт. Рядом с ним я чувствовала себя такой неряхой, ведь я давно не мылась и не меняла одежду, а он выглядел изящным и нарядным и даже носил золотую цепочку.

Они уселись на траву на берегу канала, прислонившись к стене, глядя на проплывающие барки. Мэри сказала, что лишилась дара речи. Она была потрясена добротой этого красивого юноши, которому она, казалось, нравилась, и не могла придумать, что сказать, хотя четыре или даже пять дней так тосковала по кому-нибудь, с кем можно поговорить.

– Он постоянно болтал, смеялся, бросал хлеб воробьям и голубям, называя их «мои друзья». Я подумала, что тот, кто дружит с птицами, должен быть очень милым. Иногда я не могла толком его понять, но вы же знаете, английский акцент отличается от ирландского. Он сказал, что работает закупщиком у своего дяди, владельца отличного кафе на Кейбл-стрит и продавца лучшей еды в Лондоне.

Наш обед получился просто замечательным, там, на берегу, под солнцем. Рулеты были объедение, яблочные пироги – тоже, а шоколадный торт – просто неземной.

Откинувшись на каменную стену, Мэри удовлетворённо вздохнула. Когда же она вновь открыла глаза, солнце уже закатилось за здание склада, а на ней был его пиджак. И девушка обнаружила, что привалилась к его плечу.

– Когда я проснулась, он обнимал меня сильной рукой и смотрел своими красивыми глазами. Он погладил меня по щеке и сказал: «Ты на славу поспала. Пойдём, уже поздно. Отведу-ка я тебя лучше домой. Твоя мать с отцом разволнуются, что с тобой приключилось».

Я не знала, что сказать, да и он помалкивал. А потом проговорил: «Надо идти. Что твоя маман подумает, если узнает, что ты гуляешь в такое время с незнакомцем?»

«Моя мать далеко, в Ирландии».

«Ну, тогда отец».

«Мой отец умер».

«Бедняжечка. Наверное, ты живёшь в Лондоне с тётушкой?»

Он снова потрепал меня по щеке, когда сказал «Бедняжечка», и я испугалась, что растаю от счастья. Я прильнула к его рукам и рассказала

всю историю, только утаила про маминого дружка и про то, что он сделал со мной, потому что было стыдно и я не хотела, чтобы он думал обо мне плохо.

Он ничего не сказал. Просто долго гладил меня по щеке и волосам. А потом проговорил: «Бедная маленькая Мэри. Что же нам с тобой делать? Я не могу оставить тебя здесь, на канале, ночью. Теперь я чувствую за тебя ответственность. Думаю, тебе лучше пойти со мной в дом моего дяди. Это приятное кафе. Мой дядя очень добрый. Мы как следует подкрепимся и потом подумаем о твоём будущем».

Кейбл-стрит

Довоенный Степни, к востоку от Сити, с Коммершиал-роуд на севере, Тауэром и Королевским монетным двором на западе, Уоппингом и доками на юге и Попларом на востоке, был домом для тысяч добропорядочных, работающих, но часто бедных ист-эндских семей. Бóльшую часть района составляли тесные многоквартирки, узкие неосвещённые улочки и переулки и старые дома на несколько семей. Зачастую в таких домах был только один кран и один туалет во дворе на восемь, а то и на дюжину семей, и иногда вся семья из десяти и более человек ютилась в одной-двух комнатах. Люди жили так поколениями и продолжали жить в 1950-х. Это было их наследство, принятый жизненный уклад, но после войны всё кардинально изменилось – в худшую сторону.

Район был запланирован под снос, однако простоял ещё двадцать лет, став за это время рассадником всех возможных пороков. Признанные негодными дома, находящиеся в частной собственности, не могли быть проданы на открытом рынке порядочным арендодателям и потому скупались бессовестными спекулянтами всех национальностей, сдававшими комнаты по одной по баснословно низким ценам. Точно так же скупались помещения магазинов, переделываемых в круглосуточные кафе с «уличными официантками». По сути это были притоны, превращавшие в ад жизнь порядочных людей, которым не посчастливилось жить в том районе и воспитывать посреди всего этого детей.

Перенаселённость всегда была частью истэндской жизни, но война всё только усугубила. Многие дома пострадали от бомбёжек и не восстанавливались, так что людям приходилось жить где придётся. Вдобавок ко всему в 1950-х тысячи мигрантов из стран Содружества хлынули в Англию, не заботясь о том, где жить по прибытии. Частенько можно было увидеть, как группы из десяти и более уроженцев, скажем, Вест-Индии ходили от двери к двери, умоляя их приютить. Если же комната находилась, то в мгновение ока заполнялась двадцатью, а то и двадцатью пятью людьми, живущими вместе.

Ист-эндцы видали такое и раньше и умели с этим справляться. Но откровенное использование их улиц, переулков и тупиков, их магазинов и домов в качестве борделей – это совсем другая история. Жизнь стала

сущим адом: женщины боялись выходить на улицы и отпускать детей. Суровых неунывающих ист-эндцев, переживших две мировые войны, справившихся с Великой депрессией 1930-х и «Большим Блицем» 1940-х, стойко переносящих все невзгоды, могли раздавить порок и проституция, захлестнувшие их в 1950–1960-х годах.

Представьте, если сможете, каково это – жить с шестью детьми в полузаброшенном доме, арендуя две комнаты на третьем этаже. А теперь представьте, что у дома появляется новый владелец, и вследствие угроз, шантажа, страха или же настоящего расселения все семьи, которые вы знали с детства, одна за другой съезжают. Все комнаты дома, в котором вы живёте, делят перегородками и заполняют проститутками, по четыре-пять в каждую комнату. Универмаг, располагавшийся раньше на первом этаже, превращают в круглосуточное кафе с шумом и громкой музыкой, вечеринками, руганью и драками ночь напролёт. Торговля проститутками идёт всю ночь и весь день, мужчины топают вверх и вниз по лестницам, торчат на лестничных маршах и площадках, дожидаясь своей очереди. Представьте это, если можете, а потом вообразите бедную женщину, которая вынуждена ходить там, когда отправляется с малышами за покупками или ведет их в школу или спускается одна в подвал за парой ведер воды для стирки.

Многие из таких семей десятилетиями стояли в очереди на переселение, и чем больше была семья, тем меньше были её шансы получить другое жильё, потому что совет (в соответствии с «Законом о жилищных условиях») не имел права переселить семью из десяти человек в четырёхкомнатную квартиру, даже если сейчас она ютилась в двух комнатках, признанных непригодными для проживания.

В эту клоаку и пришёл отец Джо Уильямсон, назначенный в 1950-х викарием в церковь Святого Павла на Док-стрит. Он посвятил остаток жизни делу очищения района и помощи живущим там ист-эндским семьям, отдавая этому всю свою немалую энергию, могучий ум и, прежде всего, набожность. Позже он начал предоставлять помощь и защиту молодым проституткам, которых любил и жалел всем сердцем. Именно он открыл двери церковного дома на Уэллклоуз-сквер как дома для проститутки. И именно туда отправилась Мэри на следующий день после того, как я подобрала её на автобусной остановке. Я несколько раз навещала девушку; тогда-то она и дорассказала мне свою историю.

– Холодало, Закир накинул свой пиджак мне на плечи и понёс мою сумку. Он обнял меня и повёл через толпы людей, покидающих доки. Он сопровождал меня, словно настоящий джентльмен, и, могу поклясться, я

почувствовала себя величайшей леди в Лондоне рядом с таким благородным юношей.

Они свернули с Коммерциал-роуд в переулок, ведущий к другим переулкам, каждый из которых оказывался грязнее и уже предыдущего. Многие окна были заколочены, какие-то – разбиты, другие настолько грязны, что сквозь них ничего не было видно. Людей было очень мало, дети не играли на улицах. Она посмотрела вверх на чёрные здания. С карниза на карниз перелетали голуби. Несколько окон выглядели так, словно кто-то пытался их отмыть, и на них были занавески. На одном или двух крошечных балконах даже сушилась стирка. Однако солнце, казалось, никогда не проникало на эти узкие улочки и переулки. Повсюду валялись мусор и грязь – во всех углах, сточных канавах, перед изгородями, блокируя двери, до середины заполняя и без того узкие переулочки. Закир аккуратно вёл Мэри через всю эту грязь, предупреждая, чтобы она была осторожна или переступала через это или то.

Немногие люди, которых они встречали, все были мужчинами, и Закир бережно прижимал Мэри к себе, когда они проходили мимо. Одного или двух из них он явно знал, и они переговорили друг с другом на иностранном языке.

Мэри рассказывала:

– Я подумала, как он, должно быть, умён и образован, раз говорит на иностранном языке. Наверное, он ходил в очень дорогую школу, чтобы его выучить.

Они вышли на широкую длинную улицу, оказавшуюся Кейбл-стрит, и Закир сказал ей:

– Кафе моего дяди здесь неподалёку. Оно лучшее и самое посещаемое на всей улице. Можем подкрепиться вместе, только ты и я. Разве не здорово? Дядя владеет всем домом и сдаёт комнаты, думаю, у него и для тебя одна найдётся. И тебе больше не придётся спать на канале. Может, он возьмёт тебя работать в кафе – мыть посуду или чистить овощи. Или даже заряжать кофейный аппарат. Ты бы хотела работать у кофейного аппарата?

Мэри была очарована. Работать в посещаемом лондонском кафе у кофейного аппарата казалось пределом её мечтаний. Она прильнула к Закиру в знак признательности и обожания, и он сжал её руку.

– Отныне у тебя всё будет хорошо, – сказал он. – У меня предчувствие.

Мэри слишком обессилела, чтобы говорить. Она любила его всем сердцем.

Они вошли в кафе. Внутри оказалось темно, потому что окна были ужасными грязными и висящие на них тюлевые занавески были черны от

грязи. За пластмассовыми столами сидело несколько мужчин, попивая и покуривая; один или двое были с женщинами. Группа женщин и девушек сидела за большим столом, все они курили. Никто не разговаривал. Тишина стояла довольно жуткая, даже угрожающая. Все посмотрели на вошедших Закира с Мэри, но никто не произнёс ни слова. Мэри, должно быть, резко контрастировала с другими девушками и женщинами в кафе. Они были бледными; некоторые из них выглядели угрюмыми, некоторые хмурились, и все казались измождёнными. Глаза же Мэри горели предвкушением. Кожа сияла от свежего воздуха после путешествия на корабле и четырёх ночей, проведённых затем у канала. Но главное, нежное, чувственное сияние любви наполняло её, озаряло всё её существо.

Закир сказал ей сесть, пока он сходит поговорить со своим дядей. Её узелок с вещами он взял с собой. Мэри села за столик у окна. Некоторые из сидящих в кафе смотрели на неё, но не заговаривали. Она не обращала на это внимания, тихонечко улыбаясь про себя, – теперь, когда у неё был Закир, разговаривать ни с кем больше не хотелось. Неприятный на вид мужчина уселся напротив неё за столик, но Мэри надменно отвернулась. Тогда он встал и ушёл. Услышав хихиканье девушек в углу, она повернулась и улыбнулась им, но никто не улыбнулся в ответ.

Минут через десять вернулся Закир.

– Я поговорил с дядей. Он хороший человек и позаботится о тебе. Мы перекусим вместе попозже. Сейчас только семь. Веселье начнётся около девяти. Тебе понравится вечер. Наше кафе славится развлечениями и угощениями: дядя нанял лучшего повара в Лондоне. Ты сможешь попробовать всё, что заблагорассудится. Дядя очень щедрый человек, он сказал, что ты можешь выбрать из меню и винной карты всё, что только захочешь. Он сказал так только потому, что ты – мой особенный друг, а я – его любимый племянник. Я – закупщик мяса, и мне приходится много разъезжать, чтобы найти лучшее. В хорошем кафе должно быть хорошее мясо, а я – лучший закупщик мяса в городе.

Конечно, мясо, которым ужинала Мэри, было очень хорошим. Она выбрала мясной пирог с фасолью и картошкой. Закир взял то же самое, потому что тем вечером в меню больше ничего не было. Но для Мэри, выросшей в бедности сельской Ирландии, в основном на картошке и брюкве, а затем терпевшей нужду в Дублине, мясной пирог оказался лучшим, что она когда-либо пробовала; покончив с ним, она удовлетворённо вздохнула.

Они сидели в углу у окна. Закиру открывался обзор на всё кафе, и его глаза постоянно блуждали по залу, даже когда он разговаривал с Мэри.

Она со своего места могла видеть только половину кафе, но не осматривалась – не хотела. Девушка смотрела только на Закира.

Он сказал:

– Теперь давай выберем вино. Ты всегда должна быть осторожна с вином, потому что без хорошего вина не бывает хорошего обеда. Думаю, остановимся на «Шато Марсель» урожая 1948 года. Превосходное вино, насыщенное, но не тяжёлое, с соблазнительной пикантностью, задерживающейся на нёбе и предполагающей тепло и блеск винограда. Уж я разбираюсь в винах.

Мэри была впечатлена, даже ошеломлена его лоском и галантностью. Она никогда в жизни не пробовала вина, и оно ей не понравилось. Она ожидала от тёмно-красной жидкости в бокале чего-то вкусного, но та оказалась горькой и кислой. Однако Закир пил с наслаждением, шепча что-то вроде: «Отличный урожай, пей до дна, ты не найдёшь ничего лучше в Лондоне» – или: «Ах, какой букет – весьма изысканный – уверяю тебя, это большая редкость», а Мэри не хотела его обижать, признавшись, что ей не очень нравится, поэтому она выпила залпом целый стакан и сказала: «Вкусно».

Он вновь наполнил её бокал. Его глаза всё блуждали по кафе. Говоря с Мэри, он улыбался, когда же оглядывал кафе, улыбка покидала и губы, и глаза. Мэри не видела столик, за которым сидели девушки с женщинами, но он был прямо напротив Закира. Он часто смотрел на них холодным немигающим взором, слегка кивал и моментально переводил взгляд, а потом снова устремлял его на них. Каждый раз Мэри слышала скрип отодвигаемого стула, когда одна из девушек вставала. Раз пять за время их трапезы он вставал и подходил к тому столу. И Мэри всякий раз смотрела ему вслед, но не потому, что была подозрительной, а просто не могла отвести от него глаз. Она с удовлетворением отметила, что девушки, кажется, ему не очень нравились, потому что он никогда им не улыбался, бросал на них тяжелые взгляды и говорил сквозь зубы. Один раз она увидела, как он сжал кулак и угрожающе потряс им перед лицом одной из девушек. Девушка встала и вышла.

Мэри подумала: «Я нравлюсь ему больше остальных, а эти девушки совсем не нравятся. В любом случае они выглядят мерзко. А я – его особый друг», – и теплая волна накрыла её с головой.

Каждый раз, возвращаясь к Мэри, Закир осыпал её улыбками, его белые зубы сияли, тёмные глаза блестели.

– Допивай, – сказал он. – Столь превосходного вина не может быть много. Хочешь фруктов или торта? Дядя сказал, ты можешь заказать всё,

что захочешь. Скоро начнутся развлечения. Лучшие в Лондоне. Ночные клубы Лондона, Парижа, Нью-Йорка известны по всему миру, а этот – лучший в Лондоне.

Мэри выпила вино и съела кусок липкого сладкого торта, который Закир назвал «Чёрным лесом» с вишней морель, маринованной в шартрезе. Мэри вишни не показались особенно вкусными, но, к сожалению, вино в этот раз оказалось ещё хуже, чем в первый, от его кислоты язык казался покрытым налётом, а губы и рот – шероховатыми.

Она смутно, будто в тумане, сознавала, что кафе наполняется. Мужчины шли непрерывно. Закир сказал:

– Разгар вечера. Ты ведь тоже развлечёшься, правда?

Мэри улыбнулась и кивнула, желая угодить. На самом деле у неё щипало глаза, потому что в помещении становилось всё более накурено, и начинала болеть голова. Поев, она почувствовала себя глубоко уставшей и лучше бы отправилась в кровать, но подумала, что обязана бодрствовать, чтобы насладиться развлечениями, которые Закир так любезно предлагал ей посмотреть. Она выпила ещё немного вина, пытаясь держать глаза открытыми. Мэри не заметила, как на окна поставили ставни, двери заперли, а свет притушили.

Неожиданно оглушительнейший грохот обрушился на её одурманенный рассудок. Она чуть не упала со стула от страха, вцепившись в краешек стола, чтобы удержать себя в вертикальном положении. Звук был громче, чем всё, что она когда-либо слышала в своей жизни, даже громче, чем сирена на верфи, напугавшая её на Коммерсиал-роуд. И он всё не кончался и не кончался. Оказалось, это музыкальный автомат, а шум – ритмы музыки.

Закир прокричал:

– Развлечение. Разверни стул и смотри. Лучшее в Лондоне.

Все мужчины развернули свои стулья и молча уставились на стол в центре. На него вскочила девушка и начала танцевать. Стол был всего фута три^[23] шириной, так что она не могла танцевать как следует, рискуя упасть, но двигала телом, бёдрами, плечами, руками, шеей в такт музыки. Её волосы развевались. Мужчины приветствовали девушку аплодисментами и криками. Затем она сбросила накинутую на плечи шаль. Мужчины снова зааплодировали, между ними завязалась борьба за право поднять её. Медленно, с намёком, она пуговица за пуговицей расстегнула блузку и сбросила её, открывая взорам багровый бюстгальтер. Расстегнула ремешок, на котором держалась юбка, и та скользнула к её ногам. Под юбкой оказались только багровые верёвочки, опоясывающие талию и

проходящие между ног. Бёдра у неё были широченные. Она повернулась лицом к стене, качая бёдрами, а потом, расставив ноги, наклонилась.

Мэри была ошеломлена. Сонливость как рукой сняло, она глазам своим не верила. Она не могла поверить, что это происходит на самом деле.

Сверкнув белоснежными зубами, Закир крикнул ей:

– Неплохо, да? Я же говорил – у нас тут лучшие развлечения Лондона.

Тем временем девушка выпрямилась и повернулась к зрителям лицом. Оглядев окружающих весьма нахальным образом, она начала медленно растёгивать бюстгальтер. Мужчины зааплодировали, крича и топая, когда две огромные груди с кисточками на сосках вывалились наружу. С мастерством, которое, должно быть, потребовало немало практики, она начала вращать грудями всё быстрее и быстрее, и кисточки завертелись со всё возрастающей скоростью. Эти кисточки буквально загипнотизировали Мэри. Она оцепенела от удивления, пока вращение не замедлилось и кисточки не свесились к полу, слегка покачиваясь. Девушка отстегнула шнурок, шедший вокруг её талии, и бросила его зрителям, вновь завязавшим возню за право заполучить его.

Тут началась серьёзная часть её танца. Она стала трясти и медленно двигать тазом вперёд и назад. Глаза неподвижно устремились на зрителей, язык высунулся наружу. Она делала это довольно долго, иногда двигая верхней частью тела, иногда – покачивая грудью из стороны в сторону. Музыкальный аппарат приглушили, так что слышны были только ударные, и всё это время её таз двигался вперёд и назад в заданном ритме. Мэри сидела практически замороженная.

Так же внезапно, как начала, девушка с резким криком остановилась и легла на стол. Места было не очень много, но она лежала спиной и головой на столе, задрвав соприкасающиеся пятками ноги вверх. Автомат снова начал работать всё громче, громче и громче, в то время как она медленно раздвигала ноги, пока они не приняли практически горизонтальное положение, обнажив огромную, мясистую волосатую вульву. Затем, с ещё бóльшим мастерством и под восторженные крики зрителей, девушка начала выдавливать из влагалища мячики для пинг-понга и бросать их в публику. Скорость и число ошеломляли. Наверное, это какая-то магия, подумала Мэри, ни одна не женщина не сможет запихнуть в себя столько мячиков для пинг-понга. Мячики летали по залу, мужчины в иступлённом азарте бросали их друг в друга, в девушек, об стены.

Другие девушки теперь покинули свой столик и присоединились к мужчинам: некоторые уселись к ним на колени, лаская их или принимая ласки, некоторые выходили в заднюю дверь парами, кто-то просто сидел,

курил и надирался. Две женщины постарше подошли к девушке, лежащей на столе, и схватили её за ноги. Затем кивнули мужчинам, и те толпой поспешили к ней, но двое кряжистых мужчин среднего возраста с кастетами, ощерившись, преградили дорогу подступавшим и что-то им сказали. Мэри не расслышала из-за грохота музыкального аппарата, но несколько мужчин развернулись и пошли на свои места. Однако некоторые остались стоять, и Мэри увидела, как кругленькая сумма перешла в руки кастетам. Затем, один за другим, мужчины стали расстегивать брюки и влезать на девушку на столе. Некоторые, ожидая своей очереди, встали по бокам и начали теревить девушке грудь. Кастетам передали ещё денег, и один мужчина направился к голове девушки, расстегнул брюки и вдавил пенис ей в рот, а девушка начала послушно его сосать. После ещё несколько мужчин по одному проделали то же самое.

Мэри затошнило. Её опыта с дружкой матери вполне хватило, чтобы понять, что происходит, а вид передающих деньги рук объяснил ей остальное. Не было нужды задавать вопросы. Она вздрогнула, перекрестилась и прошептала: «Пресвятая Дева Мария, Матерь Божия, помолись за меня».

Мэри рассказала мне всё это за чашкой кофе с диетическим печеньем, когда мы сидели на кухне церковного дома на Уэллклоуз-сквер. Я часто её навещала. Я не была социальным работником и даже не церковным волонтером. Мне просто нравилась эта девушка, а обстоятельства встречи сблизили нас. Она доверяла мне и была явно не прочь поговорить, а так как мне хотелось больше узнать про проституток и их образ жизни, я поддерживала эти разговоры.

Я спросила:

– Почему же ты просто не ушла после такого? Ты была вольна сделать это. Никто бы тебя не остановил. Почему ты просто не ушла?

Она помолчала, обгрызая краешек печенья.

– Знаю, я должна была, но не могла оставить Закира. Он взял мою руку, сжал её и сказал: «Разве не отличное развлечение? Ничего лучше в Лондоне не найдёшь. Все ночные клубы Лондона жаждут заполучить эту танцовщицу, но я нашёл её и привёл к дяде, и он так хорошо ей платит, что в другое кафе она не пойдёт. Она выступает каждый день, принося кафе славу. Но, моя дорогая малышка Мэри, ты выглядишь уставшей. Тебе нужно в постель. Пойдём. У дяди уже готова для тебя комната».

Он нежно взял Мэри за руку и повёл через толпу мужчин и девушек, расталкивая их и защищая её рукой.

Она сказала мне:

– Я знала, что Закир заботился обо мне тогда, ведь он относился ко мне не как к остальным. Он ухаживал за мной и защищал ото всех этих грубых мужчин, правда же?

Я вздохнула. Глядя с высоты своих двадцати трёх, я размышляла, может ли в самом деле девочка четырнадцати-пятнадцати лет настолько подпасть под очарование красноречивого подлеца. Тогда я думала, что сама бы не подпала. Но сейчас я в этом не уверена.

Он привёл её на кухню и сказал:

– Это лестница в верхние комнаты. Они очень хорошие и красивые. Вот увидишь. Если хочешь в туалет, он во дворе.

Он указал на крытую шифером деревянную будку. Мэри хотела и, прошептав: «Не уходи», пошла. Пахло омерзительно, но в темноте Мэри не видела, сколько нечистот покрывает мокрый и скользкий пол.

Она вернулась к Закиру, и тот провёл её через кухню на второй этаж, где извлёк ключ, открыл дверь и включил свет.

Мэри очутилась в комнате, подобной которой она в жизни не видела и даже вообразить не могла. Лампы сияли со стен, а не с потолка, некоторые – даже со штор. По стенам висели отражающие свет зеркала. Она ахнула: отовсюду мерцало золото и серебро, хотя на деле они оказались всего лишь хромом. В центре комнаты стояла огромная латунная кровать, застланная, как ей казалось, шёлковым покрывалом. После тёмной убогой обстановки кафе внизу эта комната казалась раем.

Она прошептала:

– О, это прекрасно, Закир, просто прекрасно. Твой дядя действительно отдаёт мне эту комнату?

Он рассмеялся и ответил:

– Самая красивая комната в Лондоне. Лучше ты нигде не найдёшь. Ты счастливица, Мэри, надеюсь, ты это понимаешь.

– О, я понимаю, я понимаю, Закир, – выдохнула она, – и от всего сердца благодарю.

Он совратил её с профессиональной лёгкостью. Мэри не хотела говорить об этом, а я не хотела на неё давить. Я чувствовала, что память о той единственной ночи была для неё свята. Но всё же она сказала:

– Я уверена, что он любил меня, потому что никто никогда так ко мне не прикасался. Все остальные мужчины были грубыми и ужасными. А Закир – нежным и прекрасным. Я думала, что умру от счастья в ту ночь. Лучше бы умерла, – тихо добавила она.

Они лежали в объятиях друг друга, наблюдая, как дневной свет прогоняет мягкую тьму, и он прошептал: «Ну, моя маленькая Мэри, тебе

понравилось? Думала ли ты, что с тобой может произойти нечто подобное? Есть ещё много всего, что я могу тебе показать».

– И тут я совершила ужасную ошибку, – сказала она мне. – Если бы не это, он бы по-прежнему меня любил. Но я подумала, что должна рассказать ему правду, чтобы между нами не стояло никаких секретов. И я рассказала ему о маминном мужчине в Дублине и о том, что он со мной делал. Тогда Закир оттолкнул меня и, вскочив, закричал: «И что я трачу на тебя время, маленькая потаскушка! Я занятой человек. Я могу и получше распорядиться своим временем. Вставай и одевайся». Он отвесил мне пощёчину и бросил одежду. Я заплакала, а он снова ударил меня и сказал: «Хватит хныкать. Одевайся, и побыстрее». Я оделась так быстро, как только могла, и он вытолкнул меня за дверь, на лестничную площадку. Потом его настроение снова переменялось, и он мне улыбнулся. Вытерев мне глаза платком, Закир сказал: «Ну, ну, моя маленькая Мэри. Не плачь. Всё будет хорошо. Я вспыльчивый, но отходчивый. Если будешь хорошей девочкой, я всегда буду о тебе заботиться».

– Он обнял меня, и я снова почувствовала себя счастливой. Я поняла, что зря рассказала ему про ирландца. Понимаешь, ранила его чувства. Он хотел быть первым.

Её наивность поразила меня. После всего, что она пережила и чему стала свидетелем, Мэри действительно цеплялась за мечту, что Закир любил её и так ценил её девственность, что любовь испарилась, едва он узнал об изнасиловании пьяным ирландцем?

– Закир отвёл меня в кафе и позвал одну из женщин, которая прошлой ночью держала девушке на столе ногу. Он сказал ей: «Это Мэри. Она будет в порядке. Скажи дяде, когда он проснётся». Потом обратился ко мне: «Теперь мне нужно идти. Я занятой человек. А ты останешься с Глорией – она за тобой присмотрит. Делай, что скажет дядя. Если будешь хорошей девочкой и сделаешь всё, что велит дядя, я буду доволен. А не сделаешь – рассержусь».

Мэри прошептала:

– Когда ты вернёшься?

Он ответил:

– Не волнуйся, вернусь. Оставайся тут и будь хорошей девочкой, делай всё, что говорит дядя.

Жизнь в кафе

За время работы в Ноннатус-Хаусе я много раз ходила по Степни и видела, что представлял собой этот район. Он наводил ужас. Трущобы там были хуже, чем я могла себе вообразить. Не верилось, что он находился всего в трёх милях от Поплара, где, несмотря на бедность, плохое жильё и перенаселённость, обитали дружелюбные добросердечные люди. В Попларе всякий окликал медсестру: «Привет, дорогуша, как сама? Как поживаешь?» В Степни же со мной вообще никто не разговаривал. Я ходила по Кейбл-стрит, Грейсис-элли, Док-стрит, Сандер-стрит, Бэкхаус-лейн, Леман-стрит, и атмосфера там стояла зловещая. Девушки слонялись по подворотням, мужчины, часто по несколько человек, ходили туда-сюда по улицам или ошивались возле дверей кафе, куря или жуя табак и сплёвывая. Не желая получать непристойные предложения, я всегда облачалась в полную форму медсестры. Я знала, что на меня все смотрят и что мне совсем не рады.

Дома, определённые под снос двадцатью годами ранее, по-прежнему стояли, и в них по-прежнему кипела жизнь. В них оставались семьи и старики, которые не могли переехать, но в основном жили проститутки, бездомные эмигранты, пьяницы и наркоманы. Универсамов с продуктами и предметами первой необходимости не было: все они превратились в круглосуточные кафе, а на самом деле – в бордели. Единственные магазины, которые мне попадались, – табачные.

Многие постройки, судя по всему, не имели крыш. Отец Джо, викарий из церкви Святого Павла, рассказывал мне, что знал семью из двенадцати человек, жившую в трёх верхних комнатах, натянув вместо крыши брезент. Большинство верхних этажей стояли заброшенными, тогда как на нижних, защищённых ещё не разрушившимися верхними, кишели люди.

На Уэллкоуз-сквер стояла (сейчас снесена) начальная школа, примыкавшая к Кейбл-стрит. Мне сказали, что через забор школы бросают всякую дрянь, и я поговорила с местным дворником. Он родился и вырос в Степни, весёлый ист-эндец, но стоило мне заговорить с ним, как он помрачнел. Он сказал, что приходит каждое утро пораньше, чтобы прибраться, прежде чем в школу прибегут дети: на школьной площадке обнаруживались грязные, залитые кровью и вином матрасы, гигиенические

прокладки, нижнее бельё, простыни в крови, презервативы, бутылки, шприцы – всё, что угодно. Дворник сказал, что каждое утро сжигает подобный мусор.

Напротив школы, на Грейсис-элли, стоял разбомбленный дом, в который владельцы кафе каждую ночь сбрасывали точно такой же мусор, только его никто не выгребал и не жёг, и он всё копился и копился, воняя до небес. Я никогда там не ходила – с меня хватало вони за пятьдесят ярдов, – так что никогда не посещала Грейсис-элли, хотя слышала, что там всё ещё жили несколько степнийских семей.

Здесь господствовали бордели, сутенёры и проститутки, и убогие заброшенные дома, казалось, злорадно глядели на эту отвратительную торговлю и злые, жестокие местные порядки. Чем бóльшую известность приобретали кафе на Кейбл-стрит, тем больше туда стекалось клиентов, так что торговля шла в гору. Местные жители ничего не могли поделать. Музыкальные автоматы заглушали их голоса. Как я слышала, они жили, смертельно боясь пожаловаться, раздавленные масштабом катастрофы.

В Ист-Энде всегда существовали публичные дома. Конечно, существовали – куда же в доках без этого. А чего вы ожидали? И они всегда принимались как данность, с ними мирились. Но когда сотни публичных домов заполнили небольшой район, мириться с такой жизнью стало для местных жителей невыносимо. Впрочем, я вполне понимаю, почему они не жаловались и никак не мешали владельцам кафе наживаться – боялись мести. Наградой за мужество могли стать разве что поножовщина или избиение.

Я была рада, что ходила на Сандер-стрит только среди бела дня. Из грязных окон, опираясь на подоконники, выглядывали измученные раскрашенные девушки – явная живая реклама для мужчин. Так как Сандер-стрит шла прямо от Коммершиал-роуд, мужчины постоянно заглядывали туда и прогуливались вдоль улицы. Всего десять-пятнадцать лет назад в этих стоявших аккуратным рядком домах жили семьи и играли дети. Когда здесь ходила я, они уже выглядели декорацией из фильма ужасов. Девочки в окнах, конечно, ко мне не приставали, но вокруг хватало крупных, зловещего вида мужчин, впивавшихся в меня взглядом, словно бы говорящим: «Убирайся отсюда». Неужели какие-то степнийские семьи действительно жили среди всего этого? Видимо, да. Я заметила два или три домика с чистыми окнами и занавесками и вымытыми порошками. Видела старушку, ковылявшую вдоль стены, опустив глаза, к своей двери. Воровато оглянувшись, она открыла дверь ключом, а потом быстро закрыла её за собой. Я слышала, как щёлкнули две дверные задвижки.

Среди владельцев служебных собак, будь то пастушьи, сторожевые, полицейские или ездовые, есть поговорка: «Не любезничайте с ними, или они не будут работать на вас». То же касается сутенеров и проституток. К девушкам относились как к собакам, даже хуже. Собак покупают или разводят, и, как следствие, обычно о них хорошо заботятся. Они являются дорогостоящей собственностью, а потеря ценной собаки – большим убытком. Девушки же – материал расходный. Их не покупают, как собак или рабов, хотя они и влечат рабское существование, удовлетворяя желания и прихоти своих владельцев. Большинство девушек идут на эту сделку добровольно, не понимая толком, во что ввязываются, и в течение очень короткого времени обнаруживая, что не могут выбраться – что оказались в ловушке.

Закир оставил Мэри со словами: «Будь хорошей девочкой и делай всё, что тебе велят, и я буду доволен». Мэри прожила с этим обещанием не один месяц. Ради улыбки Закира она была готова пойти и шла на всё.

Около восьми утра он оставил её с Глорией, старой закалённой профессионалкой лет пятидесяти, иногда работающей, но в основном следящей за состоянием девушек. Без улыбки осмотрев Мэри, она сказала:

– Ты слыхала, чё он сказал. Ты должна делать, чё те велят. Поди уберись в кафе и на кухне, пока Дядя не спустился.

Мэри не знала, что делать. Помещение выглядело таким большим и беспорядок в нём стоял такой, что она не знала, с чего начать. В их ирландской хижине убраться было как нечего делать: кровать, стол, коврик, скамейка – вот и всё. Но кафе казалось огромным. Девушка в замешательстве озиралась по сторонам, как вдруг ей в поясницу впечатался тяжёлый ботинок, швырнув её вперёд на ярд, а то и на два.

– Приберись, ленивая сука, хватит стоять и пялиться в одну точку.

Мэри подскочила. Вспомнив, как Закир говорил про работу в кафе посудомойкой, она бросилась собирать грязные стаканы, кружки, плевательницы, немногочисленные грязные тарелки. Потом поспешила на кухню, оказавшуюся очень грязной, к жирной раковине. Из крана текла только холодная вода, но она старательно вымыла всё, как могла, а потом вытерла посуду грязным обрывком старой простыни. Глория тем временем ставила стулья на столы.

– Вымой пол, как закончишь, – крикнула она.

Метлы не было, но нашлась мокрая швабра, и Мэри повозила ею по полу, скорее просто размазывая грязь.

– Так-то лучше, – кивнула Глория. – А теперь займись-ка нужником.

Мэри не поняла.

– Дерьмом, туалетом, уборной, тупица!

Мэри вышла во двор. Там сильно воняло. За ночь туалетом воспользовались, наверное, больше сотни мужчин, и так каждую ночь, а не чистили его толком годами. Большинство мужчин мочились на землю вокруг будки, так что брусчатка постоянно была мокрой и скользкой. Туалетной бумаги не было, только валявшиеся повсюду обрывки газет. Многих клиентов вырвало, и тем тёплым летним утром вонь от всего этого поднималась знатная. Девочки пользовались тем же туалетом, и, так как мусорного ведра не было, по всему двору валялись использованные гигиенические прокладки.

Мэри в ужасе уставилась на всё это, но, опасаясь очередного пинка в спину, быстро приступила к работе. Пройдясь по двору нашедшейся здесь метлой, она смела самую мерзкую грязь в угол. Потом набрала ведро воды и окатила брусчатку. Кажется, это помогло, так что она притащила ещё несколько вёдер и повторила процедуру.

Глория вышла и молча всё оглядела. Вытащила сигарету изо рта.

– Ты хорошо поработала тут, Мэри. Закир будет доволен. Дядя тож'.

Мэри светилась от удовольствия. Больше всего на свете ей хотелось угодить Закиру. Указывая на кучу грязи в углу, она робко проговорила:

– А с этим что делать?

– Оттащить к разбомбленному дому на Грейсис-элли. Я покажу тебе, где это.

Подбирать мусор пришлось руками – ничего другого не было. Мэри, конечно, не обрадовалась, но всё сделала. Пришлось четырежды сходить к тому дому, чтобы ото всего этого избавиться.

Мэри чувствовала себя ужасно грязной. Последний раз она мылась на канале, а одежду не меняла уже много дней. Пройдя на кухню, она ополоснула лицо, руки и ноги холодной водой и сразу почувствовала себя лучше. Попыталась вспомнить, что произошло с узелком, в котором лежала её чистая блузка. Прошлым вечером его нёс Закир, и с тех пор она своих пожитков не видела. Девушка спросила Глорию, куда он мог их положить. Та рассмеялась.

– Ты их больше не увидишь, – сказала она. И Мэри действительно не увидела.

В тот момент в кафе зашёл мужчина. Он был одним из бравших у мужчин деньги кастетчиков, которых Мэри видела прошлой ночью, коренастый, с большим, нависающим над поясом животом. По полу шаркали его грязные тапки, руки были испещрены татуировками. Его лицо

оказалось таким страшным, что Мэри даже лишилась дара речи. Она попятилась обратно во двор. Это был Дядя.

– Вернись сюда, – крикнул он.

Мэри была не в силах послушаться и, дрожа, встала перед ним.

Он просто уставился на неё суровыми чёрными глазами и затянулся сигаретой. Протянув пухлую руку, схватил Мэри за плечо, повертел голову из стороны в сторону и сказал:

– Слушайся меня, будь хорошая девочка. Я за тобой присмотрю. А будешь плохая...

Он не закончил фразу, лишь скривил губы и пригрозил Мэри кулаком. Потом сказал Глории: «Забери её» – и ушёл.

Старое здание состояло из магазина, заднего двора, двух комнат на цокольном этаже и порядка возьми – на верхних. Все комнаты разделялись на три-четыре клетушки тонкими перегородками. В каждой клетушке стояла узкая кровать, а в некоторых – от четырёх до шести двухъярусных. Все кровати были покрыты грязными серыми армейскими одеялами.

Мэри отвели наверх, мимо золотой с серебром комнаты, где она провела ночь с Закиром, под самую крышу дома. На чердаке ютилось девушек двадцать, лежавших на полу или двухъярусных кроватях. Большинство спали.

Глория сказала:

– Побудешь здесь. Понадобись нам позже.

Мэри устроилась на полу в углу. В своей жизни она не знала ничего, кроме бедности, и ещё с дублинских дней ночевала только во временных жалких пристанищах или под открытым небом, так что не удивилась и не смутилась. На чердаке было жарко, и она скоро уснула. Проснулась около двух часов дня от движения. Большинство девушек уходило с чердака. Она тоже встала, но ей сказали оставаться на месте.

Мэри провела на чердаке весь день в компании от души храпящей девушки, которую видела накануне танцевавшей на столе. Ни еды, ни питья она не получила и просидела весь день, мечтая о Закире.

Та девушка проснулась ранним вечером. Её звали Долорес, ей было около двадцати. Эта весёлая, пышущая здоровьем девчонка занималась проституцией с самого детства. Она не знала никакой другой жизни и не могла представить, как ещё зарабатывать на жизнь.

Сонно сев, она увидела Мэри и спросила:

– Ты новенькая?

Мэри кивнула.

– Бедняжка, – вздохнула Долорес. – Не обращай внимания – привыкнешь. Когда привыкаешь, становится нормально. Тебе нужно придумать трюк, как у меня. Я стриптизёрша. Но не одна из этих твоих обычных стриптизёрш. Я – *артистка*. – Слово «артистка» она произнесла с большой гордостью. – Пойдём, лучше спуститься в кафе, пока Глория не поднялась сюда. Тебе нужна чистая блузка, на вот, держи одну из моих. И нужно накраситься. Я помогу.

Она всё время болтала, пока одевалась, делала причёску себе и Мэри и красила их обеих. Мэри она понравилась, её повышенная жизнерадостность оказалась заразительна.

– Вот так, теперь ты выглядишь прекрасно.

На самом деле Мэри выглядела гротескно, но не замечала этого. Увидев в зеркале отражение своего накрашенного лица, девушка заволновалась.

– А Закир будет сегодня вечером? – спросила она.

– Да увидишь ты его, не бойсь.

Мэри была вне себя от радости и последовала за Долорес в кафе на вечернее развлечение.

Они подошли к большому столу, за которым уже сидели девочки. Закир сидел за угловым столиком, и сердце Мэри забило чаще. Она шагнула к нему, но он, не говоря ни слова, отмахнулся, и Мэри печально села среди других девушек. Они почти не говорили, только пялились на неё. Одна или две слегка улыбнулись, остальные откровенно хмурились. Одна грубоватая, злобно смотрящая на неё девушка сказала: «Гляньте на неё. Последняя из Закировых. Кем она себя возомнила! Скоро мы поставим её на место. Ты увидишь, Мэри, обратную сторону двери».

Мэри сказала, что ей не очень-то это понравилось и захотелось уйти.

– И почему ж ты не ушла? – вновь поинтересовалась я.

– Потому что за угловым столиком сидел Закир, а я бы ни за что на свете его не покинула.

Предполагаю, что именно так он заполучал и удерживал большинство своих девушек.

Я спросила:

– Если бы ты знала, в какую жизнь он тебя втягивал, ты бы ушла?

Она подумала и ответила:

– Поначалу я об этом не думала. Пока не увидела, как он привёл ещё нескольких молодых девушек и сидел с ними за угловым столиком, – тогда я начала понимать, что он имел в виду, говоря, что работает «закупщиком мяса». Мне хотелось подбежать к девушке и предупредить, но я не могла, да и всё равно ничего хорошего бы не вышло.

В ту ночь у Мэри были первые клиенты. Её выставили на аукцион как девственницу, предложивший самую высокую цену получил её первым, за ним последовали ещё восемь. На следующий день Закир приобрёл её и сказал, что очень доволен. Он сверкнул улыбкой, и её сердце растаяло. Мэри жила этой улыбкой и другими, которыми он милостиво её достаивал, многие месяцы.

Первую неделю клиенты подбирались из мужчин, проходящих в кафе; они платили самому Дяде. Она ненавидела это и находила мужчин отвратительными, но Долорес и остальные говорили: «Привыкнешь».

Когда же её вытолкали на улицу искать собственных клиентов, начался настоящий кошмар.

– Я должна была приносить по фунту^[24] в день, – сказала она. – Если не приносила, Дядя бил меня по лицу или сбивал с ног и пинал. Сначала я просила по два шиллинга [10 пенсов по нынешним деньгам], но на улице было столько других девушек, просящих шесть пенсов или один шиллинг, что и мне пришлось снизить цену. Иногда мы с мужчинами возвращались в кафе, а иногда делали это в переулках или подъездах, прижавшись к стене, где угодно – даже в разбомбленных домах. Я ненавидела себя. Девочки дрались за места, мужчины – за девочек. Если девушка пыталась перейти к другому покровителю, ей могли перерезать горло. Вы просто не представляете, какие ужасы там творятся.

Я всё время была на улице. Удавалось немного поспать по утрам, но после полудня приходилось уходить до пяти, а то и до шести утра. Мне почти не перепало никакой еды – только картошка в кафе, если повезёт. Я ненавидела всё это, но не могла остановиться. Я грязная, я плохая, я...

Я прервала её, не желая, чтобы она заикливалась на самобичевании:

– В конце концов ты всё же ушла. Что заставило тебя так поступить?

– Ребёнок, – тихо сказала она, – и Нелли. Мне нравилась Нелли, – продолжила Мэри. – Она была единственной, кто всегда был добр ко всем остальным девушкам. Она ни с кем не ссорилась и никогда не злилась. Нелли приехала из детского дома в Глазго, она не знала ни отца, ни матери, ни были ли у неё братья и сёстры. Она всегда была одна, я думаю, потому что глубоко внутри всегда искала кого-то, кто принадлежал бы лишь ей. Она была на два года старше меня.

Потом Мэри открыла мне страшную правду:

– Глория узнала, что Нелли ждёт ребёнка. Девушкам в кафе и раньше случалось забеременеть, но меня это не касалось, потому что я не дружила с ними. Глория договорилась, и к нам пришла женщина. Не знаю, кто она, но девочки сказали, что она всегда делает это. Было утро, я спала после

очередной бессонной ночи. Я услышала ужасные крики и сразу поняла, что это Нелли. Сбежав вниз, я нашла её в маленькой комнате. Она лежала на кровати и кричала, а Глория и две другие девушки держали её ноги широко разведёнными, пока та женщина вставляла в неё что-то похожее на острые стальные спицы. Я кинулась к Нелли, и обняла её, и сказала, чтобы они прекратили, но они, разумеется, не послушали меня. Я не могла остановить Неллины страдания, так что я просто покрепче её обняла.

Я попросила Мэри рассказать мне побольше о Нелли.

– Это было ужасно. Женщина всё тыкала и выскабливала. Потом вдруг всё стало в крови. Кровать, пол, сама женщина. Она сказала: «Вот и всё. Пусть полежит пару дней в кровати. Она будет в порядке». Они всё почистили и выбросили в разбомбленный дом, а я осталась с Нелли. Она была мертвенно бледной и по-прежнему испытывала боль. Я не знала, что делать, так что просто осталась с ней, дала воды и попыталась устроить поудобней. Глория заглядывала время от времени и велела мне сидеть с Нелли и не ходить в ту ночь на улицу.

Мэри заплакала.

– Иногда она меня узнавала, а иногда нет. Она была ужасно горячей: кожа буквально горела. Я обтирала её холодной водой, но это не помогало. И всё это время из неё текла кровь, пока матрас не пропитался насквозь. Я просидела с нею весь день и всю ночь, но боль всё не отступала. Ранним утром она умерла у меня на руках.

Мэри помолчала, а потом с горечью добавила:

– Я не знаю, что они сделали с её телом. Никаких похорон не было, и полиция не приезжала. Думаю, они просто от неё избавились, никому не сказав.

Я задумалась: возможно ли спрятать тело? Если у девушки нет ни родственников, ни друзей, кто спохватится, если она исчезнет? Её знали другие девушки из кафе, но, похоже, так боялись Дядю, что никому бы не рассказали. Если бы Глорию или подпольную акушерку поймали, их бы обвинили в убийстве или, по крайней мере, в причинении смерти по неосторожности, так что они соткали вокруг себя защитную паутину. Я не сомневалась, что так пропадали многие проститутки, и никто не искал их, потому что обычно они были бездомными, никому не нужными девочками.

Пару месяцев спустя Мэри поняла, что тоже беременна, но страх заставил её это скрыть. Она продолжала выходить на панель, хотя большую часть времени чувствовала недомогание. Мэри призналась, что хотела сбежать, но слишком боялась, потому и не пробовала.

Ребёнок для неё ничего не значил, пока она не почувствовала, как он

шевелится, – тогда-то девушку и охватил прилив материнской любви.

Спустя какое-то время она переодевалась на чердаке, и тут одна из девушек закричала:

– Гляньте-ка на Мэри. Да у ей булочка в духовке!

Так все узнали.

Мэри была в ужасе и понимала, что должна уйти. Она сказала:

– Я не возражала, если бы они убили меня. Но они хотели убить моего ребёнка.

В тот вечер она вернулась с клиентом, а когда поднималась вверх, обнаружила, что дверь в золотую с серебром комнату открыта. Велев мужчине раздеваться в клетушке, Мэри юркнула в комнату, где на столе лежала целая куча денег. Она схватила пять фунтов и была такова.

Бегство

Мэри бежала, спасая свою жизнь и жизнь своего ребёнка. Она понятия не имела, куда податься, поэтому просто бежала, гонимая страхом. Стояла ночь, и воспалённое воображение рисовало сцены преследования на каждом шагу. В основном она держалась неосвещённых переулков, потому что боялась, что при свете огней больших улиц её непременно узнают.

– Я сворачивала то за один угол, то за другой, пряталась в подворотнях, потом возвращалась обратно и бежала по другой тёмной улице, всегда избегая огней больших дорог. Я бежала почти всю ночь.

На самом деле Мэри, должно быть, бегала кругами, потому что описывала реку, доки, лодки, церковь, на ступеньках которой отдыхала, что очень напоминало знаменитую Сент-Мэриле-Боу. Она ушла не слишком далеко. После того как Мэри поспала на паперти, её ночные страхи рассеялись; тогда она решила сесть на автобус и уехать далеко-далеко, где её никто не стал бы искать. И, только забравшись в автобус и увидев кондуктора, отрывавшего билетика за один или два пенса, Мэри поняла, как намучается со своими пятью фунтами. Возможно, она не смогла бы ими расплатиться. Тогда Мэри выпрыгнула из автобуса, успевшего уже тронуться, и угодила в канаву. Несколько человек поспешили помочь ей, но она была так напугана, что только отмахнулась и убежала, закрыв лицо руками.

Девушка провела весь день, прячась. Это казалось совершенно неразумным. Я спросила её:

– Почему ты не обратилась в полицию, чтобы тебя защитили?

Ответ оказался интересным:

– Не могла. Я же украла. Они бы арестовали меня или привели обратно в кафе и заставили бы отдать деньги Дяде.

Её страх перед Дядей был почти осязаемым, так что она весь день пробродила, прячась от людей. Она, должно быть, снова направилась на юг, от Боу к реке, и на Ист-Индия-Док-роуд ей наконец-то пришлось в голову попросить кого-нибудь – а именно леди, которая не выглядела имеющей отношение к проституции, – разменять пятифунтовую банкноту. Так и получилось, что, когда тем вечером я вышла из автобуса, Мэри обратилась ко мне, и я взяла её в Ноннатус-Хаус, где она впервые с тех пор, как покинула хижину в Мейо, получила нормальную еду и ночлег в

безопасности и тепле.

Сестра Джулианна позаботилась, чтобы Мэри отправилась в церковный дом на Уэллклоуз-сквер. Этот дом как убежище для проституток создал, собрав добровольцев, отец Джо Уильямсон.

Отец Джо был святым. Святые бывают разных форм и размеров – и необязательно носят нимбы. Отец Джо родился и вырос в трущобах Поплара в 1890-х. Каким-то образом пережил холод, голод, отсутствие какой-либо заботы и четыре года на фронте во время Первой мировой войны. Он рос грубым, задиристым истэндским уличным пацаном, неотёсанным и горластым, но ещё в детстве ему было видение, что Бог призывает его стать священником. Он преодолел отсутствие должного образования, махровый акцент кокни, который никто не понимал, неумение выразить себя и классовые предрассудки и был рукоположен в 1920-х. Много лет спустя, послужив приходским священником в Норфолке, он вернулся в Ист-Энд, в приход Святого Павла в Степни, в самое сердце района красных фонарей. Увидев своими глазами, какую ужасающую жизнь вели эти девушки, он посвятил остаток жизни помощи проституткам, которые хотели спастись. Уэлл-клоузский фонд существует и по сей день, по-прежнему занимаясь тем же делом.

В церковном доме Мэри смогла принять ванну, получила тёплую одежду и хорошую еду. Она жила с шестью другими девушками, которые с разной степенью успеха пытались избавиться от пагубной привычки заниматься проституцией. Мэри была слишком напугана, чтобы выходить на улицу, но постепенно страх, что её найдут и убьют, поутих, краска вернулась на бледные щёки, и её ирландские глаза засверкали.

За этот период спокойствия я навестила её несколько раз, потому что, кажется, ей этого очень хотелось, а мне хотелось узнать больше о проститутках. Именно во время этих визитов я и выведала шокирующие подробности её лондонской жизни.

Думаю, в этот краткий период Мэри была относительно счастлива, но вечно так продолжаться не могло. Прежде всего, беременность развивалась, и, хотя она могла получить дородовой уход в церковном доме, позаботиться о матери с ребёнком там не могли. Но главное, церковный дом располагался в опасной близости от Кейбл-стрит и «Полнолуночного кафе». Пока Мэри не выходила из дома, ей ничто не угрожало, но в какой-то момент она могла захотеть высунуться наружу – церковный дом не был тюрьмой. В таком случае, предполагал отец Джо, шанс, что её узнают, был вполне реальным, и её страхи быть похищенной или убитой отнюдь не

были выдумкой.

На восьмом месяце беременности её, всё ещё лишь пятнадцатилетнюю, перевели в дом матери и ребёнка, находящийся в ведении римско-католической церкви. Он находился в Кенте, и я съездила туда примерно за две недели до рождения ребёнка. Мэри переполняли волнение и счастье. Она наслаждалась компанией и дружбой других женщин и девушек, которые не были проститутками, но вышли из беднейших и уязвимейших слоёв общества. У многих из них были дети, и Мэри могла дать волю своим инстинктам в нежнейшем и счастливейшем из всех женских занятий. Монахини проводили занятия по уходу за ребёнком, и она с удовольствием купала и одевала кукол и слушала лекции о коликах, опрелостях, грудном вскармливании, считая дни до появления своего ребёнка на свет.

Персонал церковного дома получил открытку, сообщавшую о рождении девочки, названной Кэтлин, в то же утро, что и я. Я догадалась, что, должно быть, их написала одна из монахинь, ведь я знала, что Мэри умела немного читать, но едва ли могла писать. Впрочем, внизу стояло её имя, написанное печатными буквами, с рядком крестиков, обозначающих поцелуи. Я была глубоко тронута этими беспорядочными крестиками, коих насчитала около двадцати пяти, и размышляла, кому ещё она сообщила радостную весть с таким количеством поцелуев. Матери? Братьям и сёстрам? Знала ли она, где находилась её пьяница-мать или её сёстры в сиротском приюте в Дублине? Если открытка была отправлена по старому адресу, дошла ли она, или семья снова переехала? Знает ли кто-нибудь ещё? Есть ли кому-нибудь до этого дело? Слёзы наворачивались на глаза, когда я смотрела на ряд крестиков, на эти поцелуи, сыплющиеся с такой щедрой любовью на кого-то, кого она всего лишь подцепила на автобусной остановке.

Несколько дней спустя, в свой выходной, я отправилась в Кент навестить Мэри, чувствуя, что кто-то должен порадоваться вместе с нею этому замечательному событию. По пути я размышляла, как оно может на неё повлиять. В большинстве женщин материнство пробуждает всё самое лучшее, и самые ветреные, легкомысленные девочки часто превращаются в ответственных, надёжных мам, стоит только ребёнку родиться. Я не имела ни малейшего сомнения, что Мэри была милой и нежной девушкой, правда чересчур доверчивой. Думаю, в первую очередь, именно мягкая доверчивая натура в сочетании с нищетой и физическими тяготами привели её к проституции. Она, безусловно, ненавидела это и практически была рабыней. Теперь она освободилась.

Поезд уже катился по сельской местности, и я ощутила тихую волну удовлетворения и удовольствия. О том, как она будет обеспечивать себя и ребёнка, я тогда не задумывалась.

Я нашла Мэри сияющей от счастья. От неё исходило мягкое свечение первых дней материнства, и, казалось, оно окутало меня своим теплом, когда я вошла. Два месяца отдыха, хорошего питания и дородового ухода сотворили с ней чудеса. Исчез бледный, затравленный вид, прекратилось нервное движение рук, но, прежде всего, из глаз её пропал страх. Мэри совершенно не осознавала своей красоты, что делало её ещё привлекательней. А ребёнок? Конечно, каждый ребёнок самый-самый красивый в мире, но эта малышка превзошла всех остальных, даже не стараясь! Кэтлин было десять дней отроду, и Мэри рассказала мне всё о её совершенстве: как хорошо она спала, как хорошо кушала, как булькала, смеялась и брыкалась. Мэри радостно болтала, всецело поглощённая своей страстной любовью. Уходя, я думала, что это лучшее, что могло с нею произойти, и что у Мэри начинается новая жизнь.

Две недели спустя пришла открытка:

*СИСТРА ДЖЕНИ
НОНАТУН-ХОС
ПОПЛЕР ЛАНДАН*

Надо отдать должное нашей почтовой службе, что такое вообще доставили: на открытке не было марки, только адрес. На задней стороне оказалось нацарапано:

РЕБЁНОК ПРОАЛ. ПРИЖАЙТЕ К МИНЕ. МЭРИ ХХХХХХ

Забеспокоившись, я показала карточку сестре Джулианне.

– «ПРОАЛ» означает «пропал»? Если да, то куда? Ведь это не может значить, что ребёнок умер? – спросила я.

Сестра повертела открытку в руках, прежде чем ответить:

– Нет, думаю, если бы ребёнок умер, она бы написала «УМИР». Вам лучше отправиться к ней в свой выходной, – очевидно, это то, чего она хочет.

Поездка до Кента показалась утомительней, чем в предыдущий раз. Никаких счастливых мыслей, помогающих скоротать время, не возникало. Я была озадачена, и неприятное предчувствие беды не отступало.

Дом матери и ребёнка выглядел, как и прежде: приятные открытые площадки вокруг, сад, усеянный детскими колясками, улыбающиеся молодые женщины, монахини, идущие по своим делам.

Когда я вошла, меня проводили в гостиную. Увидев Мэри, я была ошеломлена. Она выглядела жутко: опухшее, красное, в пятнах лицо, огромные круги под глазами. Она невидяще на меня посмотрела. Её волосы были всклокочены, одежда – порвана. Я стояла в дверях, глядя на неё, но Мэри меня не видела; она вдруг вскочила, бросилась к окну и, беспрерывно стелая, заколотила по стеклу кулаками. Потом кинулась в противоположную сторону комнаты и забила лбом о стену. Я не верила своим глазам.

Поспешив к ней, я довольно громко окликнула её по имени. Пришлось повторить несколько раз. Девушка повернулась и, наконец узнав меня, заплакала.

Она вцепилась в меня и пыталась говорить, но слова не шли.

Я отвела её к дивану и усадила.

– Что такое? – спросила я. – Что случилось?

– Они забрали моего ребёнка.

– Куда?

– Не знаю. Они мне не скажут.

– Когда?

– Не знаю. Но она пропала. Утром её уже здесь не было.

Я не представляла, что сказать. Да и что скажешь, узнав такую страшную новость? Мы смотрели друг на друга в немом ужасе, и вдруг она содрогнулась от боли, казалось, заполнившей всё её тело. Всплеснув руками, она рухнула на подушки. Я сразу поняла, в чём тут дело. Мэри кормила грудью, и теперь, когда молоко не выходило, она чудовищно налилась. Наклонившись, я распахнула её блузку. Грудь оказалась огромными, твёрдыми, как камень, левая была ярко-красной и горячей на ощупь. «Может начаться абсцесс молочной железы, – подумала я. – Да, наверное, уже начался».

Она застонала:

– Больно, – и стиснула зубы, чтобы удержаться от крика.

Меня охватило смятение. Что же всё-таки произошло? Не верилось, что у Мэри забрали ребёнка.

Когда самый сильный приступ боли прошёл, я сказала:

– Я пойду к матери-настоятельнице.

Она вцепилась мне в руку:

– Да, я знала, что вы поможете мне вернуть ребёнка!

Мэри улыбнулась, но одновременно её глаза наполнились слезами, и, жалобно всхлипывая, она уткнулась лицом в подушку.

Оставив Мэри, я узнала, как пройти к кабинету матери-настоятельницы.

Комната оказалась пустой и бедно обставленной: стол, два деревянных стула, шкаф. Стены были выкрашены белым, и на их ровной поверхности выделялось лишь простое распятие. Мать-настоятельница, очень красивая женщина средних лет, была в чёрном одеянии с белым покрывалом. Её лицо казалось открытым и безмятежным. Я тут же почувствовала, что смогу с нею поговорить.

– Где ребёнок Мэри? – требовательно спросила я.

Прежде чем ответить, мать-настоятельница окинула меня пристальным взглядом.

– Ребёнка передали на усыновление.

– Без согласия матери?

– Согласие не требуется. Матери всего четырнадцать.

– Пятнадцать, – поправила я.

– Четырнадцать или пятнадцать – это ничего не меняет. Юридически она ещё ребёнок, и согласие не является ни действительным, ни недействительным.

– Но как же вы посмели забрать ребёнка без её ведома? Это убивает её.

Мать-настоятельница вздохнула. Она сидела совершенно прямо, не опираясь на спинку стула, сложив руки под наплечником. Она казалась не подвластной времени, старению, жалости. Только крест на груди двигался в ритме дыхания. Она сказала ровным голосом:

– Ребёнка взяли в хорошую католическую семью, в которой уже растёт один. Из-за болезни мать больше не может иметь детей. Ребёнок Мэри получит хорошее воспитание и образование. Девочка получит все преимущества хорошего христианского дома.

– Да пропади он пропадом, этот хороший христианский дом! – воскликнула я со всё возрастающей злостью. – Ничто не заменит материнскую любовь, а Мэри любит своего ребёнка. Она умрёт или сойдёт с ума от горя.

Мгновение мать-настоятельница сидела, тихо глядя на ветку дерева, качавшуюся за окном. Затем медленно повернула голову и посмотрела мне прямо в глаза. Это намеренно неторопливое движение её головы, сначала к окну, а потом обратно ко мне, помогло усмирить мою ярость. Её лицо погрузнело. «Может, она и не такая безжалостная», – подумала я.

– Мы сделали всё возможное, чтобы найти семью Мэри. Три месяца провели в поисках записей в приходских книгах и гражданских регистрах в Ирландии, но безуспешно. Мэрина мать – алкоголичка, и её невозможно найти. У Мэри нет ни дядей, ни тётей. Отец умер. Младшие братья и сёстры под опекой. Если бы мы смогли отыскать какого-либо родственника

или опекуна, который бы забрал Мэри и её ребёнка и взял бы на себя ответственность за них, она бы, несомненно, смогла его оставить. Однако мы никого не нашли. И в интересах ребёнка было принято решение об усыновлении.

– Но это убьёт Мэри, – повторила я.

Мать-настоятельница не ответила, но сказала:

– Как пятнадцатилетняя неграмотная девочка, не имеющая ни жилища, ни профессии, кроме проституции, может вырастить и воспитать ребёнка?

Настала моя очередь не ответить на вопрос.

– Она оставила проституцию, – только и сказала я.

Мать-настоятельница снова вздохнула и надолго замолчала, прежде чем ответить:

– Вы молоды, моя дорогая, и полны праведного гнева, угодного нашему Господу. Но вы должны понимать: проститутки очень, очень редко оставляют свой промысел. Слишком уж простой способ заработать. Девушка испытывает нужду, а соблазн – на каждом шагу. К чему надрываться весь день на фабрике за пять шиллингов, когда можно заработать десять или даже пятнадцать за полчаса? По нашему опыту, немного найдётся на свете вещей более разрушительных для подрастающего ребёнка, чем видеть, как мать работает на улице.

– Но вы не можете осуждать её за то, чего она ещё не сделала.

– Нет, мы не осуждаем и не обвиняем. Церковь прощает. В любом случае, совершенно очевидно, что Мэри была скорее жертвой грехов других, чем грешила сама. Но наша главная забота – защитить и воспитать ребёнка. Мэри некуда идти, когда она покинет этот дом. Кто её примет? Мы попытались найти ей постоянную работу, но кто же возьмёт на работу девочку с ребёнком?

Я молчала. Логика матери-настоятельница была неопровержима. И я в который раз повторила:

– Но это убьёт её. Она уже кажется полубезумной.

Мать-настоятельница сидела неподвижно, за окном трепетали листья. Она не говорила с полминуты. Потом произнесла:

– Мы рождаемся для страданий, страхов и смерти. У моей матери было пятнадцать детей. Выжило только четверо. Одиннадцать раз моя мать страдала от мучений, через которые проходит сейчас Мэри. Миллионы женщин на протяжении всей истории хоронили большинство детей, которых родили, и неоднократно терпели горечь тяжёлой утраты. Они пережили это – и Мэри переживёт. Они рожали других детей – и Мэри, надеюсь, родит.

Я не могла ничего сказать. Возможно, мне следовало возмущаться и негодовать, что они так самоуверенно и бесцеремонно приняли решение за Мэри; я могла бы съехидничать насчет богатства римско-католической церкви и поинтересоваться, почему же они не способны содержать Мэри и её ребёнка первые несколько лет. Я могла бы, возможно, должна была сказать много всего, но молчала, зная статистику детской смертности, видя глубокое понимание в словах матери-настоятельницы и грусть в её глазах.

И я просто сказала:

– Мэри хотя бы узнает, кто удочерил её ребёнка?

Мать-настоятельница покачала головой:

– Нет. Даже я не знаю настоящего имени. Ни одной из сестёр не говорили. Усыновление полностью анонимно, но вы можете заверить Мэри, что ребёнок попал в хорошую католическую семью и будет жить в хорошем доме.

Больше говорить было не о чем, и мать-настоятельница поднялась, показывая, что беседа окончена. Она высунула правую руку из-под наплечника и протянула мне. Длинные, тонкие, чувствительные пальцы. Не часто увидишь такую красивую руку, и когда я взяла её, пожатие оказалось решительным и тёплым. Наши глаза встретились, и в них читалась грусть и, думаю, взаимное уважение.

Я вернулась в гостиную. Когда я вошла, Мэри вскочила с дивана, её лицо светилось надеждой. Но, в одно мгновение прочитав выражение моего лица, она с криком отчаяния снова упала на диван, зарывшись головой в подушки. Я села подле неё, пытаюсь утешить, но это было невозможно. Я сказала, что ребёнок попал в хороший дом и там за ним будут хорошо ухаживать. Попыталась объяснить, что у неё бы не получилось работать и одновременно растить ребёнка. Не думаю, что она слышала или понимала, что я говорю. Её лицо оставалось спрятанным в подушках. Я сказала, что мне пора уезжать, но она вообще ничего не ответила. Попыталась погладить её по волосам, но она сердито отпихнула мою руку. Я выскользнула из комнаты, тихонько притворив за собой дверь, слишком опечаленная, даже чтобы проститься.

Больше мы не виделись. Я написала ей, но ответа не получила. Месяц спустя написала матери-настоятельнице, и она сообщила, что Мэри устроилась на постоянную работу санитаркой в больнице в Бирмингеме. Я написала ей туда, но снова не получила ответа.

Случай сводит людей и разводит. Держаться друг друга всю жизнь не получается. В любом случае, была ли между мной и Мэри настоящая дружба? Вероятно, нет. С её стороны – зависимость, с моей – жалость и,

стыдно признаться, любопытство. Мне было интересно узнать больше о тайном мире проституции, а это слабая основа для слияния умов или настоящей привязанности. Так что я позволила нашей связи распасться.

Несколько лет спустя – к тому времени я уже была очень счастлива замужем и воспитывала двоих детей – на передовицах всех газет появились заголовки о похищении ребёнка из коляски в пригороде Манчестера. Отчаявшиеся плачущие родители выступили по телевидению, умоляя вернуть ребёнка. Полиция объявила общенациональный розыск, со всех уголков страны поступали сообщения о предполагаемом похитителе, но все они оказались ложными. Двенадцать дней спустя внимание к происшествию поутихло.

На четырнадцатый день я прочитала, что в Ливерпуле при попытке сесть на корабль до Ирландии была арестована женщина. С ней был шестинедельный ребёнок, и её задержали для допроса. Несколько дней спустя появилась большая статья, сообщающая, что женщину допросили и обвинили в похищении того самого ребёнка, произошедшем две недели назад. На фотографии была Мэри.

В ожидании суда её пять месяцев держали под стражей. Всё это время я гадала, должна ли навестить её, но так и не навестила. Отчасти я сомневалась из-за того, что не могла придумать, о чём нам вообще говорить, а кроме того, с двумя детьми младше трёх лет, домом, за которым нужно было следить, и ночными дежурствами по совместительству перспектива поездки в Ливерпуль и обратно – чего ради? – откровенно пугала.

Я следила за судебным процессом в газетах. Потеря собственного ребёнка была признана смягчающим обстоятельством. Адвокат Мэри подчеркивал, что о ребёнке хорошо заботились и ничем ему не навредили. Но обвинение давило на страдания родителей и бродяжническую беспокойную жизнь, которую всегда вела Мэри. Во внимание были приняты двадцать шесть случаев попрошайничества и мелкого воровства.

Присяжные признали Мэри виновной, но заслуживающей снисхождения. Тем не менее судья приговорил её к трем годам тюрьмы с рекомендацией провести курс психиатрического лечения в период содержания под стражей Её величества.

Мэри отправилась отбывать наказание в Манчестерскую женскую тюрьму в возрасте двадцати одного года.

Сестра Евангелина

Из-за перелома плеча я не смогла сдать последний экзамен по акушерству, так что пришлось ждать ещё несколько месяцев до следующей сессии. Тогда сестра Джулианна предложила мне присоединиться к общеврачебной участковой практике – поднабраться опыта. Благодаря этому мне посчастливилось поработать со стариками, родившимися в девятнадцатом веке.

Участковой практикой медсестёр заведовала сестра Евангелина. Желая заняться медсестринским делом, я, однако, нисколько не хотела работать с сестрой Евангелиной, которую считала неуклюжей и лишённой чувства юмора. Кроме того, она дала мне понять, ненавязчиво, но ясно, что недолюбливает меня. Она постоянно придиралась: то я грохнула дверь, то не закрыла окно, то была неопрятна, то мечтательна («вечно в облаках», как она это называла), то шумна, то забывчива, то пела в приемном покое – список можно продолжать до бесконечности. По её мнению, я всё делала не так. Когда сестра Джулианна сообщила сестре Евангелине, что я буду с нею работать, она угрюмо уставилась на меня, а потом, сказав: «Хм!», развернулась и потопала прочь. И больше ни слова!

Мы проработали вместе несколько месяцев, и, хотя и не стали близки, я, конечно, начала лучше её понимать и осознала, что все монахини, в силу самого факта своей деятельности, – исключительные люди. Ни одна обыкновенная женщина не сможет жить такой жизнью. В монахинях непременно есть нечто – и многое, – отличающее их от других.

Сестра Евангелина выглядела лет на сорок пять – невообразимый возраст, когда тебе самой двадцать три. Но монахини всегда кажутся намного моложе, чем есть на самом деле, и в действительности она работала медсестрой ещё в Первую мировую войну, так что в то время, которое я описываю, ей было уже за шестьдесят.

Всё не заладилось с самого первого утра. Бойлер в женской консультации заглох, и инструменты сестры Евангелины остались не простерилизованными. Она громко и сердито крикнула, чтобы Фред пришёл и всё починил, пройдясь по «этому бесполезному человеку», пока он, немелодично насвистывая, спускался к ней со своими совками, граблями и кочергами. Мне было велено «ступать на кухню и прокипятить инструменты на газовой плите, пока я рассортирую перевязочный

материал, да поживей там». По пути к двери из переполненного лотка выпал шприц и вдребезги разбился о каменный пол. Она отчитала меня за невнимательность и неуклюжесть и всё остальное, с чем ей придётся мириться в эти дни. Когда она дошла до «ветреных юных особ», я убежала, оставив за собой разбитое стекло. На кухне обнаружилась миссис Би с полудюжиной весело кипящих на плите кастрюль, так что нельзя сказать, чтобы меня приняли с распростёртыми объятиями. Как следствие, на кипячение всех инструментов ушло немало времени, и я услышала окрик сестры Евангелины ещё до того, как покинула кухню. Она забрала у меня инструменты, чтобы упаковать в сумки, бормоча, что я, как обычно, «копаюсь и витаю в облаках и не понимаю, что у нас двадцать три инъекции инсулина, четыре перевязки, две язвы на ногах, три послеоперационных грыжи, а также две катетеризации, два мытья лежащих больных и три клизмы – и это только до ланча».

В то утро мы вышли последними. Велосипедная стоянка оказалась почти пустой. Любимый велосипед сестры Евангелины ненароком укатил кто-то другой. Нос её покраснелся, глаза выпучились, и она пробормотала, что ей «этот не нравится, а тот старый „Триумф“ слишком мал, а „Солнечный луч“ – слишком высок», и потому придётся, видимо, довольствоваться «Рейли», но не тем, который она любила.

Проявив уважение, я выкатила ей «Рейли», закрепила сзади чёрную сумку и наблюдала, как колёса прогнулись, когда её огромное тяжёлое тело взгромоздилось на велосипед. Думаю, именно тогда я поняла, что ей далеко не сорок. Со своей квадратной, объемистой фигурой сестра не могла похвастаться ловкостью, и ей удавалось крутить педали только благодаря решительности и силе воли.

Когда мы выбрались на дорогу, настроение сестры Евангелины, кажется, улучшилось, и она обернулась ко мне с чем-то вроде улыбки. Множество голосов выкрикивали на улицах: «Доброе утро, сестра Иви». Она ярко улыбалась – никогда прежде я не видела на её лице такой улыбки – и весело кричала в ответ. А один раз даже попробовала помахать, но велосипед опасно завихлял, и она оставила попытки. Я начала понимать, что она знаменита и любима в этом районе.

В домах сестра Евангелина вела себя грубовато и резко и, как мне тогда казалось, совсем не вежливо, однако все воспринимали это положительно, ничуть не обижаясь.

– Ну, мистер Томас, анализ-то у вас имеется? Не тяните кота за хвост, мне нужно быстренько всё проверить – не торчат же у вас весь день. Так, сидите смирно – сейчас уколою. Смирно, я сказала. Всё, я пошла. Начнёте

уминать сласти – помрётте. Не то чтобы меня это волновало, да и жене вашей какое облегчение, но вот ваш пёс будет скучать.

Я была поражена. В учебниках по медсестринскому делу не было и намёка на то, что с больными можно так разговаривать. Но старик с женой залились смехом, и он сказал:

– Ежели отбуду первым, придержу вам там тёпленькое местечко, а, сестра Иви? Пожаримся с вами на одном вертеле.

Я думала, сестра Евангелина разозлится на такое нахальство, но она потопала вниз в хорошем настроении, крикнув: «С дороги, мальчуган» подвернувшись в коридоре ребёнку.

Всё утро она пребывала в хорошем настроении и грубовато подшучивала над больными. Я перестала поражаться, потому что поняла: пациентам это нравится. Она обращалась с ними без тени сентиментальности и снисходительности. Старейшие доклендцы привыкли к «благодетелям» из среднего класса, благосклонно снисходящим до «второсортных». Таких кокни презирали, использовали, чтобы получить, что могли, а потом за глаза высмеивали. Однако в сестре Евангелине напрочь отсутствовала покровительственная манерность и благосклонность. На это она была просто неспособна. Воображение не было её сильной стороной, и она не могла ничего подстроить или придумать. Она была непоколебимо честна и реагировала на каждого человека и каждую ситуацию без лукавства и наигранности.

Шли месяцы, и я начала понимать, почему сестра Евангелина так популярна. Она была одной из них. Она не была кокни, но родилась в очень бедной рабочей семье из Рединга. Она никогда не говорила мне об этом (она вообще почти никогда со мной не говорила), но я догадалась по фразам, оброненными в разговорах с пациентами. Например: «Ох уж эти молоденькие домохозяйки, не понимают своего счастья! Что, уборная в каждой квартире? Помнишь старые нужники, газетку на толчке и очередь на морозе, когда уже распирает, а, папаша?»

Обычно подобное сопровождалось смехом и грубым туалетным юмором, а заканчивалось старой хохмой о парне, что провалился в выгребную яму, а вылез с золотыми часами. Туалетный юмор не считался вульгарным или бестактным среди рабочего класса первой половины прошлого века, потому что естественные отправления организма были у всех на виду. Уединиться не было возможности. Десяток, а то и больше семей пользовались одним туалетом с дверью, закрывавшей только среднюю часть проёма – верх и низ отсутствовали. Так что все знали, кто сидел внутри, все всё слышали и, главное, нюхали. Высказывание «Вот

вонючка» не было нравственной характеристикой, а простой констатацией факта.

Сестра Евангелина понимала этот грубоватый юмор и отвечала тем же. Перед клизмой она сообщала:

– А теперь, папаша, воткнём-ка петарду тебе в зад – встряхнём нутро немного. Держи горшок наготове, мамаша, и прищепки – зажать носы.

А потом вместе со всеми ухахатывалась над тем, что он недели две не «ходил» и какашка, должно быть, выросла до размеров слоновьей. И никто ни капли не смущался, особенно сам пациент.

О нет, сестру Евангелину никак нельзя было назвать лишенной чувства юмора. Единственная беда заключалась в том, что остальные в Ноннатус-Хаусе шутили по-другому. Там её со всех сторон обступали ценности среднего класса, и предохранительный клапан юмора, общего для всех остальных монахинь, для неё был наглухо закрыт. Она просто не понимала их шуток, поэтому всегда следила, когда остальные засмеются, и только потом вполсилы присоединялась.

Аналогично её собственное чувство юмора вряд ли бы оценили в монастыре. На самом деле его бы встретили суровым порицанием. Возможно, она даже пробовала в прошлом, и мать-настоятельница наложила на неё епитимью за неподобающие речи, так что юная послушница просто-напросто застегнулась на все пуговицы и стала на людях торжественно-мрачной и серьёзной. И лишь со своими доклендскими пациентами она могла быть самой собой.

Даже её речь за годы близости с кокни ушла далеко от произношения среднего класса. Сестра Евангелина никогда не говорила на кокни – это бы выглядело жеманством, на которое она была не способна, – но, естественно, переняла какие-то словечки и выражения. Она походя говорила о «хартуре», чем меня немало озадачивала, пока я не обнаружила, что на кокни это означает «отхаркивающая микстура», которую готовили из рвотного корня и продавали в каждой аптеке и в народе считали верным средством ото всего на свете. Ещё сестра использовала слова «пневмоника» вместо «пневмония», «как винт вкрутили» вместо «ревматизм», «дядя Ганя» вместо «недомогание» и «мазок верблюда» вместо «простуда». У неё было великое множество словечек для обозначения кишечного расстройства: «полилося», «пачканулся», «орган в кишках», «дрисня», «дать дроботухи» – и все они вызывали взрывы хохота. Очевидно, она понимала многое и из рифмованного сленга кокни, хотя сама не особо им пользовалась. Помню, как я была сбита с толку, услышав, как она просит принести её «молоток», и лишь оцепенело пялилась на неё, не осмеливаясь

спросить, как это понимать, пока кто-то другой не восстановил рифму до «молоток и долото» и не принёс ей пальто.

Она понимала, почему пожилые люди испытывают страх перед больницами, выражаемый презрением и насмешками. Большинство больниц Англии, даже в 1950-х, перестраивались из рабочих домов, а для людей, прошедших всю свою жизнь в страхе отправиться в рабочий дом, сами эти здания обладали аурой разрушения и смерти. Сестра Евангелина ничего не предпринимала, чтобы рассеять этот страх, и по сути активно его поощряла – узнай об этом в Королевском колледже медсестёр, ей бы не поздоровилось. Она говорила что-то вроде: «Зачем идти в больницу? Чтобы попасть в лапы каких-то студентиков?» или «Они только делают вид, что лечат бедняков, богатым на пользу». Оба утверждения подразумевали, что больницы проводят над бедными эксперименты. Она авторитетно заявляла, что с женщинами, попавшими в больницу с осложнениями после подпольных абортов, намеренно плохо обращаются. Поскольку сестра Евангелина не умела придумывать и даже преувеличивать, все ей верили. Не могу сказать, практиковалось ли такое в Англии начала века, однако в середине 1950-х я стала свидетелем ужасающей правдивости её слов, работая в парижской больнице: этот опыт я не могу забыть и по сей день.

У сестры Евангелины имелся большой запас доморощенной мудрости, которой она делилась с пациентами. Например: «Хошь – работай, хошь – гуляй, а свои ветры выпускай» с неизменным продолжением: «И в часовенке, и в храме пусть погромыхают». Однажды какой-то старик засуетился после «этого»: «Ой! Простите, сестра, без обид», а она ответила: «Никаких обид – уверена, и с пастором такое случается». Туалетный юмор неизменно вызывал куда больше веселья, чем все остальные темы, и сестра Евангелина всегда была в этом на высоте. Оправившись от первоначального шока, я поняла, что это не считается ни вульгарным, ни непристойным. Если король Франции ежедневно опорожнялся перед своими подданными, что уж говорить о кокни! С другой стороны, непристойности сексуального характера и богохульство были строжайшим табу в порядочных попларских семьях, и половая мораль активно насаждалась и поддерживалась.

Но я отвлеклась. Сестра Евангелина сильно заинтересовала меня своим прошлым: она вышла из редингских трущоб XIX века, поднявшись над крайней нищетой и малограмотностью, чтобы стать профессиональной медсестрой и акушеркой. Подобное было довольно трудно и для молодого мужчины, но чтобы девушка вырвалась из невежества и нищеты и была

принята в профессию среднего класса – просто необычайно! Только очень сильная личность могла этого добиться.

Оказалось, её ключом к свободе стала Первая мировая война. Когда она разразилась, ей было шестнадцать. С одиннадцати лет она работала на редингской бисквитной фабрике Хантли и Палмера. В 1914 по всему городу появились плакаты, призывающие людей мобилизоваться для обеспечения нужд фронта. Девушка терпеть не могла Хантли с Палмером и с юношеским оптимизмом решила, что на заводе по производству боеприпасов будет гораздо лучше. Ей пришлось покинуть дом, так как завод находился в семи милях – слишком далеко, чтобы ходить пешком, когда рабочий день начинается в шесть утра, а заканчивается в восемь вечера. Девушкам и женщинам предоставлялось общежитие, где они спали в комнатах по шестьдесят-семьдесят человек, на узких железных кроватях с матрасами из конского волоса. Юная Иви никогда раньше не спала в отдельной кровати и действительно считала это приметой лучшей жизни. Работницам выдавались форма и обувь, и так как прежде она носила только лохмотья и ходила босой, это также казалось настоящей роскошью, хотя грубые ботинки и натирали её молоденькие ножки. Еда с заводской кухни, простая и скудная, оказалась лучше всего, что она когда-либо ела, и девушка больше не выглядела бледной, осунувшейся и полуголодной. Она стала если не красавицей, то довольно симпатичной молодой особой.

На конвейере, за которым она стояла весь день, закручивая гайки в военной технике, одна из девушек рассказала о своей сестре, работавшей медсестрой, и о молодых мужчинах, раненых, больных и умирающих. Что-то шевельнулось в душе юной Иви, и она поняла, что должна стать медсестрой. Узнав, где работает сестра девушки, она обратилась к тамошней сестре-хозяйке. Хоть ей и было всего шестнадцать, Иви взяли в Добровольческий медицинский отряд, что для девушки её класса означало в действительности быть прислугой в больничных палатах. Но она не возражала. Подобную чёрную работу она делала всю свою жизнь, не рассчитывая на что-либо ещё. Но на этот раз горизонты оказались куда шире и яснее. С восхищением наблюдая за медсёстрами, Иви решила стать одной из них, чего бы ей это ни стоило.

Сестра Евангелина и её пожилые попларские пациенты частенько вспоминали Первую мировую, делились воспоминаниями и опытом. Именно из этих разговоров, подслушанных во время мытья лежащих больных или перевязок, я и собрала по кусочкам её историю. Иногда она говорила со мной напрямую или отвечала на вопросы, но не часто. Со мной она никогда особо не откровенничала. Только однажды она сказала о своих

пациентах-солдатах:

– Они были так молоды, очень молоды. Целое поколение молодых мужчин умерло, оставив целое поколение молодых женщин скорбеть.

Я поглядела на неё через кровать – она не знала, что я смотрю, – и увидела слёзы, собравшиеся в уголках её глаз. Затем, громко шмыгнув носом и топнув ногой, она немного грубовато продолжила перевязку, приговаривая: «Вот и всё, папаша, вот и всё. Свидимся через три денька. Смотри проветривай их почаще». И ут́опала.

Ей было двадцать, когда она вызвалась отправиться за линию фронта. Они с пациентом говорили о военной авиации тех дней – крошечных бипланах, изобретённых всего за двадцать лет до того. Сестра Евангелина рассказывала:

– Это было после весеннего немецкого наступления в 1918-м. Наши раненые оказались за линией фронта без медицинской помощи. Пешком к ним было не добраться, так что организовали воздушный мост. Я и десантировалась.

Пациент присвистнул:

– А у вас кишка не тонка, сестра. Разве вы не знали, что половина тех древних парашютов вообще не открывалась?

– Знала, конечно, – без обиняков ответила она. – Нам всё объяснили. Никого не заставляли. Я вызвалась добровольно.

Я посмотрела на неё другими глазами. Сколько нужно мужества, чтобы добровольно прыгнуть с самолёта, зная, что этот шаг с вероятностью в пятьдесят процентов может оказаться последним? Это был героизм высшего класса.

Однажды мы возвращались с Собачьего острова в Поплар. Тогда, как и сегодня, Вест-Ферри-роуд, Манчестер-роуд и Престон-роуд были непрерывной магистралью, повторяющей течение Темзы. Однако в те времена дорогу в нескольких местах перерезали разводные мосты, что позволяло грузовым судам войти в доки, являющие собой массу каналов, причалов, бухт и пирсов. В тот момент, когда мы подъехали к Престон-роуд-бридж, светофоры зажглись красным, ворота закрылись, и поворотный механизм моста пришел в движение. А это означало, что дорога могла быть перекрыта вплоть до получаса.

Сестра Евангелина выругалась и забормотала что-то себе под нос. (Кстати, это ещё одна черта, за которую её любили в Попларе: она была не настолько святой, чтобы не позволять себе порой тихонечко ругаться!) У нас был выбор: мы могли ждать, а могли вернуться, объехать вокруг всего

Собачьего острова и вырुлить на Вест-Индия-Док-роуд в районе Лаймхауса, преодолев расстояние примерно в семь миль. Однако сестру Евангелину это не устраивало. Толкая свой велосипед, она уверенно зашагала к воде, через ворота со знаками «ВЪЕЗД ВОСПРЕЩЁН» и «НЕ ВХОДИТЬ», мимо таблички «ОПАСНО». Заворожённая, я последовала за ней: что она ещё задумала?

Сестра потопала к скоплению барж, призывая всех попадавших в поле зрения докеров помочь нам. Несколько вышли вперёд, ухмыляясь и стягивая шапки. Одного из них сестра знала.

– Доброе утро, Гарри. Как твоя матушка? Погода наладилась, надеюсь, и её обморожение прошло. Передавай ей от меня привет. Возьми-ка велосипед, вот молодец, и помоги нам.

Подобрав длинные юбки и заткнув их за пояс, она шагнула к ближайшей барже.

– Дай-ка мне руку, паренёк, – скомандовала она здоровяку лет сорока.

Вцепившись в него, она задрала ногу, продемонстрировав на мгновение толстые чёрные чулки и длинные штаны с резинками чуть выше колена, и перешагнула на соседнюю баржу. Я поняла, что она задумала: переправиться через канал, как докеры, перепрыгивая с баржи на баржу.

Чтобы перебраться на ту сторону, надо было миновать восемь или девять стоявших на якоре барж. Мужчины, благослови их Бог, собрались вокруг. С первой баржей проблем не возникло. Но дальше две посудины лишь соприкасались бортами, через которые нужно было перебраться, при том, что баржи качались на воде. Понадобились все силы здоровяка и двух или трёх других мужчин, чтобы перетащить сестру Евангелину. Я услышала:

– Хватай-ка за ногу, ай молодец...

– Тяни!

– Держи меня.

– Толкай...

– Неплохо, сестра!

Я следовала за ними достаточно проворно, не в силах отвести глаз от этой бойкой старой монахини, её развевающегося по ветру покрывала, чётки и распятия, бешено раскачивающихся из стороны в сторону, покрасневшего от напряжения носа. Двое мужчин несли велосипеды высоко над головами, и она, обернувшись, резко их отчитала:

– Следите за нашими сумками! Это вам не шуточки!

Вторую и третью баржи прошли без приключений, но между третьей и четвёртой обнаружился зазор дюймов в восемнадцать^[25]. Сестра

Евангелина поглядела на плещущуюся воду и изрекла:

– Хм.

Затем, задрав юбки ещё выше, она тыльной стороной ладони вытерла каплю с носа и сказала здоровяку:

– Иди первым и будь готов меня поймать.

Трое молодых людей подхватили её – сестра Иви была не из лёгких, – и она ступила на край. Она стояла на узкой кромке движущейся баржи, прочно уперев свои плоские стопы, и решительно глядела на здоровяка на той стороне. Сестра тяжело дышала. Снова громко шмыгнув носом, она сказала:

– Так, если я смогу перенести свой вес тебе на плечи, то буду в порядке.

Он кивнул и протянул руки. Она осторожно наклонилась вперёд и положила руки ему на плечи, а он подхватил её под мышками, в то время как остальные придерживали её сзади. Моё сердце билось где-то в горле. Если баржа двинется или сестра Евангелина поскользнётся, никто не сможет удержать её от падения в воду. Умеет ли она плавать? Что если её утащит под баржу? Даже думать об этом было страшно. Медленно, осторожно она подняла ногу и перенесла её на следующую баржу. Подождала секунду, приходя в равновесие, и затем, быстро подобрав вторую ногу, прыгнула в объятия здоровяка. Со всех сторон закричали «Ура!», а я чуть не рухнула от облегчения. Она снова шмыгнула.

– Что же, неплохо. Не хуже, чем пукнуть в дуршлаг. Айда дальше, ребята.

Остальные баржи примыкали одна к другой, и сестра спокойно перешла на противоположную сторону канала, краснолицая, но торжествующая. Оправила юбки, взяла велосипед, улыбнулась всем и сказала:

– Спасибо, ребята, вы были на высоте. Ну, мы поехали.

И, выкрикнув привычное: «Коли хочешь быть здоров, не боися сквозняков», покатила из гавани.

Миссис Дженкинс

Миссис Дженкинс слыла загадочной фигурой. Долгие годы она слонялась по всему Доклендсу, от Боу до Кабитт-Тауна, от Степни до Блэкуолла, и при этом никто ничего о ней не знал. Основной причиной её бесконечных хождений было помешательство на детях, особенно новорождённых. Она, казалось, знала, – одному Богу известно, откуда, – когда и где начинались роды, и в девяти случаях из десяти обнаруживалась торчащей на улице возле дома. Она никогда не была многословна, а её вопросы: «Как ребёнок? Как карапуз?» никогда не менялись. Узнав, что ребёнок жив и здоров, она как будто бы успокаивалась и, шаркая, уходила прочь. Она всегда являлась во вторник днём и ошивалась у дверей женской консультации, и большинство молодых матерей сломя голову проносились мимо неё и оттаскивали детей подальше, словно она была заразной или могла наложить злые чары. Все мы слышали их комментарии: «Вот уж старая ведьма, как пить дать, глаз у неё дурной» – и, без сомнения, некоторые матери в это действительно верили.

Миссис Дженкинс нигде не привечали, никогда не хотели видеть, часто боялись, но она всё равно отправлялась в путь в любое время дня и ночи, часто в ужасную погоду, чтобы стоять на улице напротив дома, где родился ребёнок, и спрашивать: «Как ребёнок? Как карапуз?»

Она была маленькой, худой, словно жердь, с птичьим личиком и длинным острым носом, резко торчащем между впалыми щеками. Её кожа была желтовато-серой, испещрённой тысячей морщинок; казалось, у неё не было губ, потому что они запали в беззубую челюсть, и она их постоянно пожёвывала и посасывала. На голове низко сидела выцветшая чёрная шляпа, засаленная и бесформенная, из-под которой тут и там торчали пучки тонких седых волос. Летом и зимой она носила одно и то же длинное серое пальто неопределённого возраста, из-под которого высывались чудовищно большие ноги. Для такой маленькой женщины огромные ноги были не только невероятными, но и смехотворными – могу представить, сколько насмешек она выслушала, бесконечно бродя по окрестностям.

Никто не знал, где она жила. Для сестёр это была такая же загадка, как и для всех остальных. Священники также не имели ни малейшего представления. Она, судя по всему, не ходила в церковь и не принадлежала никакому приходу, что было необычно среди пожилых женщин. Врачи

тоже не знали – она не была записана ни к одному из них. Возможно, она не знала о существовании Национальной службы здравоохранения и о том, что каждый мог теперь получить бесплатную медицинскую помощь. Даже миссис Би, которая всегда была в курсе всех местных новостей и сплетен, ничего о ней не знала. Никто никогда не видел миссис Дженкинс на почте, забирающей пенсию.

Я находила её интересной, но противной. Нам доводилось часто встречаться, но разговор всегда ограничивался её вопросами о ребёнке и моим холодным ответом: «Мать и ребёнок в порядке», на который она неизменно откликалась: «Гошпади, шпасибо».

Я никогда не пыталась сама начать разговор, потому что не хотела лишний раз с нею связываться. Но однажды, когда я была с сестрой Джулианной, та подошла прямо к старухе, взяла обе её руки в свои и со всеобъятной улыбкой сказала:

– Здравствуйте, миссис Дженкинс, как я рада вас видеть. Сегодня такой чудесный денёк. Как поживаете?

Миссис Дженкинс отпрянула, в её серых глазах отразился то ли страх, то ли подозрительность, и она отдёрнула руки.

– Как карапуз? – проскрипела она.

– Ребёнок очаровательный. Прекрасная девочка, крепенькая и здоровенькая. Вам нравятся дети, миссис Дженкинс?

Миссис Дженкинс отодвинулась ещё дальше и натянула воротник пальто на подбородок.

– Девочка, грите, хор'шо. Гошпади, шпасибо.

– Да, действительно, слава Господу. Хотите посмотреть её? Уверена, что смогу получить разрешение матери и вынести ребёнка на пару минут.

Но миссис Дженкинс уже развернулась и ковыляла прочь в своих огромных, мужских на вид ботинках.

Выражение бесконечной любви и сострадания разлилось по лицу сестры Джулианны. Несколько минут она стояла неподвижно, наблюдая за скрюченной старой фигуркой, шаркающей по тротуару. Я тоже наблюдала за миссис Дженкинс и заметила, что она шаркала, потому что у неё не было сил оторвать ботинки от земли. Затем я снова посмотрела на сестру Джулианну и устыдилась. Сестра не смотрела на ботинки. Она смотрела, я чувствовала, на семьдесят лет боли, страданий и стойкости, поддерживая миссис Дженкинс беззвучными молитвами.

Я всегда сторонилась миссис Дженкинс, прежде всего потому, что она была такой замызганной. У неё были грязные руки и ногти, и единственной причиной, почему я с ней говорила, сообщая о только что родившемся

ребёнке, был страх, что она схватит меня за руку, что она делала с удивительной силой, если на её вопросы не отвечали. Проще было ответить коротко с безопасного расстояния и сбежать.

Однажды во время обхода я увидела, как миссис Дженкинс шагнула с тротуара на дорогу. Она стояла с широко расставленными ногами и мочилась в канаву, как лошадь. Вокруг было много людей, но никто из них не выглядел удивлённым видом потока мочи, льющегося в канаву. В другой раз я увидела её в переулочке между двумя домами. Она подобрала с земли клочок газеты, потом задрала пальто и начала тереть им интимные места, полностью сосредоточившись на процессе и всё время что-то ворча. Потом отпустила пальто и приступила к изучению содержимого газеты, тыкая его ногтями, нюхая, внимательно разглядывая. Наконец она сложила клочок и убрала в карман. Меня передёрнуло от отвращения.

Что ещё неприятного было в миссис Дженкинс, так это коричневое пятно на её лице, простиравшееся от носа до верхней губы и вьёвшееся в морщины в уголках рта. С учётом её туалетных привычек, которые мне довелось наблюдать, не трудно себе представить, чем мне казалось это пятно. Но я ошибалась. Узнав её получше, я открыла, что миссис Дженкинс нюхала табак (её «утешение», как она о нём говорила), и коричневое пятно образовалось именно из-за табака, выпадавшего у неё из носа.

Неудивительно, что продавцы в лавках её не обслуживали. Один зеленщик заявил мне, что может обслужить её снаружи магазина, но внутрь не пустит.

– Она жамкает все мои фрукты. Тискает сливы и помидоры, а потом ложит обратно. Никто их опосля такого не возьмёт. А мне торговлю надо весть, так что пущать её не стану.

Иными словами, миссис Дженкинс была местной «достопримечательностью», известной только по фамилии, всеми избегаемой, пугающей, осмеиваемой, но остающейся для всех полной загадкой.

Однажды сёстры получили просьбу от местного доктора из Лаймхауса посетить дом недалеко от Кейбл-стрит, что в Степни, в печально известном районе проституток, который я изучила во время краткой дружбы с Мэри, молодой ирландской девушкой. Врач сообщил, что пожилая дама с лёгкой стенокардией проживала там в ужасных условиях и, вероятно, страдала от недоедания. Имя пациентки было миссис Дженкинс.

Я свернула с Коммершиал-роуд по направлению к реке и нашла

нужную улицу. На ней уцелело всего с полдюжины домов; от остальных, уничтоженных бомбами, остались лишь выщербленные стены, торчавшие то тут, то там.

Отыскав дверь, я постучала. Тишина. Повернула дверную ручку, ожидая, что дверь могла быть открыта, но та оказалась заперта. Я дошла до угла дома, но с той стороны всё оказалось завалено мусором, а окна покрывал такой толстый слой грязи, что заглянуть внутрь не удалось. Кошка с удовольствием каталась по земле, пока другая обнюхивала груды мусора. Вернувшись к входной двери, я несколько раз постучала громче, радуясь, что ещё светло – это было не слишком удачное место, чтобы оказаться здесь одной в темноте.

В доме напротив отворилось окно, и женский голос крикнул:

– Чё хошь?

– Я участковая медсестра, и мне нужно увидеть миссис Дженкинс.

– Брось камнем в окно на третьем, – посоветовали мне.

Вокруг валялась куча камней, и я чувствовала себя настоящей дурой, стоя там в форме медсестры, с чёрной сумкой у ног, и бросая камешки в окно. «Как же туда попал доктор?» – удивлялась я.

В конце концов, после камней двадцати, часть из которых не попала в цель, окно открылось, и мужской голос с сильным иностранным акцентом крикнул:

– Вы видите старуха? Я иди.

Щёлкнули задвижки, и мужчина открыл дверь, заслонив при этом себя ею, так что я не могла разглядеть его. Он указал на дверь в конце коридора, сказав:

– Она жить там.

Коридор, облицованный викторианской плиткой, вёл мимо лестницы с изысканными резными дубовыми перилами, которые всё ещё были в отличном состоянии, хотя сама лестница разрушалась и выглядела очень опасной – хорошо, что мне не пришлось по ней подниматься. Дом, очевидно, был частью старой доброй блокированной застройки эпохи Регентства, но сейчас находился на грани разрушения. Двадцать лет назад его признали «непригодным для проживания», однако люди всё ещё здесь обитали, прячась среди крыс.

Когда я постучала в дверь, в ответ не раздалось ни звука, поэтому я повернула ручку и вошла. Комната оказалась общедомовой судомойней и прачечной, представляющей собой одноэтажную пристройку с каменным полом. К наружной её стене крепился большой медный бойлер, рядом с ним располагалась коксовая печь с асбестовой трубой, идущей вверх по

стене и ныряющей в огромную рваную дыру в потолке, через которую виднелось небо. Помимо этого, в глаза мне бросились лишь большой каток для белья с железным каркасом и деревянными валиками и каменная раковина. Комната казалась пустой и заброшенной, в ней сильно пахло кошками и мочой. Стоял полумрак: окна были настолько чёрными от грязи, что сквозь них едва ли мог проникнуть свет. По правде сказать, свет проникал главным образом через дыру в потолке.

Когда мои глаза привыкли к темноте, я различила ещё кое-что: несколько расставленных по полу блюдец с остатками еды и молока; небольшой деревянный стул и стол с жестяной кружкой и чайником; ночной горшок; деревянный шкаф без двери. Не было ни кровати, ни лампы, ни газа, ни электричества.

В дальнем от дыры в потолке углу стояло ветхое кресло, в котором сидела старуха – безмолвная, насторожившаяся, с глазами, полными страха. Она изо всех сил вжималась в спинку кресла, плотно закутанная в своё старое пальто, с шерстяным шарфом, намотанным на голову и скрывавшим пол-лица. Видны были только её глаза, пронзившие меня, когда наши взгляды встретились.

– Миссис Дженкинс, доктор сказал нам, что вам не очень хорошо и нужен медицинский уход. Я участковая медсестра. Пожалуйста, можно мне вас осмотреть?

Она натянула пальто еще выше на подбородок и молча уставилась на меня.

– Доктор сказал, что у вас проблемы с сердцем. Пожалуйста, можно мне измерить ваш пульс?

Я потянулась к её запястью, но она с испуганным вдохом отдернула руку. Я растерялась и почувствовала себя немного беспомощной. Не хотелось её пугать, но надо было как-то делать свою работу.

Я подошла к незажжённой печи, чтобы прочитать записи в льющемся через дыру свете. Признаки указывали на слабый приступ стенокардии. Пациентка упала на улице возле дома, и неназванный жилец отнёс её к ней в комнату; тот же человек вызвал доктора и открыл ему дверь. Женщине, очевидно, было больно, но, кажется, всё быстро прошло. Врач не смог осмотреть пациентку вследствие её яростного сопротивления, но так как пульс стабилизировался и дыхание значительно улучшилось, он рекомендовал медсёстрам проверять её дважды в день, а Службе социальной помощи – улучшить жилищные условия женщины. В случае нового приступа был прописан амилнитрит. Приветствовались покой, тепло и хорошее питание.

Я снова попыталась измерить пульс миссис Дженкинс, с тем же результатом. Спросила, не испытывает ли она больше болей, но не получила ответа. Поинтересовалась, удобно ли ей, – снова молчание. Я поняла, что ничего не добьюсь и придётся доложить обо всём сестре Евангелине, заведовавшей медсестринской участковой практикой.

Признаваться сестре в своем полном провале не слишком-то хотелось, так как она, кажется, по-прежнему считала меня дурочкой. Она называла меня Спящей красавицей и разговаривала со мной так, словно мне нужно было растолковывать даже самые элементарные процедуры, хотя прекрасно знала, что у меня за плечами пять лет обучения и опыт работы медсестрой. Конечно, это меня раздражало, и, нервничая, я роняла предметы или что-нибудь проливала, и тогда она называла меня «руки – крюки», отчего становилось только хуже. К счастью, нам не слишком часто приходилось работать вместе, но, если бы я сообщила, как полагалось, что не могу управиться с пациентом, ей бы неизбежно пришлось сопровождать меня во время следующего визита.

Реакция сестры Евангелины была предсказуема. Она молча выслушала мой отчёт, время от времени поглядывая на меня из-под густых седых бровей. Когда я закончила, она шумно вздохнула, словно я была самой непроходимой дурой, когда-либо носившей чёрную медсестринскую сумку.

– Этим вечером у меня двадцать одна инсулиновая инъекция, четыре – пенициллиновые, спринцевание уха, перевязка бурсита, компресс геморроя, дренажная канюля, и в дополнение, полагаю, мне нужно показать вам, как измеряют пульс?

Несправедливость задела меня.

– Я прекрасно знаю, как измерять пульс, но пациентка не позволила мне, и я не смогла её убедить.

– Не смогли её убедить! Не смогли её убедить! Вы, молодухи, ни на что не годитесь. Слишком много книжек – вот в чём ваша беда. Сидят весь день в аудиториях, забивают себе головы вздором, а потом даже пульс измерить не могут.

Она презрительно фыркнула и покачала головой, так что висевшая на кончике её носа капля разбрызгалась по всему столу и записям о пациентах, которые она заполняла. Вытащив из-под наплечника большой мужской платок, она попыталась вытереть жидкость, но только размазала чернила, что привело её в ещё худшее расположение духа.

– Глядите, что я из-за вас натворила, – проворчала она.

Кровь во мне кипела от очередной несправедливости, и пришлось

закусить губу, чтобы удержаться от резкого ответа, который бы только усугубил ситуацию.

– Что ж, мисс Я-Не-Могу-Измерить-Пульс, полагаю, в четыре мне придётся поехать вместе с вами. Запланируем этот визит первым на вечер, а потом разъедемся. Выезжаем в половине четвёртого, и ни минутой позже. Я не намерена болтаться без дела и хочу поужинать в семь, как обычно.

С этими словами она шумно отодвинула свой стул и вышла из кабинета, в очередной раз хмыкнув, проходя мимо меня.

Полчетвёртого настало слишком быстро. Мы выкатили велосипеды; сестра молчала, и это казалось куда красноречивей её ворчания. Мы добрались до дома миссис Дженкинс, не сказав ни слова, и постучали. Снова никакого ответа. Я знала, что делать, и рассказала сестре о мужчине с третьего этажа.

– Ну так подзови его тогда, а не стой столбом, пустомеля.

Стиснув зубы, я в бешенстве начала швырять камешки в окно. И как только стекло не разбила...

Мужчина крикнул: «Я иди» и снова спрятался за дверь, когда мы проходили внутрь. Однако затем добавил:

– Я больше не иди. Вы иди кругом назад, видеть? Я больше не ответить.

В тусклом свете комнаты миссис Дженкинс к нам вышел, мяукая, кот. Залетая в дыру на крыше, ветер издавал причудливые звуки. Миссис Дженкинс сидела, съежившись, в своём кресле, точно так же, как утром.

Сестра Евангелина позвала её по имени. Никакого ответа. Я начала чувствовать, как справедливость восстанавливается, – теперь-то она поймёт, что я не преувеличивала.

Сестра подошла к креслу и ласково проговорила:

– Давай, мамаша. Так дело не пойдёт. Доктор говорит, что-то с твоим моторчиком. Не верь ни единому слову. С твоим сердцем всё хорошо, как и с моим, но мы должны тебя осмотреть. Никто тебя не обидит.

Кучка тряпья в кресле не двигалась. Сестра наклонилась вперёд, чтобы проверить пульс. Рука моментально отёрнулась. Я была в восторге. «Посмотрим, как справится Сестра-Всезнайка», – подумала я.

– Здесь холодно. У тебя есть печка?

Никакого ответа.

– И темно. Как насчёт света?

Никакого ответа.

– Когда ты впервые почувствовала себя плохо?

Никакого ответа.

– Сейчас тебе немного получше?

Снова полная тишина.

Меня прямо-таки распирало от самодовольства: сестра Евангелина тоже не смогла осмотреть пациентку. Что же дальше?

То, что в действительности произошло дальше, было совершенно неожиданным, и даже сейчас, пятьдесят лет спустя, я заливаюсь краской, вспоминая об этом.

Сестра Евангелина пробурчала:

– Вот надоедливая старуха! Посмотрим, что ты на это скажешь...

Она стала медленно наклоняться над миссис Дженкинс и, сгибаясь, издала самый грандиозный пук на свете. Газы всё громыхали и громыхали, и, когда я думала, что они уже стихли, звук возобновлялся с новой силой, на тон выше. Никогда в своей жизни я не испытывала подобного потрясения.

Миссис Дженкинс выпрямилась в своём кресле. А сестра Евангелина крикнула:

– Куда он полетел, сестра? Не дай ему выйти наружу. Он там, у двери, – лови! А теперь у окна – держи его, быстро.

Из кресла раздался гортанный смешок.

– Вот так-то лучше, – радостно заявила сестра Евангелина. – Нет ничего лучше хорошего пуха, чтобы прочистить организм. Чувствуешь себя лет на десять моложе, да, мамаша Дженкинс?

Кучка тряпья дрогнула, и гортанный смех перешёл в залиvistый. Миссис Дженкинс, от которой не слышали ничего, кроме навязчивых вопросов о детях, хохотала так, что слёзы побежали по её лицу.

– Быстро! Под стулом! Кот его сцапал. Отыми, а то захворает.

Сестра Евангелина присела возле миссис Дженкинс, и обе старухи (сестра Иви ведь тоже была уже не девочкой) принялись хохотать над пуканием и попами, какашками, вонью и мусором, травя байки, правдивые или придуманные, не могу сказать. Я была глубоко потрясена. Я знала, что сестра Иви может быть грубоватой, но понятия не имела, что она обладала таким обширным и разнообразным репертуаром.

Наблюдая за ними, я отступила в угол. Они выглядели, как старухи с картины Брейгеля, одна – в лохмотьях, другая – в монашеском одеянии, хохочущие бесстыдно, но по-детски счастливо. Я в этом не участвовала, так что успела о многом подумать – и не в последнюю очередь о том, как, скажите на милость, сестре Евангелине удалось в нужный момент столь впечатляюще пустить газы. Она могла управлять этим процессом? Я знала об исполнителе из увековеченного Тулуз-Лотреком «Комеди Франсез»,

который развлекал парижскую публику 1880-х богатым разнообразием звуков, исходящих из его рта, но никогда не слышала, а уж тем более не встречала никого, кто бы на самом деле обладал такими способностями. Была ли сестра Евангелина одарена от природы или приобрела навык за счет многих часов тренировок? Мой мозг с удовольствием задержался на этой мысли. Это её коронный номер? Я представила подобное выступление в стенах монастыря, скажем, на Рождество или Пасху. Изумились бы мать-настоятельница и сёстры во Христе такому уникальному таланту?

Старушки выглядели такими невинно-счастливыми, что моё первоначальное неодобрение казалось жестоким и низменным. А что в этом, собственно, такого? Все дети без конца смеются над попами и пуками. Произведения Чосера, Рабле, Филдинга и многих других полны туалетного юмора.

Вне всякого сомнения, сестра Евангелина действовала блестяще. Мастерски. Утверждение, что от выпущенных газов атмосфера в комнате улучшилась, противоречит формальной логике, но жизнь полна противоречий. С той минуты миссис Дженкинс больше нас не боялась. Мы могли осматривать её, лечить и даже разговаривать. А я смогла узнать её трагическую историю.

Рози

– Рози? Эт' ты, Рози?

Старая дама подняла голову и крикнула, когда в передней хлопнула дверь. В коридоре слышались шаги, но Рози в комнату не входила.

Жилищные условия миссис Дженкинс улучшились довольно быстро. Вызванная доктором Служба социальной помощи провела некоторую уборку. Старое кресло убрали – там оказалось полно блох – и принесли другое, безвозмездно. Кроме того, в комнате появилась кровать, правда, спали на ней только кошки. Миссис Дженкинс так привыкла спать в кресле, что и слышать ни о какой кровати не хотела. Сестра Евангелина с кривой усмешкой заявила, что новое правительство, должно быть, имеет больше денег, чем здравого смысла, если оказывает социальную помощь кошкам.

Наиболее впечатляющим изменением была починка крыши, которой сестра Евангелина добилась, сразившись один на один с домовладельцем. Я была с ней, когда она начала взбираться по ветхой лестнице на третий этаж. Я бы не удивилась, если бы ступеньки обрушились под немалым весом сестры, о чём её и предупредила, но она лишь смерила меня взглядом и устремилась наверх – внушать домовладельцу страх Божий.

Сестра Евангелина несколько раз сурово стукнула в дверь. Та приоткрылась, и я услышала:

– Что хотеть?

Она потребовала, чтобы он вышел и поговорил с ней.

– Идти прочь.

– Нет. Если я уйду, то вернусь с полицией. Выходите сейчас же и поговорите со мной.

Я слышала слова «позор», «уголовное преследование», «тюрьма» и плаксивые оправдания, ссылавшиеся на нищету и неграмотность, но в конечном итоге дыра в крыше всё-таки была заделана толстым брезентом, придавленным кирпичами. Миссис Дженкинс была в восторге и всё ухмылялась и хихикала с сестрой Иви, когда они сидели за чашкой крепкого сладкого чая с куском домашнего торта миссис Би, который сестра неизменно приносила с собой, навещая миссис Дженкинс.

Может показаться, что заделывать дыру брезентом несерьёзно, но ничего лучше и прочнее просто не было. Здание предназначалось под снос,

но из-за острой нехватки жилья после бомбардировок Лондона в годы Второй мировой в нём всё ещё обитали люди, радуясь хоть какой крыше над головой.

Коксовая плита оказалась пригодной к использованию, только труба засорилась, однако Фред, экстраординарный истопник из Ноннатус-Хауса, прочистил её и проверил, чтобы всё работало.

Сестра Евангелина настаивала, что миссис Дженкинс должна остаться у себя дома.

– Если Службе соцпомощи дать волю, они завтра же запихнут её в дом престарелых. Я этого не допущу. Это её убьёт.

Когда мы впервые осматривали миссис Дженкинс, то нашли состояние её сердца вполне удовлетворительным. Стенокардия распространена среди пожилых людей, но при тихой жизни в тепле и спокойствии её можно держать под контролем. Основная же беда миссис Дженкинс крылась в хроническом недоедании и её психическом состоянии. Она определённо была очень странной старушкой, но сумасшедшей ли? Могла ли она причинить какой-либо вред себе и другим? Мы всё задавались вопросом, нужно ли ей к психиатру, но сказать наверняка можно было только после нескольких недель наблюдения.

Другой напастью были грязь, блохи и вши. Разбираться с этим предоставили мне.

Из Ноннатус-Хауса привезли жестяную ванну, и я вскипятила воду на коксовой печи. Миссис Дженкинс сильно сомневалась в необходимости данного мероприятия, но я лишь упомянула, что сестра Евангелина хотела бы, чтобы она помылась, и та расслабилась и хохотнула, причмокивая:

– Она такая ладная, эт' да... Я сказала своей Розе, ага. Мы так славно посмеялись. Розе и я.

Пришлось повозиться, чтобы заставить её раздеться: она была очень боязливой. Под старым пальто оказались грубая шерстяная юбка и джемпер, без майки и панталон. На её тщедушное тельце было больно смотреть. На остро торчащих костях, казалось, совсем не было плоти. Кожа висела, и я могла бы пересчитать все рёбра. Брезгливость, которую она вызывала во мне прежде, сменилась жалостью, когда я увидела её хрупкое, словно скелет, тело.

Жалостью и шоком. Шок ожидал меня, когда я взялась за её ботинки. Я и прежде замечала эти огромные, словно бы мужские, ботинки и не могла взять в толк, почему она их носит. Я с трудом справилась с засаленными узелками и развязала шнурки. Она не носила ни носков, ни чулок, и ботинки просто не сдвинулись с места. Они словно приросли к её коже. Я

попыталась растянуть один, просунув палец сбоку, и миссис Дженкинс поморщилась:

– Оставь их. Оставь.

– Нужно снять их, чтобы вы могли принять ванну.

– Оставь, – прошептала она, – моя Роза сделает.

– Как же она сделает, если её здесь нет? Если вы позволите, я их сниму.

Сестра Евангелина сказала, что, прежде чем принимать ванну, вы должны снять ботинки.

Работа обещала быть долгой, так что я завернула миссис Дженкинс в одеяло и опустилась перед ней на пол. В некоторых местах кожа в самом деле прилипла к ботинкам и грозила порваться, когда я тянула их взад и вперёд. Одному Богу известно, когда их в последний раз снимали. В конце концов, я высвободила из ботинка пятку и потянула на себя. К моему ужасу, раздался звук, похожий на скрежет металла. Что это? Что я наделала? Когда ботинок слез, моим глазам предстало необычайное зрелище. Её ногти оказались восьми, а то и двенадцати дюймов длиной и дюйм шириной^[26]. Они перекручивались и изгибались, свиваясь между собой, многие пальцы были в крови, ногтевые ложа гноились. Запах стоял ужасный. Стопы находились в плачевном состоянии. Как только ей удавалось бродить по всему Поплару с такими ногами?

Она не ворчала, когда я снимала ботинки, хотя это, должно быть, было больно, и смотрела на свои босые ноги без особого удивления, возможно, считая, что ногти у всех такие. Я помогла ей добраться до ванны, что оказалось на удивление трудно: без ботинок она едва удерживала равновесие и постоянно спотыкалась – так мешались ногти.

Шагнув через край большой жестяной ванны, она села в воду, с восторгом брызгаясь и хихикая, словно маленькая девочка. Она схватила фланелевое полотенце и шумно макнула его в воду, глядя на меня смеющимися глазами. В комнате было тепло – я растопила печку. Кошка подошла ближе и с любопытством заглянула через край ванны. Миссис Дженкинс, улыбаясь, плеснула ей водой в мордочку, и та обиженно ретировалась.

В передней хлопнула дверь, и старуха резко подняла голову.

– Роза, эт' ты? Иди сюды, девочка, и глядь-ка на свою старушку мать. Эт' редкое зрелище.

Но шаги протопали вверх по лестнице, и Роза не появилась.

Как следует отдраив миссис Дженкинс, я завернула её в большие полотенца, выданные сёстрами. Вымыла ей волосы и завернула в тюрбан. Вшей оказалось не слишком много, но я всё равно сделала сассафрасовый

компресс, убивающий гниды. Единственное, с чем я не смогла справиться, так это с ногтями – для таких монстров нужно было вызывать первоклассную педикюршу. (Кстати, из заслуживающих доверия источников мне известно, что ногти миссис Дженкинс и по сей день выставлены в витрине в главном зале Британской ассоциации педикюра.)

У монахинь был большой запас подержанной одежды, приобретённой на многочисленных благотворительных базарах, и мы с сестрой Евангелиной отобрали несколько вещей, которые я и принесла с собой. Посмотрев на майку и панталоны, миссис Дженкинс с удивлением погладила мягкий материал.

– Эт' мне? Ох, больно хороши. Лучше оставь себе, душечка, для таких, как я, они уж слишком хороши.

Уговорить миссис Дженкинс надеть нижнее бельё оказалось непросто, и, когда это наконец-то произошло, она изумлённо провела руками вверх и вниз по своему худому телу, словно никак не могла свыкнуться с мыслью о новом белье. Затем я одела её в разномастную одежду с барахолок, оказавшуюся, правда, слишком большой, и незаметно вынесла её старые лохмотья за дверь.

Миссис Дженкинс удобно расположилась в кресле, поглаживая обновки. Кот прыгнул ей на колени, и она нежно его пощекотала.

– Что-то скажет Роза, когда увидает всё это великолепие, а, котик? Поди не признает свою старушку, разодетую, как королева.

Я покинула миссис Дженкинс, радуясь, как много нам удалось сделать для улучшения невыносимых условий её жизни. Выйдя на улицу, я сложила её кишашую блохами одежду в мешок и огляделась в поисках мусорного бака. Ничего подобного не обнаружилось. Мусор из этого квартала не вывозился и не утилизировался, потому что официально в этих заброшенных домах никто не жил, а значит, коммунальное обслуживание не требовалось. Все, включая Совет, знали, что здесь на самом деле жили люди, но для чиновников это не имело никакого значения. Пришлось оставить мешок с одеждой на улице, среди другого, уже лежавшего там мусора.

Ощущение упадка и опасности окутывало весь район подобно ядовитому туману. Воронки от бомб были заполнены мусором и отвратительно воняли. К небу тянулись зазубренные остовы стен. Вокруг никого не было: утром в районе красных фонарей торговля, как правило, шла вяло. Тишина угнетала, и я была рада уйти отсюда.

Я едва свернула за угол, когда раздался этот звук. От охватившего меня ужаса я застыла на месте, волосы на затылке встали дыбом. Звук

напоминал волчий вой или крик страдающего от жуткой боли животного. Он, казалось, раздавался отовсюду, эхом отскакивая от зданий, заполняя котлованы разбомбленных домов неземной болью. Крик оборвался, а я всё ещё не могла пошевелиться. Потом он раздался вновь, и в доме напротив отворилось окно. Женщина, советовавшая мне бросать камешки, чтобы привлечь внимание домовладельца, крикнула:

– Снова эт' больная старая ведьма! Ты ж приглядываешь за ней, так? Вели ей заткнуться, или я её пришибу. Так и передай.

Окно захлопнулось.

Мысли пустились вскачь. Больная старая ведьма? Миссис Дженкинс? Быть не может! Не может она издавать такого душераздирающего крика. Всего несколько минут назад я оставила её вполне довольной и счастливой.

Звук прекратился, и я, дрожа, вернулась в дом, прошла по коридору к её двери, повернула ручку.

– Рози? Эт' ты, Рози?

Я открыла дверь. Миссис Дженкинс сидела так же, как я её и оставила, с одной кошкой на коленях и другой – вылизывающейся возле кресла. Старушка бодро подняла на меня глаза:

– Ежели увидишь Рози, скажи ей, что я иду. Скажи ей не вешать носа. Скажи ей, я иду, и малышам, и всё такое. Я мылась и чистилась весь день, и в этот раз уж они меня пустят, точно пустят. Скажи моей Рози.

Я была сбита с толку. Она не могла издавать того воя – исключено. Я проверила её пульс – нормальный, спросила, хорошо ли она себя чувствует, на что она не ответила, но причмокнула губами и уставилась на меня.

Казалось, оставаться не было смысла, но тем утром я ушла от неё с беспокойной душой.

Сестра Евангелина попросила отчитаться за утро, и я рассказала ей, что миссис Дженкинс, кажется, понравилось принимать ванну. Сообщила и о вшах, и о ногтях. Рассказала, что психическое состояние пациентки казалось стабильным: ей понравилась новая одежда, она приветливо болтала с кошками, совсем не замыкалась в себе и не сопротивлялась. Я колебалась, сообщать ли о нечеловеческом вое, который услышала на улице. В конце концов, он мог исходить и не от миссис Дженкинс, это были всего лишь догадки женщины из дома напротив.

Сестра Евангелина посмотрела на меня без всякого выражения.

– И? – спросила она.

– Что и? – вздрогнула я.

– И что ещё? О чём ты не доложила?

Она что, читает мысли? Теперь выбора не было. Я рассказала ей о жутком крике, который услышала с улицы, добавив, что не уверена, что его издавала миссис Дженкинс.

– Но и в том, что это *не* миссис Дженкинс, ты ведь тоже не уверена? Опиши крик.

Я снова заколебалась, не зная, как описать этот крик, но потом сравнила его с волчьим воем.

Сестра, не шевелясь, смотрела в свои записи, а когда заговорила, её голос был другим – приглушенным, низким:

– Тот, кто слышал этот звук, никогда его не забудет. От него стынет кровь в жилах. Думаю, плач, что ты слышала, скорее всего действительно издавала миссис Дженкинс. Раньше его называли «воем рабочего дома».

– Что это такое? – поинтересовалась я.

Она ответила не сразу, посидев какое-то время, раздражённо постукивая ручкой.

– Хм! Вы, молодухи, совсем не знаете истории, даже недавней. У вас-то самих не было никаких забот, вот в чём ваша беда. В следующий раз я поеду вместе с тобой, а ещё посмотрю, удастся ли нам раздобыть какие-либо медицинские или приходские записи о миссис Дженкинс. Продолжай отчёт.

Закончив доклад, я успела помыться и переодеться перед ланчем. Но за столом оказалось трудно включиться в общий разговор. В голове по-прежнему звучал тот ужасный волчий вой, и я всё думала о словах сестры Евангелины и вспоминала. Её объяснения воскресили в памяти то, что мой дед рассказал мне много лет тому назад о своём хорошем знакомом, впадшем в нужду. Мужчина обратился в попечительский совет за временным пособием, но ему сказали, что он не может его получить, а должен отправиться в рабочий дом. Мужчина ответил: «Уж лучше смерть», ушёл и удавился.

Когда я была ребёнком, мне указывали на местный рабочий дом, сопровождая жест испуганным приглушённым шёпотом. Даже пустое здание, казалось, вызывало страх и ненависть. Люди не ходили по дороге, на которой он стоял, или по крайней мере шли по другой стороне улицы, отвернувшись. Страх действовал и на меня, маленького ребёнка, ничего не знавшего об истории рабочих домов. Всю свою жизнь я смотрела на эти здания с содроганием.

Сестра Евангелина часто ходила к миссис Дженкинс вместе со мной, и я удивлялась, как ей удавалось разговаривать старушку. Очевидно, делиться воспоминаниями было для неё хорошей терапией, ведь она переживала

боль прошлого вместе с любящим и отзывчивым человеком.

Окружной совет предоставил сестре старые записи попечительского совета Попларского работного дома. Миссис Дженкинс сохранилась там с 1916 по 1935 год.

– Достаточно, чтобы свести кого угодно с ума, – с кривой усмешкой заметила сестра Иви.

Миссис Дженкинс приняли как вдову с пятью детьми, не способную прокормиться самостоятельно. Она была охарактеризована как «трудоспособный взрослый». В записях говорилось, что миссис Дженкинс выпустили в 1935 году, выдав ей швейную машину, которая позволила бы ей обеспечивать себя, и двадцать четыре фунта – накопления за девятнадцать лет в работном доме. Дальнейшие упоминания о детях отсутствовали.

Записи были сухими и скудными, но миссис Дженкинс сама восстановила недостающие детали в беседах с сестрой Иви. Кусочки истории всплывали то тут, то там, с полным отсутствием эмоций, словно в её судьбе не было ничего необычного. Я чувствовала, что она так много видела и так долго страдала, что принимала это как неизбежное. Счастливая жизнь казалась ей невыносимой.

Она родилась в Миллуолле и, как большинство девушек, пошла работать на фабрику в возрасте тринадцати лет, а в восемнадцать вышла замуж за местного парня. Они сняли две комнаты над ателье на Коммерциал-роуд, и за следующие десять лет у них родились шестеро детей. Затем у её молодого мужа начался кашель, и лучше всё не становилось. Полгода спустя он харкал кровью.

– Он просто зачах, – будничным тоном сказала она.

Через три месяца его не стало.

В то время миссис Дженкинс была сильна, ей не было и тридцати. Она съехала из двух комнат и заняла вместе с детьми небольшую подсобку. Вернулась к работе на фабрике по производству футболок и вкалывала там с восьми утра до шести вечера. Младшему ребёнку было всего три месяца, но десятилетняя Роза – её старшая дочь – бросила школу, чтобы присматривать за младшими. Дополнительно миссис Дженкинс брала на дом ручное шитьё и часто сидела по полночи, работая при свечах. Роза тоже научилась шить, да так хорошо, что стала помогать матери. Эти ночные часы безмолвного женского труда приносили немного денег – достаточно, чтобы прокормить семью на то, что оставалось после оплаты аренды.

Затем случилось ужасное. За оборудованием на фабрике никто не

следил, и рукав миссис Дженкинс попал в механизм, потащив её правую руку к режущему диску. Рука сильно повредилась, женщина потеряла много крови, и, пока машину не остановили, та успела перерезать сухожилия. Бедняжке ещё повезло, что она не лишилась руки вовсе. Миссис Дженкинс показала нам шестидюймовый шрам. Рану не зашивали, потому что она не могла позволить себе врача, и, хоть порез и зажил, шрам был широким, тёмно-красным и неровным. Рука выглядела слегка иссохшей, ведь сухожилия тоже остались не сшитыми. Удивительно, что она вообще могла ею пользоваться.

Миссис Дженкинс без эмоций поглядела на шрам.

– Вот оно что с нами сделали, – сказала она.

Семья съехала из подсобки и нашла пристанище в подвале без окон. Дом стоял близко к реке, и во время прилива, когда уровень воды поднимался, влага просачивалась сквозь кладку и бежала вниз по стенам. За эту лачугу владелец дома требовал один шиллинг в неделю, но откуда его взять, если мать не работает? Она пошла побираться, но полиция прогнала её, видя в ней лишь «нежелательный элемент». Она заложила своё пальто, купила на вырученные деньги спички и вышла на улицу торговать ими. Это приносило немного прибыли, но денег на то, чтобы снимать жильё и кормить детей, всё равно не хватало.

Одно за другим она заложила всё, что имела: мебель, горшки, кастрюли, тарелки и кружки, одежду, бельё. Последней была их единственная общая кровать. Миссис Дженкинс составила вместе ящики из-под апельсинов, чтобы хоть как-то приподняться над сырым полом, на них они и спали. Наконец под залог ушли одеяла, и мать с детьми жались друг к другу, чтобы не замёрзнуть по ночам.

Она попросила попечительский совет о пособии для неимущих, но председатель заявил, что она просто ленива и уклоняется от работы, а когда миссис Дженкинс рассказала о несчастном случае на фабрике и показала искалеченную правую руку, её попросили не дерзить, иначе это будет использовано против неё. Господа поспорили между собой, а потом предложили забрать у неё двоих детей. Она отказалась и вернулась в подвал к шести голодным ртам.

Без света, без тепла, среди постоянной сырости и плесени и практически без еды дети начали болеть. Семья продержалась так ещё полгода, но мать по-прежнему не могла работать. Она продала волосы, продала зубы, но этого всё равно было недостаточно.

Младший ребёнок стал вялым и перестал расти. Она называла это «истошающей лихорадкой». Когда ребёнок умер, а похоронить его не было

денег, мать положила его в ящик из-под апельсинов, утяжелив камнями, и спустила в Темзу.

Пробираясь тайком среди ночи к реке со своим мёртвым ребёнком, она наконец смирилась с поражением и поняла, что неизбежно должно произойти. Им с детьми настало время отправляться в рабочий дом.

Работный дом

Система работных домов была запущена «Законом о бедных» 1834 года. Он был отменён в 1929-м, но система сохранялась ещё несколько десятилетий, потому что обитателям работных домов некуда было идти, а прожившие там не один год утратили способность самостоятельно принимать решения и заботиться о себе во внешнем мире.

Работные дома задумывались как акт гуманизма и благотворительности, ибо прежде бедняки и нищие, гонимые с места на место, могли вообще не найти приюта и на законных основаниях могли быть забытыми своими гонителями до смерти. Для хронически бедных 1830-х система работных домов должна была показаться раем: еженощный приют, койка или общая кровать, одежда, пища – не слишком обильная, но достаточная и в обмен – работа, как плата за содержание. Система, должно быть, казалась проявлением чистой христианской добродетели и милосердия. Но всем известно, куда ведёт дорога, вымощенная подобными благими намерениями.

Миссис Дженкинс с детьми покинула подвал, задолжав за трёхнедельную аренду. Домовладелец угрожал ей кнутом, если она не заплатит на следующий же день, поэтому они ушли в ночь. Семье нечего было взять с собой; ни она, ни дети не носили обуви, одеждой им служило тряпье, наброшенное на исхудавшие тела. Грязные, голодные и продрогшие, они стояли на неосвещённой улице, звоня в большой колокол у дверей работного дома.

Дети тогда ещё не были особенно несчастны; на самом деле всё это казалось им чем-то вроде приключения – выйти тайком среди ночи и пробираться куда-то тёмными дорогами. Только их мать плакала, потому что единственная знала ужасную правду: семью разлучат, как только они войдут в ворота работного дома. Она не могла заставить себя рассказать обо всём детям и долго колебалась, прежде чем позвонить в роковой колокол. Но младший ребёнок, мальчик трёх лет от роду, начал кашлять, и она решительно потянула за ручку.

Звук эхом пронёсся по каменному зданию. Дверь открыл худой серый человек, требовательно поинтересовавшийся:

– Чего хотите?

– Приюта и еды для малышей.

– Ступайте в приёмную. Можете поспать там до утра, если вы, конечно, не временные и не идёте в Центр для временных. До утра никакой еды не будет.

– Нет, мы не временные, – устало проговорила она.

Той ночью они были единственными людьми в приёмной. Спальная платформа, приподнятая над полом деревянная конструкция, покрытая свежей соломой, выглядела привлекательно. Прижавшись друг к другу, они зарылись в душистое сено, и дети сразу заснули. Только мать не спала, до рассвета обнимая своих малюток. Сердце её разрывалось. Она знала, что это последний раз, когда ей дозволено спать с детьми.

Утренние звуки – звон ключей и хлопанье дверей – были слышны задолго до того, как открылась дверь приёмной. Наконец пришла хозяйка – решительного вида женщина, не злая, но из тех, кто видел слишком много нищих, чтобы поддаваться эмоциям. Она записала их имена и велела следовать за собой в прачечную, где их раздели и велели обмыться холодной водой в неглубоких каменных корытах. Одежду, в которой они были, забрали и выдали униформу – грубый серый серж, раскроенный так, чтобы соответствовать практически любому размеру, и всевозможную непарную обувь. Нижнего белья не выдали, но это не имело значения, потому что никто из них не привык носить майки и панталоны, даже в самую холодную погоду. Потом им обрили головы. Мальчики, нашедшие это ужасно забавным, хихикали и показывали на девочек, засовывая кулачки в рот, чтобы удержаться от громкого смеха. Миссис Дженкинс не пришлось бриться, потому что у неё и так не было волос: несколько недель назад она их продала; ей выдали капор – прикрыть голую голову. Она робко спросила, есть ли еда для её малышей, но ей сказали, что для завтрака уже слишком поздно, зато в полдень будет подан ланч.

Их повели в кабинет хозяина на разделение. Каждый с ужасом ждал этого момента, в том числе и хозяин с хозяйкой, вызвавшие четверых крепких обитателей работного дома, чтобы забрать детей.

Миссис Дженкинс убедила себя, что младшим будет не слишком плохо, ведь с ними останется Роза, которая и раньше присматривала за малышами, пока мать была на работе. Но всё произошло по-другому.

Хозяин окинул взглядом младших.

– Возраст? – требовательно спросил он.

– Два, четыре и пять, – прошептала она.

– Отвести в детское отделение. А старший мальчик? Сколько ему?

– Девять.

– В отделение для мальчиков. А девочке? – он указал на Розу.

– Десять.

– Её – в отделение для девочек, – распорядился он.

Грубые руки взялись за детей. Хозяин развернулся и вышел. Он не собирался смотреть на эту сцену. Выходя, он рывкнул на помощников:

– Делайте, как велено. Вы знаете правила.

Миссис Дженкинс не смогла поделиться с сестрой Евангелиной или со мной подробностями расставания. Они были слишком ужасны. Кричащих детей оттащили прочь, её вытолкали в женскую половину. Большие двери закрылись позади неё, ключ щёлкнул в замке. Она слышала крики своих детей и хлопанье дверей. Потом всё стихло. Гораздо позже одна дружелюбная женщина, работавшая на кухне, сказала ей, что был один мальчик, который всё время плакал и никогда не спускал глаз с огромной двери детского отделения, глядя на каждого входящего в неё человека. Он не сказал ни единого слова, кроме «мама», с того дня, когда его привели, и до того, как он умер. Был ли это её маленький мальчик? Она так и не узнала, но всё могло быть.

Я спросила сестру Евангелину об этом разделении, кажущемся слишком бесчеловечным, чтобы быть правдой, но она заверила меня, что так всё и было. Разделение – первое и наиболее строго соблюдавшееся правило работных домов по всей стране. Мужей разделяли с жёнами, родителей с детьми, братьев с сёстрами. Обычно они больше никогда не видели друг друга.

Ничего удивительного, что миссис Дженкинс помешалась.

Однажды я навестила её довольно поздно вечером. Было темно, и, подходя к её задней двери, я услышала странный приглушённый голос, будто кто-то говорил нараспев. Заглянув в окно, я увидела миссис Дженкинс, стоящую на карачках, скребя пол. Рядом стояла масляная лампа, отбрасывая на стену огромную призрачную тень от её маленькой фигурки. Вооружившись ведром воды и щёткой, женщина с маниакальным упорством намывала один и тот же клочок пола. Казалось, миссис Дженкинс повторяет при этом одни и те же рифмованные строчки, но я не могла их разобрать, а она всё не меняла позы.

Постучав в дверь, я вошла. Миссис Дженкинс подняла голову, но не обернулась.

– Розы? Подь сюда, Розы. Глядь на это, девочка. Глядь, как чистенько. Хозяин будет доволен, когда увидит, как я всё отдраила.

Она посмотрела на собственную огромную тень на стене.

– Подьте поглядите, хозяин. Вот как чисто, и всё-то я сделала. Чисто я

сделала, чтобы угодить вам, хозяин. Говорят, я смогу увидеть своих малышей, ежели ужогу вам, хозяин. Могу я? Могу? Ох, дозвоьте, хоть разик...

Миссис Дженкинс зарыдала, и маленькое тельце завалилось вперёд. Ударившись головой о ведро, она взвыла от боли.

Я подошла к ней.

– Это я, медсестра. Пришла с вечерним обходом. Вы в порядке, миссис Дженкинс?

Она посмотрела на меня, но не сказала ни слова. Старушка посасывала губы и глядела на меня, пока я помогала ей подняться и усаживала в кресло.

На голом столе стоял обед, оставленный для неё дамами из «Еды на колёсах». Нетронутый и холодный. Придвинув тарелку, я сказала:

– Не хотите ли перекусить?

Она схватила меня за запястье и с неожиданной силой оттолкнула мою руку.

– Для Розы, – хрипло прошептала старушка.

Проверив её физическое состояние, я задала несколько вопросов, ни на один из которых она не ответила. Она просто смотрела на меня, не мигая, продолжая посасывать губы.

В другой раз, когда я пришла, она, посмеиваясь, играла с куском резинки. Растягивала и отпускала его, обматывала вокруг пальцев. Когда я вошла, она сказала мне:

– Прошлой ночью моя Розы принесла мне резинку. Глядь, как она тянется. Хорошая и крепкая. Она умная девочка, моя Розы. Она всегда может раздобыть резинку и для тебя, если хочешь.

Эта Розы начала меня понемногу раздражать. Она не очень-то помогала своей старой матери. Эластичная резинка, в самом деле? Это лучшее, что она могла для неё сделать?

Но потом я увидела нежность и счастье на старом лице миссис Дженкинс, услышала тепло и любовь в голосе, когда она игралась с резинкой, приговаривая:

– Моя Розы дала мне её, она дала. Она достала её для меня, да. Славная девочка, моя Розы.

Моё сердце дрогнуло. Возможно, Розы была наивна, как и её мать, и тоже потеряла рассудок из-за юности в работном доме. Я всё гадала, сколько времени она провела там, и что случилось с её братьями и сёстрами.

Жизнь в рабочем доме была ужасна. Обитателей запирали в их отделениях, состоявших из рабочей комнаты, спальни и двора. С восьми вечера и до шести утра их держали в общей спальне, со стоком или отверстием в центре, куда они справляли нужду по ночам. Рабочее помещение было ещё и столовой, где они ели, сидя на длинных лавках. Все окна находились выше уровня глаз, чтобы никто не мог посмотреть через них наружу, а подоконники были наклонными, так что на них невозможно было забраться и сесть. Двор был обнесён каменной стеной, в которой не было ни дверей, ни ворот. По сути, это была тюрьма.

Несчастье и монотонность смазывали дни в недели, недели – в месяцы. Женщины трудились весь день, занимаясь, в основном, черной работой: обстирывали весь рабочий дом в прачечной; надраивали всё – хозяин был просто помешан на чистоте; готовили низкокачественную пищу для остальных обитателей дома; шили мешки, паруса, подстилки и, что самое странное, сортировали паклю. Старые верёвки, как правило, просмолённые, раскручивали и разделяли на пряди, которые потом использовались для конопачения кораблей. Звучит легко, но на деле это далеко не так. Верёвки, особенно пропитанные маслом, смолой или солью, могли быть твёрдыми, как сталь, и, распуская их, женщины раздирали себе руки и стирали пальцы в кровь.

Однако рабочий день был не так страшен, как часы отдыха. Миссис Дженкинс находилась среди сотни других женщин всех возрастов, в том числе больных и немощных. Многие из них оказывались сумасшедшими или слабоумными. Устав от физической работы, негде было присесть, кроме как на скамейки в центре рабочей комнаты или во дворе. Чтобы отдохнуть, женщины садились спиной к спине, поддерживая друг друга. Делать, смотреть или слушать было нечего, не было книг – ничего, чем можно занять голову. Многие женщины просто ходили туда-сюда или по кругу. Большинство разговаривали сами с собой или непрерывно раскачивались вперёд и назад. Некоторые стонали или выли в ночи. «Недолго и самой до этого дойти», – думала миссис Дженкинс.

Дважды в день их выводили во двор на получасовую зарядку. Со двора миссис Дженкинс слышала детские голоса, но стены были по пятнадцать футов^[27] в высоту, и она не могла за них заглянуть. Она попробовала звать своих детей по именам, но ей велели прекратить, а не то её больше не пустят во двор. Поэтому женщина просто стояла у стены, откуда, как она думала, доносились звуки, шепча имена, напрягая слух, стараясь уловить голоса, принадлежащие её детям.

– Не знаю, что я такого сделала, чтоб быть там. Я просто плакала всю

дорогу. И я не знаю, что они сделали с моими малышами.

Когда наступила весна, и дни стали теплее и длиннее, и вокруг забурлила новая жизнь, чего, однако, не могли видеть за стенами рабочего дома, миссис Дженкинс сообщили, что её младший ребёнок, мальчик трёх лет, умер. Она спросила, от чего, и ей ответили, что он всегда казался болезненным, так что никто и не ожидал, что он выживет. Она спросила, может ли присутствовать на похоронах, но ей ответили, что его уже закопали.

Маленький мальчик ушёл первым. Миссис Дженкинс никогда больше не видела своих детей. За следующие четыре года все они умерли один за другим. Мать просто ставили перед фактом, не объясняя причин. На похоронах она не присутствовала. Последней умерла четырнадцатилетняя девочка. Розы.

Обвал свиной

Всегда ожидайте неожиданного и никогда не ошибётесь.

Истопник Фред, понёсший серьёзный ущерб из-за вынужденного отказа от своих перепелов и глазированных яблок, теперь искал что-нибудь новое. Идея родилась из случайного замечания миссис Би, суетившейся на кухне, бормоча:

– Уж и не знаю, куда всё катится... Цена за бекон растёт каждый день! Никогда не видала ничё подобного.

Фред шараянул своим совком об пол, подняв облачко золы, и крикнул:

– Свины! Вот же оно! Свины. Так делали в войну, можно сделать и снова.

Миссис Би набросилась на него с метлой в руках:

– Ах ты, шельмец, набезобразил в моей кухне!

Она решительно подняла метлу, готовая нанести удар, но Фред ничего не слышал и не видел. Он обхватил миссис Би за талию и закружил в неистовом танце.

– Ты попала в точку, старушка, в самую точку. И почему я сам не догадался? Свины!

Он захрюкал, очевидно, изображая поросёнка, что его отнюдь не приукрасило. Миссис Би высвободилась из объятий истопника и ткнула его в грудь черешком метлы.

– Ты больной... – начала она, и он заорал на неё в ответ. Впрочем, когда ругаются двое кокни, слов уже не разберёшь.

Завтрак был окончен, и мы услышали шаги сестёр. Как только они появились в дверях, кокнийская перебранка мгновенно прекратилась.

В крайнем возбуждении Фред объяснил, что ему в голову только что пришла блестящая идея. Он будет держать свинью. Курятник легко переделать в свинарник, и не успеешь глазом моргнуть, как поросёнок будет готов отправиться на беконную фабрику и принесёт ему, Фреду, целое состояние.

Сестра Джулианна была очарована. Она выросла на ферме, любила свиной и многое о них знала. Она сказала, что Фред может брать очистки и отходы из Ноннатус-Хауса, и посоветовала пройтись по местным кафе с просьбой оказать ему аналогичную любезность. Сестра также застенчиво поинтересовалась, может ли она прийти посмотреть поросёнка, когда он

будет заселен в курятник – точнее, в свинарник.

Фред был не из тех, кто теряет время даром. Через несколько дней свинарник был закончен. Они с Долли сложили свои сбережения и вскоре приобрели розовое визжащее создание.

Сестра Джулианна рассыпалась в похвалах:

– Отличная свинья, Фред. Настоящая красавица. Это видно по ширине плеч. Вы сделали хороший выбор.

Она одарила его своей сияющей улыбкой, и Фред порозовел, прямо как поросёнок.

Он последовал совету сестры Джулианны давать поросёнку мешанку из отрубей и ореховые смеси, а также обратиться за отходами в местные кафе и к зеленщикам. Их с сестрой часто видели увлеченными серьёзной и обстоятельной беседой, во время которой истопник посасывал зуб и тихонько насвистывал, сосредотачиваясь на деталях. Сестра Джулианна также давала ему советы насчёт сена, воды и уборки навоза, немало поразив нас своими познаниями в искусстве выращивания свиней.

Для Фреда это было суматошное и счастливое время. Каждый день за завтраком мы слушали об успехах свиньи, её здоровом аппетите и быстром росте. Шли недели, и уборка навоза стала требовать от Фреда всё больше времени и усилий. Однако это, как выяснилось, было прибыльным. В большинстве домов имелись крошечные дворики, обычно не больше ярда^[28], чего, однако, оказывалось вполне достаточно, чтобы выращивать кое-какие овощи. Популярностью пользовались помидоры и, как ни удивительно, виноград, отлично растущий в Попларе и приносящий сочный урожай. Слух разнёсся быстро, и навоз Фредовой свиньи начал пользоваться большим спросом. Истопник пришёл к выводу, что от свиней не бывает никаких потерь. Чем больше он её кормил, тем больше отличного черного навоза она выдавала, и тем больше он получал денег. За несколько недель торговли навозом он окупил покупку самого поросёнка.

Весь Ноннатус-Хаус, как сёстры, так и светский персонал, воспылали интересом к свинье и финансовым чаяньям Фреда. Мы читали в газетах, что цены на мясо растут, и пришли к выводу, что Фред был очень проницателен.

Однако ни для кого не секрет, как прихотлив и переменчив рынок. Спрос вдруг упал. Случился настоящий обвал свинины.

Удар был тяжёлым. Фред помрачнел. Всё это кормление, уборка, чистка... Все планы и надежды... А теперь свинья вряд ли стоила даже забоя. Неудивительно, что кривые короткие ноги Фреда утратили былую пружинистую походку. Неудивительно, что его северо-восточный глаз

потух.

В воскресенье в Ноннатус-Хаусе отдыхали. После церкви мы все собирались на кухне, пили кофе с пирожными, испечёнными миссис Би накануне. Фред собирался уходить, но сестра Джулианна пригласила его посидеть с нами за большим столом. Разговор перешёл на свинью; сигаретка у него во рту поникла.

– Чё мне теперича с ней делать? Приходится отстёгивать деньги, чтоб её кормить, и ничё с неё не возьмёшь.

Все сочувственно забормотали «Вот так не везёт» и «Досадно», только сестра Джулианна молчала. Она пристально посмотрела на Фреда, а потом сказала, чётко и уверенно:

– Дайте ей опороситься, Фред. Вы могли бы держать её в качестве свиноматки. На рынке всегда нужны хорошие здоровые поросята, и когда цены пойдут вверх – а они пойдут, – вы сможете получить неплохую прибыль. И не забывайте, свинья обычно приносит по двенадцать, а то и по восемнадцать поросят.

Такой простой и очевидный совет, но какой неожиданный! Фред разинул рот, и сигарета упала на стол. Извинившись, он поднял её и загасил в пепельнице. К сожалению, это оказалась не пепельница, а безе сестры Евангелины, которое она собиралась съесть, о чём сообщила с присущей ей энергичностью.

Фред был смущён и бесконечно извинялся. Он взял безе, стряхнул с него пепел, вытащил окурок из крема и протянул тарелку обратно сестре Евангелине.

– Поросята. Вот и ответ! Я стану свиноводом. Лучшим на Острове.

Сестра Евангелина фыркнула и с отвращением оттолкнула безе. Но Фред уже ничего не замечал. Он словно в трансе бормотал:

– Поросята, поросяточки, я буду разводить свиней, вот чем я займусь, о да...

Сестра Джулианна, практичная и тактичная, вручила сестре Евангелине другое безе и сказала истопнику:

– Вам придётся взять «Справочник свиновода», Фред, и найти подходящего хряка. Я могу помочь, если вам нужна помощь на первых порах. Мой брат – фермер, и я могу попросить его прислать мне экземпляр.

Так всё и началось. «Справочник свиновода» прибыл, и Фред с сестрой Джулианной часами корпели над ним. Вид пытающегося читать Фреда обескураживал, потому как ему приходилось держать страницу слева от юго-западного глаза, чтобы что-нибудь разобрать. Но даже если ему

удавалось осилить одно или два предложения, язык свиноводов был для него точно иностранный, и он не справлялся без сестры Джулианны, переводившей ему непривычную тарабарщину на простой и понятный кокни.

Был выбран хороший племенной хряк, проведены телефонные переговоры, достигнута договорённость, и из Эссекса выдвинулся небольшой открытый грузовичок.

Сестра Джулианна с трудом сдерживала волнение. Поручив сестре Бернадетт присматривать за Ноннатус-Хаусом в её отсутствие, она надела своё выходное покрывало и плащ, вытащила велосипед и покатила к Фреду.

Эссекский фермер был сельским джентльменом и человеком привычки, едва ли рисковавшем покинуть пределы какого-нибудь тихого мирного Свинкс-Соломинга, выезжая на рынок в Содбери. О чём он думал, ведя свой открытый грузовичок с племенным хряком в сердце лондонского Доклендса, нам не известно. Удовлетворённо положив голову на бортик грузовика, хряк протрясся несколько миль по сельским дорогам, не вызывая ни у кого ни малейшего интереса, но на густонаселённых улицах Лондона история приобрела совсем другой оборот. Всю дорогу через Дагенхэм, Баркинг, Ист-Хэм, Вест-Хэм и вплоть до Кабитт-Тауна на Собачьем острове хряк собирал вокруг себя толпу. Это было крупное животное, чьей единственной заботой являлось совокупление; он обладал сравнительно послушным нравом, но за десять лет ему ни разу не подпиливали клыки, и в результате он выглядел гораздо свирепее, чем был на самом деле.

Когда грузовичок показался в конце улицы, сестра Джулианна уже подъехала на своём велосипеде и встретила с Фредом. Они вместе подошли к фермеру, глядевшему на них, не говоря ни слова. Сестра Джулианна встала на цыпочки и заглянула через бортик, откидывая назад покрывало, сдуваемое прямо хряку на клыки.

– Ох, какой славный парень, – взволнованно прошептала она.

Фермер посмотрел на неё, пососал свою трубку и изрёк:

– Глазам своим не верю.

Он попросил посмотреть свиноматку.

Вход во двор Фреда шёл через узкий боковой проход между домами, упиравшийся прямо в ограду доков. За нею текла Темза. Так фермер столкнулся лицом к лицу с уходящими в небо бортами океанских грузовых судов.

– Мне ни за что не поверят. Ни за что, – пробормотал он,

наклонившись, чтобы подобрать трубку и ключи, выпавшие у него из рук.

Его привели во двор Фреда.

– Вот она, и выглядит весьма радой, что твой парень к ней прикатил.

– Радой! – прорычал фермер. – Эта радость обойдётся вам в один фунт, наличными.

Фред знал цену и приготовил деньги, но всё равно проворчал:

– Бож' ты мой, фунт за перепих – дороже, чем берут в Вест-Энде.

Сестра Джулианна возразила:

– Нехорошо ворчать, Фред. Фунт – обычная ставка, так что лучше-ка вам заплатить.

Фермер странно покосился на монахиню, но Фред передал деньги без лишних слов.

Положив деньги в карман, фермер объявил:

– Отлично! Сейчас я его приведу.

Сказать оказалось легче, чем сделать.

Толпа уже собралась и всё росла – слухи на Острове распространяются моментально. Фермер подогнал грузовичок к проходу между домами, опустил задний борт прицепа и вскочил внутрь, чтобы вывести хряка, но тот встал, как вкопанный. Свиньи подслеповаты, и привыкшему к открытой местности Эссекса созданию этот проход, должно быть, показался чёрной дырой в ад.

– Залезь-ка и подсоби мне! – крикнул фермер Фреду.

Вместе они толкали, пинали и кричали на своенравного борова, готового, казалось, в кои-то веки пустить в ход свои клыки. Толпа ахнула, и матери оттащили детей подальше, когда хряк медленно и осторожно спустился наконец по сходням на своих коротеньких ножках и двинулся в проход. Но и тут не всё прошло гладко. Проход оказался таким узким, что хряк чуть не застрял. Оба мужчины толкали его сзади. Сестра Джулианна пробежала через дом, через свиной двор, через ворота с той стороны и выскочила в проход с ботвой репы в руке, объяснив, что приманит ею животное. Она тыкала ботвой прямо в пяточок, но хряк всё равно не двигался с места.

У Фреда возникла идея.

– Что нам нужно, так эт' раскалённая докрасна кочерёжка, чтобы сунуть ему в задницу – ну, как верблюдам в пустыне, когда они не хотят по мосту идти. Верблюды, они, знаешь, не ходят через воду.

– Сунешь раскалённую кочергу ему в зад – и я проделаю то же самое с твоим задом, приятель, – пригрозил фермер, продолжая толкать животное.

Наконец хряка уговорили пройти по проходу во двор Фреда. За ним

последовала толпа детей, и ещё больше отправилось в соседские сады, повиснув там на заборах.

Фермер осерчал и проговорил с лёгким нажимом:

– Убери этих зевак подальше. Свиньи – стеснительные животные, они не будут ничего делать на публику.

И вновь сестра Джулианна взяла дело в свои руки. Тихо, но авторитетно поговорила с детьми, и они разбрелись. Она, Фред и фермер пошли в дом и закрыли за собой дверь. Но сестра не смогла устоять перед искушением подсмотреть из-за занавески, как свиноматка встречает «мужа», как она упорно называла хряка.

– Ох, Фред, кажется, он ей не нравится – смотрите, она его отталкивает. А он определённо заинтересован, видите?

Фред стоял у окна, посасывая зуб.

– Нет, нет, не так! – запричитала сестра Джулианна, страдальчески заламывая руки. – Не надо его кусать. Так дело не пойдет. Ну вот, теперь она убегает! Фред, боюсь, она может его не принять. Что вы думаете?

Фред не знал, что и думать.

– Так-то лучше... Хорошая девочка. Она начинает проявлять интерес, видите, Фред? Разве не замечательно?

Фред же всё сильнее волновался:

– Он ж прибьёт её, он эт' сделает. Глядьте, какой огромный. Он кусил её! Глядьте, я не вынесу эт'го, как можно-то! Он прибьёт её иль ноги переломает иль чё ещё. Не, я пшёл эт' кончать. Варварство, грю вам.

Сестра остановила его:

– Это совершенно естественно. Так они это и делают, Фред.

Однако Фред никак не успокаивался, и сестре с фермером пришлось держать его, пока всё не закончилось.

Монахини собрались в часовне и, опустившись на колени, предались личным молитвам. Колокол прозвонил к вечерне, когда сестра Джулианна только-только вернулась в Ноннатус-Хаус. Раскрасневшаяся и взволнованная, она поспешила по коридору, оставляя на кафельном полу следы липкой и весьма пикантной субстанции. Наспех взяв себя в руки, она заняла своё место у аналая и начала читать:

«Сёстры, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить».

Одна или две сестры оторвались от своих молитв и покосились на неё. Некоторые подозрительно принюхались.

Сестра Джулианна продолжала:

«Рыкают враги Твои среди собраний Твоих; поставили знаки свои вместо знамений наших».

Принюхиваясь всё сильнее, сёстры стали переглядываться между собой.

«Что до меня, то я благочестива».

Служитель наполнил кадильницу необычайно большим количеством ладана и принялся энергично кадить.

«И в благоденствии своём казалась я себе неодолимой».

Воздух наполнился дымом.

«Но Ты, Господь, узрел мою гордыню, невзгодие насрал, чтоб усмирить».

Среди сестёр началось волнение. Стоявшие на коленях возле сестры Джулианны попытались отползти от неё подальше. Не очень-то легко отползать, когда стоишь на коленях в монашеском одеянии, но чего не сделаешь в случае крайней необходимости.

«Ты отвернулся от меня,
и я тревожусь, нет меня смиренной».

Ладан яростно курился, дым стоял столбом.

«О, Господи, скажу, что нечиста.
И не годна в Святилище ступать».

Раздался кашель.

«И я воскликну: „Какая во мне польза?“
Я ничтожна. Место мне в Аду.
О, Господи, услышь мою молитву.
Прими мой плач, стремящийся к Тебе».

В конце концов, – но не ранее, чем положено, – вечерня закончилась. Сёстры, с красными глазами, задыхающиеся и отплевывающиеся, покидали часовню.

Сестре Джулианне ещё долго пришлось искупать свою вину за то, что наполнила храм Божий вонью свиного навоза. Но, я уверена, Господь простил её гораздо раньше сестёр.

Смешанное происхождение I

В 1950-х африканцев и вест-индцев в Лондоне проживало немного. Лондонские порты, как и любые другие, всегда были плавильным котлом для иммигрантов, местом, куда слетались и где смешивались между собой разные национальности, языки и культуры, как правило, объединённые бедностью. Ист-Энд не был исключением, и на протяжении веков здесь оседали, обзаводясь потомством, представители практически всех рас. Душевность и толерантность всегда были визитной карточкой кокни, и чужаки, на которых, возможно, поначалу смотрели недоверчиво и с подозрением, рано или поздно принимались в сообщество.

Большинство иммигрантов были молодыми одинокими мужчинами. Мужчины всегда были мобильнее женщин. В те времена молодые бедные женщины, как правило, не могли себе позволить самостоятельно разъезжать по миру. Девушки были вынуждены сидеть дома. Как бы ни было плохо дома, сколь велики ни были бы лишения и нищета, как бы душа ни жаждала свободы, они были в ловушке. На самом деле, это и сегодня остаётся судьбой подавляющего большинства женщин мира.

Мужчины же всегда были удачливее. А когда не обременённый обязательствами молодой человек оказывается на чужбине, то, набив живот, ищет одного – девушек. Ист-эндские семьи рьяно защищали своих дочерей, ведь до недавнего времени беременность вне брака считалась величайшим позором и несчастьем, от которого невозможно было оправиться. Однако такое всё же случалось, и довольно часто. Если девушке везло, мать не отворачивалась от неё и помогала растить ребёнка. Иногда отца ребёнка заставляли жениться, но это было палкой о двух концах, как убеждались на собственной шкуре многие девушки. Но, какими бы социальными трудностями ни оборачивались подобные связи, это был постоянный приток свежей крови – или новых генов, как бы сказали сегодня, – в общину. Возможно, именно это было одной из причин особенной энергии, жизнестойкости и безграничного добродушия кокни.

В то время как юных дочерей рьяно оберегали, замужние дамы оказывались в совершенно ином положении. Забеременев, молодая незамужняя девушка не могла скрыть, что не замужем. Замужняя же могла вынашивать чьего угодно ребёнка, не вызывая никаких подозрений. Я всегда считала это несправедливым по отношению к мужчине. До

недавнего времени, когда стали доступны генетические тесты, у мужчины не было возможности узнать, его ли ребёнок носит жена. Бедняга не имел никакой гарантии отцовства, кроме её слова. Работая весь день, он никак не мог контролировать свою жену – разве что запереть её в доме. Но по большому счёту, это не имело особого значения: большинство мужчин всегда радовались новорождённому, и, если у замужней женщины появлялся ребёнок от другого, муж обычно об этом не узнавал – а как говорится, глаза не видят, сердце не болит.

Но что если ребёнок окажется темнокожим? Ист-Энд не сталкивался с подобным раньше, но после Второй мировой войны такая возможность появилась. Белла была милой рыжеволосой девушкой лет двадцати двух. Имя, означающее «красавица», очень шло ей. У неё была светлая, слегка веснушчатая кожа, васильковые глаза, способные увлечь любого, и рыжие кудри, пленявшие навсегда. Том был самым счастливым и гордым молодым мужем в Ост-Индских доках. Говорил о ней, не переставая. Белла происходила из одной из «лучших» семей (ист-эндцы могли быть невероятными снобами в том, что касалось классового самосознания и социального ранжирования), и они поженились лишь спустя четыре года ухаживаний, когда Том наконец стал способен её обеспечивать.

Они закатали шикарную свадьбу. Белла была единственной дочерью в семье, и ей решили отдать всё самое лучшее. Не сэкономили ни на чём: свадебное платье со шлейфом на половину церкви, шесть подружек невесты и четыре пажа, столько цветов, чтобы всех и каждого с неделю мучила аллергия, хор, колокола, проповедь – полный набор! И всё это, чтобы просто показать соседям, на что они способны. Приём имел целью продемонстрировать абсолютное превосходство семьи над всеми друзьями и родственниками. Вереница «Роллс-ройсов», в количестве восемнадцати штук, провезла самых важных гостей сотню ярдов от церкви к арендованному по случаю церковному залу. Остальные шли пешком – и добрались первыми! Длиннющие столы, застланные белыми скатертями, буквально ломались под тяжестью ветчины, индеек, фазанов, говядины, рыбы, угрей, устриц, сыров, солений, соусов, пирогов, пудингов, желе, бланманже, заварных пирожных, кексов, компотов и, конечно, свадебного торта. Сам сэр Кристофер Рен, возведший собор Святого Павла, пал бы на колени и зарыдал, узри он тот свадебный торт! В нём было семь этажей, каждый из которых поддерживался греческими колоннами и был украшен башенками, перильцами, каннелюрами и минаретами. Венчала торт куполообразная «крыша» с фигурками застенчивых невесты и жениха, окружённых голубками.

Том был немного смущён всем этим и не понимал, что говорить, но, когда он произнёс самое важное – «Согласен», никого из семьи уже не волновало, скажет ли бедолага что-нибудь ещё. Белле явно нравилось находиться в центре внимания. Она не слыла шумной, любящей выставлять себя напоказ девушкой, но откровенно наслаждалась тем, что стала причиной всего этого расточительства. Её мать пребывала в своей стихии, и её прямо-таки распирало от гордости. Аналогично распирало и её фиолетовый облегающий костюм из тафты. (И почему женщины всегда так безобразно одеваются на свадьбы? Оглянитесь вокруг, и вы непременно увидите женщин среднего возраста в нарядах, которые им следовало бы убрать в сундуки после двадцати, – плотно облегающие неимоверно раздавленные бёдра, стянутые на талиях, подчеркивающие складки плоти, которые лучше бы прикрыть; а ещё эти нелепые причёски, смехотворные шляпки и убийственные туфли...) К шляпкам матери Беллы и нескольких тётушек крепились модные вуали, значительно осложнявшие приём пищи, так что они задрали их вверх и прикололи к макушкам, из-за чего шляпки выглядели ещё нелепее.

Отец Беллы сорок пять минут держал публику, произнося свою речь. Долго рассказывал о раннем детстве Беллы, её первом зубе, слове, шаге. Потом перешёл к блестящему обучению в школе и получению аттестата, теперь оформленного в рамку и висящего на стене. Не сомневаюсь, что он бы поведал и о её успехах в плавании и езде на велосипеде, если бы Беллина мать не сказала:

– Ой, ну хва'ит ужо, Эрн.

Тогда он наконец обратил внимание на Тома, сказав, как тому повезло и как все остальные парни добивались его дочери, но он (Эрн) посчитал, что он (Том) лучший из всей этой братии и хорошенько позаботится об их маленькой Белле, потому что он – трудолюбивый парень, который будет помнить, что для успеха в жизни и браке надо «с курами ложиться, с петушком вставать».

Дядюшки загоготали и заподмигивали, а потрясённые, если не сказать шокированные тётушки зашептались между собой:

– О, а петушок-то наш и вправду ничего!

Том покраснел и улыбнулся, потому что все остальные смеялись. Возможно, он ничего и не понял. Белла же не сводила глаз с желе, рассудив, что не должна подавать виду, что поняла папину скабрзную шутку.

После восхитительного медового месяца, проведённого в одном из лучших пансионатов в Клактоне, они вернулись в небольшую квартиру

недалеко от дома Фло, матери Беллы. Та, решив, что её дочь должна иметь все самое лучшее, приобрела в их отсутствие ковровое покрытие. В те времена Ист-Энд ещё не знал подобной роскоши. Том был ошеломлён и всё тербил мягкий ковровый ворс, наблюдая, как он двигается. Белла была очарована, что спровоцировало безудержную череду трат на предметы домашнего обихода, большинство из которых были в то время ещё относительно новыми и недоступными их соседям: мягкие кресла и диван; электрические бра; телевизор; телефон; холодильник; тостер и электрический чайник. Том находил всё весьма необычным и радовался, что его Белла так счастлива, играя в маленькую домохозяйку. Он брал всё больше и больше сверхурочной работы, чтобы оплачивать счета, но он был молод и силен и не возражал, лишь бы она была довольна.

На свои первые роды Белла записалась в Ноннатус-Хаус, потому что так посоветовала мама. По вторникам она посещала женскую консультацию и казалась совершенно здоровой. Она была где-то на тридцать второй неделе, когда однажды вечером к нам пришла Фло. В это время мы уже не принимали, но уж очень она выглядела встревоженной.

– Я волнуюсь об нашей Белле. Она хандрит, или как-то так. Я эт' вижу, Том видит, все видют. Она не хочет грить, не глядит ни на кого, ничёшеньки не делает. Том грит, он приходит, а посуда не мыта, вообще будто свинарник какой. Чёт не так, грю вам.

Мы сказали, что с медицинской точки зрения Белла совершенно здорова, беременность протекает нормально. Также пообещали понаблюдать её дома, в дополнение к посещениям женской консультации по вторникам.

Белла, безусловно, была подавлена. Её посетило несколько медсестёр, и все мы наблюдали одни и те же симптомы: вялость, невнимательность, апатичность. Мы вызывали её доктора. Фло предпринимала героические усилия, чтобы вывести дочь из этого состояния, вытаскивая её по магазинам за детской одеждой и всевозможными принадлежностями, которые считались необходимыми. Том очень волновался, не находил себе места и хлопотал вокруг жены, когда был дома; но он по-прежнему работал сверхурочно, чтобы оплатить все эти детские штучки, так что бо́льшая часть забот легла на плечи Фло, внимательной и преданной матери.

Белла начала рожать, отходив полный срок, не раньше и не позже рассчитанной даты. Её мать позвонила нам где-то во время ланча, чтобы сообщить, что схватки приходят через каждые десять минут и у неё началось раскрытие. Закончив есть, я запаслась двумя пудингами на случай, если пропущу вечерний чай. Первородящая со схватками каждые

десять минут – обычное дело, не требующее незамедлительного прибытия.

Неспешно крутя педали, я вывернула к Беллиному дому. Фло уже ждала на пороге. Денёк стоял солнечный, но она выглядела взволнованной.

– Она всё так же, без перемен, но чёт я не рада. Чёт не так. Она не в себе. Эт' не нормально.

Как и большинство женщин её поколения, Фло была опытной акушеркой-любительницей.

Белла лежала в гостиной, на новом диване, ковыряя ногтями обивку и вытягивая из неё кусочки наполнителя. Когда я вошла, она тупо уставилась на меня, заскрежетав зубами. Затем отвела взгляд и ещё некоторое время поскрежетала зубами, не говоря ни слова.

Я сказала:

– Белла, я должна вас осмотреть. Мне нужно знать, на каком этапе родов вы находитесь, как располагается ребёнок, нужно послушать его сердцебиение. Пожалуйста, пойдёмте в спальню?

Она не двинулась, продолжив ковырять обивку дивана.

Фло попыталась её уговорить:

– Пойдём, дорогуша, недолго осталось. Мы все чрез эт' проходим, но скоро уж всё кончится. Вот увидишь. Пойдём-ка, а? В спаленку.

Она попыталась помочь дочери встать, но та грубо её оттолкнула. Фло чуть не упала, потеряв равновесие. Мне пришлось проявить твёрдость:

– Белла, вставайте немедленно и идите со мной в спальню. Я должна вас осмотреть.

Словно ребёнок, реагирующий на приказной тон, она тихо встала и пошла в спальню.

Шейка матки раскрылась на два-три пальца, плод, насколько я могла оценить, лежал головкой вниз, в нормальном головном предлежании, воды ещё не отошли. Сердцебиение плода – устойчивые 120 ударов в минуту. Беллины пульс и давление – тоже в норме. Всё казалось совершенно нормальным, кроме этого странного психологического состояния, которое я не могла понять. Белла скрежетала зубами на протяжении всего осмотра, порядком действуя мне на нервы.

Я сказала:

– Я дам вам успокоительное, и было бы хорошо, если бы вы остались в постели и поспали несколько часов. Схватки продолжатся, пока вы спите, и к наступлению более сильных вы будете отдохнувшей.

Фло мудро кивнула в знак одобрения.

Я выложила всё, что понадобится во время родов, и сказала Фло, чтобы та позвонила в Ноннатус-Хаус, когда схватки начнут приходить через

каждые пять минут, или раньше, если что-то её беспокоит. Я с удовлетворением отметила, что в доме был свой телефон. «Учитывая психологическое состояние Беллы, – подумала я, – он может нам пригодиться». Послеродовой бред – редкое и страшное осложнение, требующее быстрой и квалифицированной медицинской помощи.

Телефон зазвонил около восьми вечера – Том попросил меня прийти. Я прибыла на место минут через десять, и он меня впустил. Он выглядел взволнованным, но воодушевлённым.

– Вот оно, значит, медсестра. Бож' ты мой, надеюсь, с ней всё будет ладно, с ней да с ребёночком. Не могу дождаться увидеть моего ребятёнка, понимаете, медсестра. Эт' всё так чудово. Белл тут немного приуныла, но она ж оживится, когда увидает ребёночка, да ведь?

Я вошла в спальню, когда у Беллы как раз началась очередная схватка. Сильная – Белла застонала от боли. Мать протирала ей лицо прохладной фланелью. Мы засекали время до следующей хватки. Раз в пять минут. Я подумала, что нам вряд ли придется ждать долго. Между схватками Белла казалась сонной, и я решила больше не давать ей успокоительного, раз роды уже близки.

– Как она? – спросила я Фло, слегка коснувшись головы, чтобы показать, что я имею в виду.

Она ответила:

– Не сказала ни слова, как вы ушли, ни единого словечка. Даж' не глянула на Тома, когда он воротился домой, ничё ему не сказала. Ни словечка, ничегошеньки. Бедный парень, всё ведь чувствует... – Она погладила себя в области сердца, обозначая чувства.

Со следующей схваткой отошли воды, и дыхание Беллы участилось. Она схватила мать за руку.

– Вот так, вот так, моя птичка. Ещё чуть-чуть.

Схватка прошла, но Белла по-прежнему словно тисками сжимала руку матери. Глаза дико таращились.

Вдруг Белла издала низкий крик:

– Нет! – И затем повторила, возвышая голос с каждым новым криком: – Нет! Нет! Нет! Остановите это! Вы должны это остановить.

Потом она начала издавать ужасные пронзительные булькающие звуки, нечто среднее между криком и смехом, и заметалась в кровати. Это не был крик боли, потому что схватка ещё не началась. Это была истерика.

Я сказала:

– Нужно попросить Тома сейчас же позвонить доктору.

Белла завопила:

– Нет! Не хочу никакого доктора. О, Боже! Вы что, не понимаете? Ребёнок будет чёрным! Он убьёт меня, Том, когда увидает.

Не думаю, что Фло поняла, что она сказала. Темнокожие мужчины были такой редкостью в Ист-Энде тех лет, что слова дочери звучали для неё бессмыслицей.

Белла всё кричала. А потом выругалась и заорала на мать:

– Ты не понимаешь, тупая старая корова! Ребёнок будет чёрным.

На этот раз Фло поняла. Отскочив от дочери, она с ужасом уставилась на неё.

– Чёрным? Ты шутишь, что ль? Не, ты точно шутишь. Хошь сказать, он не от Тома?

Белла кивнула.

– Ах ты, поганая шлюха! Вот, значит, для чего я тя растила? Чтоб ты опозорила нас с отцом!

Её руки взметнулись к лицу, и она втянула воздух, задыхаясь от ужаса.

– Боже ж мой, – прошептала она про себя, – а в клубе-то задумали большую попойку для твоего отца – сюрприз ему сделать. Он ихний президент в этом году, и парни хотели знатно покутить, когда он впервой станет дедом. А теперь мы станем посмешищем всего Поплара! Он никогда эт' не переживёт. Они ему не дадут.

Женщина молча всплеснула руками, а затем заорала на дочь:

– О, лучше б ты у нас и не рождалася! Да чтоб ты прям щас сдохла вместе с этим своим вырождком!

Пришла ещё одна схватка, и Белла закричала от боли:

– Остановите это! Не давайте ему выходить, остановите как-нибудь.

– Я те покажу «не давайте выходить»! – завопила Фло. – Да я прибью ты прежде, чем он выйдет, сучка ты поганая!

Они всё орали и орали друг на друга. В дверях появился перепуганный Том. Раскрасневшаяся Фло повернулась к нему:

– Убирайся отсюда, – сказала она. – Не место здесь мужчинам. Просто убирайся. Сходи погуляй или ещё что. И не возвращайся до утра.

Том поспешно ретировался – это было обычной рекомендацией мужчине, когда дело касалось родов.

Его появление, должно быть, прояснило Фло ум. Она стала рассуждать практически.

– Мы должны избавиться от него, – сказала она. – Никто не должен знать, особенно Том. Когда он родится, я заберу его и отдам, куда следует. Никто не узнает.

Белла схватила её за руку, глаза её засверкали.

– Ох, мамочка, правда? Ты сделаешь эт' для меня?

У меня закружилась голова. К этому моменту меня уже раздавило морально и эмоционально всем этим шумом и драмой, разворачивающейся между матерью и дочерью. Но это был новый поворот событий.

– Вы не можете этого сделать, – вмешалась я. – Что вы скажете Тому, когда завтра утром он вернётся домой?

– Скажем, что ребёнок умер, – уверено заявила Фло.

– В таком возрасте и на таком сроке вы не сможете этого сделать. Вы не можете похитить живого ребёнка и сказать, что он умер. Вам это никогда не сойдёт с рук. Том думает, что он отец. Он захочет увидеть ребёнка. Спросит, почему он умер.

– Он не сможет увидеть ребёнка, – уже не так уверено сказала Фло. – Том должен думать, что он умер и похоронен.

– Это смешно! – возразила я. – Мы живём не в прошлом веке. Если я принимаю живого ребёнка, то должна составить отчёт, который идёт в службу здравоохранения. Ребёнок не может просто умереть и исчезнуть. Кому-то придётся за это отвечать.

Пришла новая схватка, и разговор оборвался. Голова шла кругом. Они сошли с ума, обе, совершенно утратили здравый смысл.

Схватка прошла. За это время Фло, яростно соображая, придумала новый план:

– Тогда, значит, уходите. Скажите, что пришлось пойти к другому пациенту или что-то вроде того. Я могу принять сама, и мне не над' писать никакого чёртова отчёта для этой вашей чёртовой службы. А когда он родится, я просто его заберу, и никто не узнает, куды он делся. И Том нико'да его не увидает.

Я пошатнулась, услышав такое предложение.

– Я не могу этого сделать. Я – профессиональная акушерка, прошедшая обучение и зарегистрированная. Белла – моя пациентка. Я не могу бросить её на первой стадии родов, оставив в руках женщины без специальной подготовки. Я в любом случае должна составить отчёт. Что я скажу сёстрам? Как отчитаюсь за свои действия?

Пришла новая схватка. Белла закричала:

– Ох, остановите это! Не дайте ему выйти. Дайте мне умереть. Что он скажет? Он прибьёт меня!

Её мать, не желая уступить, сказала:

– Не бойсь, моя душечка. Том его нико'да не увидает. Мамочка избавит тебя от него.

– Вы не можете! – закричала я, чувствуя, что сама впадаю в истерику. –

Если ребёнок родится живим, от него нельзя просто «избавиться». Попробуйте проверить что-то подобное – будете иметь дело с полицией. Вы совершите преступление и окажетесь в ещё худшем положении, чем сейчас.

Фло немного протрезвела.

– Тогда отдадим его на усыновление.

– Вот это другое дело, – сказала я. – Но даже тогда ребёнок должен быть зарегистрирован, а документы на его усыновление подписаны обоими родителями. Том думает, это его ребёнок. Вы не можете скрыть от него ребёнка, а потом сказать, что он должен подписать документы на усыновление. Он не согласится на это.

Белла снова закричала. «Боже, что у неё с давлением, – подумала я. – Возможно, после такой травмирующей второй стадии бабушка добьётся своего, и ребёнок действительно умрет».

Я достала стетоскоп для беременных, чтобы послушать сердцебиение. Белла, должно быть, прочитала мои мысли. Она оттолкнула стетоскоп.

– Оставьте его в покое. Я хочу, чтоб он умер, разве не видно?

– Я должна позвонить доктору, – сказала я. – Случиться может что угодно, и мне нужна помощь.

– Не смейте, – зарычала на меня Фло. – Никто не должен знать – никаких докторов. Мне нужно как-то от него избавиться.

– Только не начинайте снова! – закричала я. – Мне нужен доктор, и я иду звонить ему прямо сейчас.

Быстрая, как молния, Фло возникла передо мной. Схватив хирургические ножницы с моего подноса, она бросилась в другую комнату и перерезала телефонный провод, после чего победоносно на меня воззрилась.

– Вот так. Можете теперь сходить на улицу и позвонить своему доктору оттудова.

Но я не осмелилась. Приближался следующий этап родов. Ребёнок мог родиться в моё отсутствие, и к моему возвращению от него уже могли «избавиться».

Ещё одна схватка. Белла, казалось, тужилась. Всё ещё истерично рыдала, но тужилась. Фло завывала.

– Заткнитесь, – сказала я холодно и жёстко. – Заткнитесь и выйдите из комнаты.

Она изумилась, но притихла.

– А теперь выйдите из комнаты сейчас же. Я должна принять ребёнка и не могу сделать этого при вас. Идите.

Ахнув, она открыла рот, чтобы что-то сказать, но, передумав, ушла, тихо притворив за собой дверь.

Я повернулась к Белле:

– Повернитесь на левый бок и сделайте, что я скажу. Ребёнок родится в ближайшие несколько минут. Я не хочу, чтобы у вас был разрыв или кровотечение, так что давайте.

Она стала тихой и послушной. Роды прошли идеально.

Малышка была совершенно белой и очень похожей на Тома. Она стала отрадой отцовских глаз, а гордый дедушка души в ней не чаял. Мудрая бабушка хранила секреты родильной комнаты при себе.

Я была единственным человеком, знавшим тайну их семьи, и до настоящего момента не рассказывала об этом ни одной живой душе.

Смешанное происхождение II

Смиты были обыкновенной добропорядочной ист-эндской семьёй. Супруги, как говорится, притёрлись друг к другу за годы брака. Сирил был опытным лоцманом в доках, Дорис начала работать в парикмахерской, когда все её пятеро детей достигли школьного возраста. Они не бедствовали, но проводили отпуск, убирая хмель на полях Кента. В детстве и Сирил, и Дорис с удовольствием проводили так все свои каникулы. Теперь их собственные дети так же наслаждались здоровым деревенским воздухом, дружбой с другими детьми, открытым пространством, где можно было побегать, и возможностью заработать карманные деньги, наполнив корзины хмелем. Год за годом семья встречалась там с одними и теми же людьми, приехавшими из других районов Лондона, и между ними завязывалась дружба, возобновляемая каждый год.

Постельные принадлежности, примус и посуду брали с собой. Размещали семьи в сараях или амбарах, выделяя каждой достаточно места, – там они и жили в течение двух недель. Некоторые брали с собой палатки и разбивали лагерь. Еду покупали в фермерском магазине. Взрослые работали в поле целый день, собирая хмель, за который им и платили. Большинство детей присоединялись к ним. В 1950-х уже не было той крайней нищеты, с какой сталкивались предыдущие поколения, так что необходимость гнуть спину за гроши, которые и заработной платой-то стыдно называть, в значительной степени отпала. В былые же времена детям приходилось работать с утра до вечера, чтобы получить несколько пенни, которые добавлялись к родительским заработкам и помогали хоть как-то протянуть зиму. Сбор хмеля, кроме того, был спасением многих ист-эндских детей от рахита, поскольку они много времени проводили на солнце.

К 1950-х ситуация изменилась, и дети, приезжавшие в поля с родителями, были вольны просто играть и работали, только если хотели сами. Через многие фермы бежали ручьи или реки, становившиеся центром детских забав. Вечерами наступало лучшее время для всей их временной общины: они разжигали костры под открытым небом, пели песни, флиртовали и рассказывали истории и в целом вели себя так, словно были деревенскими, а вовсе не городскими жителями.

До войны в сборщики хмеля шли в основном ист-эндцы, цыгане и

бродяги. После – с повышением мобильности населения по всему миру – на фермах с каждым годом собирались всё более разношёрстные группы. (Однако вскоре механизация уборки хмеля положила конец этой ежегодной традиции столь многих людей.)

Дорис и Сирил с детьми поселились в сарае на семи футах^[29], очерченных для них мелом. Для спанья им дали соломенные тюфяки, и вместе с примусом и керосиновой лампой получилось весьма комфортно.

В тот год на ферму приехало много новых людей, включая несколько семей из Вест-Индии, что было совершенно неожиданно. Сперва Дорис сторонилась их. Она никогда раньше не встречалась и не разговаривала с темнокожими, а уж тем более не спала в одном сарае сразу с несколькими, но их дети, как это всегда бывает, сразу же подружились. Вест-индские женщины оказались смешливыми и дружелюбными, и Дорис вскоре обнаружила, что её отчуждённость как рукой сняло.

На самом деле, каникулы стали для Дорис с Сирилом настоящим откровением. До этого они и не представляли, что вест-индцы могут быть такими весёлыми. Говорят, ист-эндцы очень добродушны. Что ж, рядом с вест-индцами кокни – сама суровость. Дорис и Сирил хохотали с утра до ночи, и тяжёлый труд сборщиков хмеля уже таким не казался. Уставшая, но в приподнятом настроении, Дорис покидала поля, чтобы приготовить ужин для своей семьи, а потом присоединиться к сидящим вокруг костра. Этим летом там пели другие песни. Никогда прежде она не слышала вест-индского пения, с его сочетанием красоты и трагедии, и оно всколыхнуло глубокое безымянное томление в сердце Дорис. Она присоединялась к припевам и песням с повторами, хотя раньше и не догадывалась, что обладает музыкальным слухом. Сирил же был невысокого мнения о музыке, и ничто на свете не заставило бы его открыть рот и запеть, так что он подсаживался к другой группке, сидевшей вокруг другого костра, к ребятам, больше приходившимся ему по душе.

Время летит слишком быстро, когда вы хорошо его проводите, и в конце второй недели никто не хотел уезжать. Но время вышло, и все согласились, что это были лучшие каникулы в их жизни и что они обязательно встретятся в следующем году. Дети плакали, прощаясь.

Будни снова потекли своим чередом, с их работой и школой, соседями и сплетнями, и постепенно воспоминания о каникулах в Кенте подёрнулись дымкой.

Когда на рождественской вечеринке Дорис объявила, что вновь беременна, никто этому не удивился. Ей было всего тридцать восемь, и

семья с пятью детьми не считалась многодетной. Сирилу сказали, что он «парень не промах», и им обоим пожелали всего хорошего.

Роды начались ранним утром. Сирил позвонил нам по пути на работу. Дорис смогла проводить детей в школу, и одна из соседок пришла посидеть с нею. Я приехала около половины десятого утра и нашла всё в лучшем виде. В доме было чисто и убрано. Детские вещички были готовы и безупречны. Всё, что нам требовалось, например, горячая вода, мыло и так далее, – всё было готово. Дорис казалась спокойной и весёлой. Соседка ушла, когда я приехала, сказав, что заглянет попозже. Роды прошли без происшествий и довольно быстро.

К полудню она родила мальчика, явно темнокожего.

Я, разумеется, была первой, кто его увидел, и не знала, что сказать или сделать. Перерезав пуповину, я завернула ребёнка в полотенце и положила в кроватку, занявшись третьим этапом родов. Это дало мне немного времени подумать: стоит ли что-то сказать? Если да, то что? Или просто передать ей ребёнка – и пусть сама увидит? Я выбрала второй вариант.

Третий этап обычно занимает не менее пятнадцати-двадцати минут, и в процессе я просто взяла ребёнка и положила Дорис на грудь.

Она долго молчала, а потом проговорила:

– Такой красивишный... Такой дивный, аж плакать хочется.

И слёзы действительно выступили на её глазах и потекли по щекам. Вцепившись в ребёнка, она запричитала сквозь сдавливаемые рыдания:

– Ох, какой ж он красивый... Я не хотела, но что я могла поделать? И чего мне делать теперь? Эт' самый дивный ребёночек, какого я видала...

Слёзы не дали ей договорить.

Я была потрясена неожиданным поворотом событий, и тем не менее мне нужно было заниматься своей работой. Я сказала:

– Послушайте, думаю, скоро выйдет плацента. Позвольте мне положить ребёнка обратно в кроватку, всего на несколько минут, чтобы можно было благополучно завершить ваши роды и всё почистить. А потом поговорим.

Она разрешила мне забрать ребёнка, и через десять минут всё было закончено.

Снова отдав Дорис сына, я молча начала прибираться. Мне казалось, что разговор лучше не начинать.

Долгое время она тихо держала его, целовала и тёрлась лицом о его личико. Взяв его ладошку, она согнула маленькую ручку и проговорила:

– У него белые ногти, представляете.

Это был крик надежды?

Затем она продолжила:

– Чего ж мне делать? Чего я могу сделать, сестра?

Её сердце разрывалось, и она зарыдала, вцепившись в малыша со всем пылом и страстью материнской любви. Она не могла говорить, только стонала и качивала его на своих руках.

Я не могла ответить на её вопрос. Что тут скажешь?

Закончив со своими делами, я проверила плаценту – целая. Потом сказала:

– Я бы хотела искупать ребёнка и взвесить его, хорошо?

Дорис кротко отдала мне малыша и следила за каждым движением, когда я его купала, словно боясь, что я его заберу. Думаю, в глубине души она знала, что должно произойти.

Я взвесила и измерила новорожденного. Он оказался крепышом – девять фунтов четыре унции, двадцать два дюйма^[30], идеальным во всех отношениях. И, конечно, он был прекрасен: на голове уже пробивались тонкие тёмные вьющиеся волосы; слегка приплюснутый нос с вывернутыми ноздрями подчёркивал его высокий широкий лоб; смуглая, золотистого оттенка, кожа была гладкой, без морщинок.

Отдав его обратно матери, я сказала:

– Дорис, это самый прекрасный ребёнок, которого я когда-либо видела. Вы вправе им гордиться.

Она посмотрела на меня с мрачным отчаяньем:

– Что же мне делать?

– Не знаю. Правда, не знаю. Ваш муж придёт домой сегодня вечером, думая, что он – отец новорожденного. Он захочет увидеть ребёнка, и вы не сможете его скрыть. Не думаю, что вам стоит оставаться одной, когда он вернётся. Может ли ваша мать прийти и побыть с вами?

– Не, эт' только всё напортит. Он терпеть не может мою мать. Сестра, может, вы побудете со мной? Вы правы. Мне страшно, чего будет, когда Сирил его увидает.

С этими словами она прижала малыша к себе в отчаянном жесте защиты.

– Не уверена, что я тот человек, который должен при этом присутствовать, – ответила я. – Я акушерка. Возможно, вам нужен социальный работник. Я определённо считаю, что вам необходим кто-то, кто защитит вас саму и ребёнка.

Пообещав об этом позаботиться, я ушла.

Я думала о том, что у неё есть всего полдня счастья со своим ребёнком, чтобы подремать с ним, пообнимать, поцеловать, сковать себя с ним неразрывными узами любви матери к своему дитя, обретаемой каждым

малышом по праву рождения. Возможно, она знала, что их ожидает, и старалась вместить в эти несколько коротких часов любовь длиною в жизнь. Возможно, она напевала ему вест-индские спиричуэлс, услышанные ею тогда у костра.

Я доложила обо всем сестре Джулианне и озвучила свои опасения. Она сказала:

– Вы правы, кто-то должен быть там, когда муж увидит ребёнка. Однако я думаю, что лучше бы это был мужчина, а все социальные работники в этом районе – женщины. Я поговорю с пастором.

На деле в доме с пяти часов вечера по просьбе пастора присутствовал молодой викарий. Сам пастор не поехал, посчитав, что это будет выглядеть чересчур помпезно.

Викарий рассказал, что события развивались примерно так, как я и ожидала. Сирил бросил один молчаливый, полный ужаса взгляд на ребёнка и кинулся на жену с кулаками. Священник не дал ему ударить, тогда мужчина схватил ребёнка и хотел швырнуть его об стену, но викарий вновь помешал ему.

Сирил сказал жене:

– Если этот выродок останется в доме хоть на одну ночь, я прибую его, и тебя прибую. – Глаза его вспыхнули диким огнём, подтверждающим серьёзность его угрозы. – Ты у меня ещё дождёшься, сука.

Час спустя священник покинул дом, унеся с собой ребёнка в небольшой плетёной корзинке и бумажный сверток с детскими одежками. Он принёс ребёнка в Ноннатус-Хаус, и мы заботились о нём той ночью. На следующее утро мальчик был передан в детский дом. Мать его больше никогда не видела.

Смешанное происхождение III

Теду было пятьдесят восемь, когда умерла его жена. У неё развился рак, и муж полтора года нежно ухаживал за ней. Ради этого он бросил работу, и, пока жена болела, они жили на его сбережения. Они были счастливы в браке и очень близки. Детей они не нажили и полностью зависели от общения друг с другом, не будучи оба особо коммуникабельными и компанейскими. После её смерти Теду стало очень одиноко. У него было мало настоящих друзей, а товарищи по работе забыли его, с тех пор как он уволился. Тед никогда не был любителем пабов или клубов и теперь, когда ему было под шестьдесят, становиться им не собирался. Наводя порядок в доме, он не мог заставить себя прибраться в комнате жены. Он готовил себе на скорую руку, ходил на долгие прогулки, часто посещал кинотеатры и публичные библиотеки, слушал радио. Тед исповедовал методизм и ходил в церковь каждое воскресенье; он попробовал было вступить в мужской общественный клуб, но не смог там прижиться и потому присоединился к библейскому классу, который больше пришёлся ему по душе.

Это кажется законом жизни: вдовец всегда найдёт себе женщину, которая его утешит и приголубит. Если он вдобавок остался с малыми детьми, его положение ещё более выгодно. Женщины буквально выстраиваются в очередь, чтобы ухаживать за ним и его малышами. Другое дело – вдова или разведённая женщина. Её положение не даёт никаких преимуществ. Если она и не отторгается обществом, то определённо чувствует себя находящейся на его задворках. Вдова, как правило, не обнаруживает вокруг себя толпу мужчин, мечтающих одарить её своей любовью и подставить дружеское плечо. А если у неё ещё и дети, то мужчины вообще обходят её за милую душу. В итоге она остаётся в одиночестве, чтобы самостоятельно бороться с жизненными невзгодами и обеспечивать себя и детей, и её жизнь превращается в одну сплошную изнурительную работу.

Винни была одна дольше, чем могла вспомнить. Молодой муж погиб в первые дни войны, оставив её с тремя детьми. Скучное государственное пособие едва покрывало аренду, не говоря уже о том, чтобы компенсировать потерю кормильца. Винни устроилась на работу в газетный киоск. Часы работы были долгими и трудными – с пяти утра до

половины шестого вечера. Каждый день Винни вставала в половине пятого, чтобы успеть добраться до киоска, получить, рассортировать, упаковать и выложить газеты. Её мать приходила в восемь утра, чтобы поднять и проводить детей в школу. Это означало, что они оставались одни часа на четыре, но это был риск, на который приходилось идти.

Мать предлагала переехать к ней, но Вин дорожила своей независимостью и отказалась со словами:

– Переедем, когда перестану выдюживать.

Этот день так никогда и не настал. Винни оказалась из тех, кто всё «выдюживает».

Они встретились в газетном киоске. Она обслуживала его уже много лет, но никогда особо не замечала среди других своих посетителей. Однако когда он стал проводить в киоске больше времени, чем требуется, чтобы купить утреннюю газету, то и она, и остальной персонал обратили на это внимание. Он покупал свою газету, потом смотрел другую, потом – полку с журналами, иногда покупал один. Потом брал шоколадку, вертел в руке, вздыхал и клал обратно, вместо этого покупая пачку дешёвых сигарет «Вудбайнс». Сотрудники киоска переговаривались между собой:

– Чёт творится с этим старикашкой.

Однажды, когда Тед в очередной раз взялся за шоколадку, Винни подошла к нему и дружелюбно спросила, может ли она чем-нибудь помочь.

Он ответил:

– Нет, моя дорогая. Вы ничем не можете мне помочь. Моя жена любила такой шоколад. И я покупал его для ней. А в прошлом году она умерла. Спасибо, что спросили, дорогая.

Их глаза встретились, и в них читалось сочувствие и понимание. После этого Винни всегда обслуживала его подчёркнуто внимательно.

Однажды Тед сказал:

– Я подумывал о том, чтоб сходить на фильму сегодня. Как вы насчёт того, чтобы пойти со мной? Ежели только ваш муж не будет против.

Она ответила:

– Нету у меня мужа, и я не прочь сходить.

Так и пошло-поехало, и через год он попросил её руки.

Винни думала целую неделю. Тед был старше её более чем на двадцать лет, она испытывала к нему нежные чувства, но не была влюблена по-настоящему. Он был хорошим и добрым, хотя и не очень интересным. Она решила посоветоваться с матерью и по итогам этого женского консилиума

приняла его предложение.

Тед был вне себя от радости, и они скрепили свой союз в методистской церкви. Ему не хотелось приводить невесту в дом, который он так долго делил со своей первой женой, так что он съехал и арендовал другой. Винни смогла оставить крошечную дешёвенькую квартирку, в которой вырастила своих детей, и дом был полностью в их с Тедом распоряжении. Ей он казался дворцом. Со дня свадьбы проходили недели и месяцы, а она становилась всё счастливей и даже сообщила матери, что не ошиблась.

В молодости Тед предусмотрительно оформил страховой полис, подлежащий выплате по достижении им шестидесяти лет, так что теперь ему даже не нужно было выходить на работу. Но Винни не хотела бросать свой киоск. Она так привыкла трудиться, что праздность надоедала ей до смерти, однако Тед настоял, чтобы Винни больше времени проводила дома, и она согласилась сократить часы. Они зажили очень счастливо.

Винни было сорок четыре, когда у неё прекратились месячные. Она думала, это менопауза. Она чувствовала себя немного странно, но мать сказала, что все женщины чувствуют себя немного странно в переходный период, и Винни успокоилась. Она продолжала работать в газетном киоске и не обращала внимания на тошноту. Только через полгода она заметила, что прибавила в весе. Прошёл ещё месяц, и Тед заметил твёрдый бугорок на её животе. Так как его первая жена умерла от рака, твёрдые бугорки его очень тревожили. Он настоял, чтобы она обратилась к доктору, и пошёл с нею к хирургу.

Анализы показали, что она на поздних сроках беременности. Пара была потрясена.

Почему никому из них не пришло в голову столь очевидное объяснение, непонятно, но теперь эта новость совершенно выбила их обоих из колеи.

На подготовку к появлению новорождённого оставалось не так много времени. Винни в тот же день оставила газетный киоск и записалась на роды в Ноннатус-Хаус. Наскоро приготовили спальню и закупили детских вещичек. Возможно, именно покупка коляски и маленьких белоснежных пелёнок так глубоко тронула Теда. Он изменился за одну ночь, превратившись из ошеломлённого и растерянного пожилого человека в чрезвычайно взволнованного и безумно гордого будущего отца. И внезапно стал выглядеть лет на десять моложе.

Две недели спустя у Винни начались роды. Мы договорились с врачом, чтобы тот присутствовал, ведь времени на дородовую подготовку получилось слишком мало, а Винни к тому моменту уже исполнилось

сорок пять, и она определённо считалась старородящей.

Тед принял во внимание все наши требования и советы по подготовке. Спланировать всё более тщательно и основательно было бы просто невозможно. Он велел матери Вин не приходить, но пообещал сообщить, когда ребёнок родится. Приобрёл книги о родах и уходе за младенцами и постоянно их читал. Когда начались роды, он позвонил нам, переполняемый радостью и предвкушением, окрашенными лёгкой тревогой.

Мы с доктором приехали почти одновременно. Первая стадия только началась. Было решено, что я останусь с нею на протяжении всех родов, с момента прибытия и до завершения третьего этапа. Осмотрев Винни, врач сказал, что оставит нас и перезвонит перед вечерней операцией, чтобы узнать, как продвигается дело.

Я села – наблюдать и ждать. Сказала Винни, что ей не следует постоянно лежать, и посоветовала немного походить. Тед взял жену под руку и нежно и бережно водил взад и вперёд по садовой дорожке. Она бы запросто могла пройтись и сама, но он хотел и должен был её защищать, совершенно позабыв тот факт, что всего две недели назад она лихо носилась в свой газетный киоск. Я предложила ей принять ванну. В доме имелась ванная комната, так что Тед нагрел воду и помог жене залезть в неё. Он же омыл её, бережно помог вылезти, а потом обтёр насухо. Я посоветовала ей перекусить, и он приготовил яйцо-пашот. Бóльшую заботу сложно было вообразить. Я посмотрела книги, которые он взял из библиотеки: «Естественные роды» Грентли Дик-Рида; «Акушерство» Маргарет Майлс; «Новорождённый»; «Хорошие родители»; «Растущий ребёнок»; «От рождения до подросткового возраста». Отличная подготовка!

Доктор вернулся в шесть вечера, но существенных изменений к тому времени не произошло. Учитывая её возраст, мы решили, что, если первый этап продлится больше двенадцати часов, Винни придётся перевезти в больницу. Ни Тед, ни Винни не возражали, но надеялись, что этого не потребуется.

Между девятью и десятью вечера я заметила изменения в родовом процессе. Схватки стали чаще и сильнее. Я подключила её к аппарату с веселящим газом и попросила Теда позвонить врачу. Прибыв к нам, доктор дал Винни лёгкое обезболивающее, и мы оба уселись ждать. Тед учтиво предложил нам еды, чая или напитков – всё, чего бы мы ни захотели.

Ждать пришлось недолго. Сразу после полуночи начался второй этап родов, и в течение следующих двадцати минут ребёнок родился.

Мальчик, с ярко выраженными этническими признаками.

Мы с доктором устали друг на друга и на мать в гробовой тишине. Никто не сказал ни слова. Никогда роды не сопровождалась столь гнетущей тишиной. Что думал каждый из нас, другие так никогда и не узнали, но, думаю, мы задавались одним и тем же вопросом: «Что же скажет Тед, когда увидит ребёнка?»

Подошла очередь третьего этапа родов, и всё было проделано в той же гробовой тишине. Пока доктор занимался матерью, я искупала, осмотрела и взвесила ребёнка. Он, безусловно, был очаровательным малышом, среднего веса, с чистой смуглой кожей, мягкими вьющимися каштановыми волосами. Идеальный ребёнок, как с картинки, – если вы *ожидаете* увидеть мулата. Но Тед не ожидал. Он ожидал увидеть своего ребёнка. Я закрыла глаза, тщетно пытаюсь стереть встающую перед ними сцену, которая нам предстояла.

Всё было закончено и прибрано. Мать выглядела свежей в своей белой ночной сорочке, ребёнок – прекрасным в белой шали.

Доктор проговорил:

– Полагаю, нам лучше попросить вашего мужа подняться сейчас.

Это были первые слова, прозвучавшие с момента родов.

Винни сказала:

– Думаю, надо поскорее с этим покончить.

Я спустилась вниз и сообщила Теду, что мальчик благополучно родился и он может подняться.

Тед вскричал: «Мальчик!» и вскочил, словно юноша двадцати двух лет. Он бросился наверх, перепрыгивая через две ступеньки, ворвался в спальню и заключил в объятия жену с ребёнком. Поцеловав их обоих, он проговорил:

– Эт' самый великий и счастливый день в моей жизни.

Мы с доктором переглянулись. Тед ещё не заметил. Он сказал своей жене:

– Ты и не знаешь, что это значит для меня, Вин. Можно я подержу ребетёнка?

Она молча передала ему свёрток.

Тед устроился на краю постели и неловко укачивал ребёнка (все мужчины, впервые ставшие отцами, выглядят именно так!). Он долго изучал личико, гладил волосики и ушки; потом развязал шаль и посмотрел на маленькое тельце. Потрогал ножки, подвигал его руками, подержал за ладошку. Ребёнок сморщился и издал короткий, похожий на мяуканье плач.

Тед бесконечно долго молча его рассматривал. Потом с блаженной улыбкой поднял глаза:

– Ну, я, конечно, не очень смыслю в детях, но вижу, что этот – самый прекрасный в мире. Как мы назовём его, голубушка?

Мы с доктором смотрели друг на друга в немом изумлении. Возможно ли, что он действительно не замечал?

Винни, едва способная дышать, сделала глубокий прерывистый вдох и сказала:

– Ты выбирай, Тед, голубчик. Он ж твой.

– Тогда назовём его Эдвардом. Нашим старым добрым семейным именем. Моих отца и деда так звали. Он – мой сын Тед.

Мы с доктором оставили этих троих счастливо сидеть рядышком. Выйдя за дверь, доктор сказал:

– Вполне возможно, что он просто ещё не заметил. Чёрная кожа бледна при рождении, а этот ребёнок только наполовину чёрный или даже меньше – его отец, возможно, тоже смешанного происхождения. Однако с возрастом пигментация, как правило, становится более выраженной, и в какой-то момент Тед, безусловно, заметит и начнёт задавать вопросы.

Время шло, но Тед так и не замечал – или, по крайней мере, не подавал виду, что заметил. Вин, должно быть, поговорила с матерью и другими родственниками, чтобы те ничего не говорили Теду о внешности ребёнка, и действительно, никто ничего не сказал.

Примерно через шесть недель Вин вернулась в газетный киоск – на полставки. Тед проводил с ребёнком каждый день и взял на себя бóльшую часть родительских обязанностей. Он купал и кормил его и гордо вывозил в коляске, приветствуя всех прохожих и приглашая их посмотреть, каков он, «мой сын Тед». Когда ребёнок подрос, он постоянно играл с ним, изобретая всё новые развивающие игры и игрушки. В результате к полутора годам малыш Тед был очень смышлёным и развитым для своего возраста. На отношения отца с сыном было приятно смотреть.

К школьному возрасту тёмная кожа ребёнка уже бросалась в глаза. Но Тед, казалось, по-прежнему ничего не замечал. Он завёл больше друзей, чем за всю свою жизнь, в основном потому, что повсюду брал с собой ребёнка, и люди реагировали на этого смышлёного симпатичного мальчика, которого Тед гордо представлял «моим сыном Тедом». В свою очередь, мальчик по-своему гордился отцом, цепляясь за его большую оберегающую руку, с обожанием глядя на него своими огромными чёрными глазами. В школе он всегда говорил «мой отец» так, словно тот был самым королём.

Почти семидесятилетний Тед совершенно не смутился ждать сына за школьными воротами вместе с матерями, моложе его почти на полвека. Из школы выбегало всего двое или трое чёрных ребяташек или мулатов, устремлявшихся к своим чёрным матерям, но один из них бросился в объятия Теда с криком:

– Папочка!

– Пойдём-ка сёдня в доки, сын, – говорил он, целуя его. – Сёдня утром пришёл громадный немецкий корабль – аж с тремя трубами. Такой не часто поводишь. А как придём домой, там мамочка уж приготовила чаёк.

Он всё ещё не замечал.

Конечно, среди соседей и знакомых ходили слухи и сплетни, но никто из них ничего не говорил Теду. Те, что позлее, язвили: «Нет дурака дурнее, чем старый дурак». И остальные со смехом соглашались: «Что есть, то есть».

У меня же другая теория на этот счет.

В русской православной церкви существует понятие юродивого. Это тот, кто глуп в глазах людей, но мудр в глазах Бога.

Думаю, Тед понял, что он не отец, в ту самую секунду, как увидел малыша. Наверняка он был шокирован, но контролировал себя, и всё то время, пока держал ребёнка на руках, он думал. Возможно, представлял себе будущее.

Возможно, в те минуты он понял, что, поставив своё отцовство под сомнение, опозорит ребёнка и, может быть, лишит его будущего. Возможно, держа ребёнка на руках, он понял, что один такой намёк может разрушить всё его счастье. Возможно, осознал, что объективно не мог ожидать, чтобы такая независимая и энергичная женщина, как Винни, находила его в полной мере сексуально привлекательным и удовлетворяющим. Возможно, голос ангела сказал ему, что все вопросы лучше оставить незадаанными и неотвеченными.

Вот почему он выбрал самое неожиданное и одновременно самое простое решение: стать дураком, не замечающим очевидного.

Званный обед

– Нет, Джимми, не в этот раз. Вы с Майком *не будете* ночевать в бойлерной Ноннатус-Хауса. Я могла обмануть старшую медсестру в больнице, но обманывать сестру Джулианну не собираюсь. Кроме того, я вам не верю. Ни на минуту не поверю, что у вас *очередная* чрезвычайная ситуация. Думаю, вы просто хотите похвастаться перед ребятами, что провели ночь в женском монастыре!

Джимми с Майком выглядели слегка удрученными. Меня потчевали пивом и приятной беседой, всерьёз ожидая, что я проглочу эту чушь, будто бы им снова не везёт и негде жить, и проведу их к задней двери Ноннатус-Хауса? Мужчины такие наивные...

Вечер выдался весёлым – отличная передышка и отдых от тягот каждодневной работы. Пиво было приятным, и разговорам не было конца, но настало время уходить. Путь в Ист-Энд лежал неблизкий, автобусы после одиннадцати вечера ходили редко, а утром надо было вставать в половине седьмого и отрабатывать полный день.

Я встала. Тут в голову пришла идея. Жаль было совсем уж их разочаровывать.

– А как вы смотрите на то, чтобы зайти на обед как-нибудь в воскресенье?

Они тут же охотно согласились.

– Окей. Я спрошу сестру Джулианну и позвоню вам условиться о дате. А теперь мне пора.

Я поговорила с сестрой Джулианной на следующий же день. Она уже слышала о Джимми – в связи с историей о моем купании в море под Брайтоном в три часа ночи и возвращении в Ноннатус-Хаус к десяти утра, – и сразу согласилась, чтобы ребята пришли на обед.

– Это было бы чудесно. Обычно мы развлекаем ушедших на покой миссионеров или заезжих пасторов. Пообедать в кои-то веки с парой жизнерадостных юношей будет приятно нам всем.

Она назначила дату через три недели, когда к воскресному обеду не ожидалось никаких других гостей, и я позвонила Джимми подтвердить встречу.

– А как считаешь, будет ли монахиням так же приятно отобедать с тремя жизнерадостными юношами? Алан хочет прийти. Думает, сможет

выжать из этого историю.

Алан был репортёром, пытавшимся наскрести себе на скромную жизнь на своей первой работе на Флит-стрит^[31]. Я не сомневалась, что сестра Джулианна найдёт ещё один стул, чтобы поставить в трапезной, но не была уверена, что Алан сможет выжать из этого обеда материал для статьи. Впрочем, надежда всегда переполняет сердце молодого репортёра – по крайней мере, пока душа не зачерствеет.

Девушки пришли в волнение, узнав, что к нам на обед пожалуют трое молодых людей. Все мы были одинокими медсёстрами с кажущейся бесконечной рабочей неделей, а в таких условиях встретить подходящего парня становилось проблемой. Ожидания были велики.

Изрядно забавляясь, я размышляла о том, как же пройдёт обед. Что ребята подумают о нас? Как отреагируют на монахинь, особенно на сестру Монику Джоан? Было бы интересно посмотреть потом «историю» Алана.

Настал назначенный день, тёплый и ясный. Ни у одной из наших пациенток не должны были начаться роды, которые могли бы сорвать званый обед. Все вокруг суетились в предвкушении. Знай ребята, сколько женских сердец заставили трепетать, они были бы глубоко польщены. А может, и нет. Возможно, сочли бы это не более чем обычным действием их губительных чар.

Они приехали примерно в половине первого, сразу после того, как сёстры отправились в часовню на третий час, полуденную службу.

Я открыла дверь. Конечно, все трое выглядели очень элегантно в своих серых костюмах, свежестырированных рубашках и начищенных до блеска ботинках. Никогда прежде я не видела их такими воскресным утром. Очевидно, обед в монастыре был новым опытом для столь ярких прожигателей жизни. И всё же они выглядели немного неуверенными в себе.

Мы поцеловались, но несколько более официально, чем обычно: без объятий, смеха и шуточек о всякой ерунде – просто формальный поцелуй с вежливыми «Как дела?» и «Удачно ли вы добрались?».

Я чувствовала себя немного неудобно, не находя темы для разговора. Все мы знаем людей в определённом контексте и вне его обнаруживаем, что они совершенно другие. С Джимми мы были знакомы с детства, но с остальными обычно встречались в лондонских пабах. Я не знала, что сказать, и просто неловко стояла рядом, думая, что на деле идея оказалась не такой уж хорошей. Ребята тоже не могли придумать, что сказать.

Нас спасла Синтия. Она всегда всех спасала, даже не подозревая об этом. Девушка шагнула навстречу, и её мягкая улыбка рассеяла неловкость

и наполнила довольно напряжённую атмосферу теплом. Когда она заговорила, её текучий обворожительный голос просто сбил парней с толку. А она всего-то и произнесла:

– Вы, должно быть, Джимми, Майк и Алан. Как прекрасно – мы с нетерпением ждали встречи. А кто из вас кто?

Было ли всё дело в том, как она это сказала, или в её широко распахнутых улыбающихся глазах, или в неподдельной теплоте приветствия? Ребята, должно быть, знали уйму девушек красивее неё, лучше осознающих свою привлекательность, но вряд ли часто встречали девушек с подобным голосом (если вообще встречали). Они совершенно смутились и, одновременно шагнув вперёд, столкнулись друг с другом. Синтия рассмеялась. Лёд был растоплен.

– Сёстры скоро придут, но пойдёмте пока на кухню – попьём кофе и поболтаем.

Кофе, нектар, амброзия? Они охотно за ней последовали: с этой великолепной девушкой всё становилось раем. Я, к счастью, оказалась позабыта и могла вздохнуть с облегчением. Обед обещал быть удачным.

Миссис Би, однако, не обладала ни сексуальной привлекательностью, ни обольстительным голосом.

– Ток не сорите мне тут. Мне ещё обед надобно под'вать.

Джимми доверительно ей улыбнулся:

– Не беспокойтесь, мадам, мы не учиним беспорядка в этой красивой кухне, правда, парни? У вас великолепная кухня, а какие роскошные запахи! Полагаю, всё вашего приготовления, мадам?

Миссис Би фыркнула и посмотрела на него с подозрением. Она вырастила собственных сыновей и была невосприимчива к этим их «чарам».

– Мож'те ток поглядеть, эт' всё, чё я вам скажу.

– Что-что, а глядеть мы можем, – пробормотал Майк, не отрывая взгляда от Синтии, наполнявшей чайник.

Когда она открыла кран, водопроводные трубы по всей кухне загремели и задрожали. Девушка рассмеялась и объяснила:

– Вот такой у нас водопровод. Нужно просто привыкнуть.

– С радостью бы привык, – с энтузиазмом заявил Майк.

Синтия снова засмеялась и немного покраснела, откидывая назад волосы, упавшие на лицо.

– Разрешите мне, – галантно сказал Майк, взяв у неё чайник и отнеся к газовой плите.

В дверях появилась уткнувшаяся в «Таймс» Чамми.

– Послушайте, девчонки, вы знали, что Бинки Бингхэм-Бингхаус наконец-то идёт под венец? Вот ведь потеха, а? По правде сказать, её мать будет ужасно довольна, знаете ли. Все-то думали, что она так в девках и останется. Старина Бинки, хо-хо!

Она подняла глаза и, увидев парней, тут же залилась краской. Её рука, державшая газету, дёрнулась и врезалась в комод. Чашки задребезжали и затряслись, газета зацепилась за пару тарелок, и те полетели на пол, разбившись на мелкие кусочки.

Миссис Би с рыком бросилась на Чамми:

– Ах ты неуклюжая громадная... ты... ты... просто убирайся из моей кухни, бег'мотиха... ты!

Бедная Чамми! С ней постоянно что-нибудь такое приключалось. Контакты с обществом оборачивались для неё кошмаром, особенно если рядом оказывались мужчины. Она просто не знала ни что сказать, ни как себя вести с ними.

Синтия снова спасла положение. Схватив совок с веником, она проговорила:

– Не переживайте, миссис Би. К счастью, это была тарелка с трещиной. Всё равно пришлось бы выбрасывать.

Девушка проворно сгребла осколки, а пока она стояла, наклонившись, Майк оценивающе изучал её маленькую аккуратную попку.

Чамми всё стояла в дверях, смущённая, с присохшим к нёбу языком. Я попыталась уговорить её войти и выпить с нами по чашке кофе, но она покраснела ещё больше и, пробормотав что-то о том, что пойдёт наверх вымыть руки перед обедом, убежала.

Парни в изумлении переглянулись. Обед в монастыре таил в себе неизвестность, но сшибающая тарелки великанша была последним, что они ожидали увидеть. Алан вытащил записную книжку и принялся энергично строчить.

Из часовни донёсся звук колокола, и чуть позже мы услышали шаги монахинь. Сестра Джулианна бодро вошла в кухню, маленькая, толстенькая, по-матерински заботливая. Глядя на ребят с истинной симпатией, она протянула им обе руки.

– Я так много о вас слышала, и это настоящий праздник для всех нас, что сегодня вы здесь. Миссис Би приготовила ростбиф, йоркширский пудинг и яблочный пирог. Что скажете, вам это по вкусу?

Три дерзких, искущённых в жизни парня ответили ей, словно маленькие мальчики, получающие сласти от любимой тётушки.

Мы вошли в трапезную. После молитвы, во время которой парни

изумлённо переглядывались, бормоча неловкое «Аминь», мы сели за большой квадратный стол, и миссис Би вкатила обеденную тележку. Сестра Джулианна, как обычно, прислуживала нам, а Трикси подавала тарелки.

Алан был возмутительно красив: идеально правильные черты лица, чистая кожа, тёмные вьющиеся волосы и мягкий взгляд тёмных глаз, окаймлённых ресницами, за которые любая девушка была бы готова убить. Я встречалась с ним пару раз и заметила, что, хоть девушки и вились вокруг него роем, пытаюсь заполучить взгляд этих ярких глаз, сам он относился к ним как к приятным, но мало значащим для него игрушкам. Он считал себя «лидером мнений». Вместе со степенью по философии в Кембридже Алан получил и готовое представление о жизни, которое, впрочем, было заимствовано им у других и по большей части не пропущено через самого себя. Проблемам и потрясениям, случающимся с большинством из нас, ещё только предстояло пошатнуть его чувство превосходства. Он был весьма высокого мнения о своих интеллектуальных способностях, которые, как я убедилась, и впрямь были на уровне, но не выдающимися.

Алан положил блокнот и карандаш рядом с собой на обеденный стол, что было весьма невежливо, но молодой журналист не утруждал себя соблюдением приличий: он был на работе, а не просто на званом обеде. Его посадили рядом с сестрой Моникой Джоан, чему он явно не обрадовался, вероятно, считая её слишком старой, чтобы представлять интерес для его читателей. Ему хотелось сидеть с сестрой Бернадетт и говорить о влиянии новой Национальной службы здравоохранения на медицину старой школы. Впрочем, он был не из тех, кто отступает от своих целей, поэтому обратился к сестре Бернадетт через стол:

– Будучи слугами Божьими, теперь, когда государство приняло вашу акушерскую службу, видите ли вы себя слугами государства?

Он тщательно всё спланировал, желая написать в своей статье о бесполезности религии – это бы заинтересовало его редактора.

Сестра Бернадетт, с предвкушением созерцавшая свой йоркширский пудинг, не была готова к такому вопросу. И в те десять секунд, что потребовались ей, чтобы придумать подходящий ответ, к юноше обратилась сестра Моника Джоан:

– В ничтожном компасе нашего разума развязана Серебряная Пуговина. Государство – слуга Духа. Слуга мудрее органического процесса роста, дифференцируемого истиной из первоисточника. Видите ли, вы свою роль в качестве одного из сорока двух Консультантов

Мертвых?

– Что?

Алан перестал есть и застыл с открытым ртом и поднятой вилкой.

– Э-эм, это... в смысле... простите?

– Пожалуйста, не машите на меня вилкой, молодой человек. Опустите прибор, – резко сказала сестра, властно смерив его взглядом. – Мы говорили о роли свободного духа, выпущенного слиянием нескольких центров, пока вы так грубо не ткнули мне вилкой в ухо. Но что мне до этого? Отпустите нас с Богом и примите неприемлемое. Это одинокая прогулка в прибежище разума. Есть ещё жареная картошка? Ту, что помягче, пожалуйста, и побольше лукового соуса, если вас не затруднит.

Она передала свою тарелку, искоса глядя на Алана с определённой долей неприязни, Однако она была готова продолжить разговор.

– Расцениваете ли вы вашу роль как новую форму святости, не имевшую прецедента, или же как эквивалент апокалипсиса мироздания, столь же беспрецедентный? – вежливо осведомилась она.

Весь стол уставился на Алана, силившегося подобрать слова. Я тихо упивалась происходящим. Это было лучше, чем я ожидала.

– По правде сказать, не знаю. Я об этом не думал.

– О, так подумайте же. Молодой человек вашего гения непременно должен учитывать воздействие своей мысли как проявления энергии, выделяющейся в результате деятельности нескольких ваших центров. Ваша мысль – горизонтальная вибрация, централизация положительной и отрицательной полярности. Не могу поверить, что вы не размышляли о ваших мыслях. Это долг каждого великого человека – задумываться о превосходстве интеллекта или, выражаясь проще, аудиального воздействия божественного сознания в рамках фрагментации. Вы согласны?

Майк брызнул слюной, и Синтия тихонько толкнула его в бок. Трикси чуть не подавилась и закашлялась так, что горох градом посыпался у неё изо рта на стол. Мы с Джимми смотрели друг на друга с тайным восторгом. У бедного Алана, заметившего, что все глаза направлены на него, хватило такта покраснеть.

Сестра Моника Джоан пробормотала будто бы про себя, но так, чтобы услышали все остальные:

– Как мило. Достаточно взрослый, что обо всём этом знать, и достаточно молодой, чтобы краснеть. Совершенно очаровательно.

Изящно устранив таким образом Алана, она переключилась на картошку.

Сестра Джулиана беспечно обвела взглядом стол:

– Кто хочет ещё ростбифа? И уверена, у миссис Би в духовке ещё остался йоркширский пудинг. Майк, вы выглядите знатоком в разделывании мяса. Отрежете тем, кто хочет добавки?

Майк взял разделочный нож, эффектным жестом наточил его и накромял щедрые порции. Миссис Би принесла ещё йоркширских пудингов, с пылу с жару. Ребята прихватили с собой вино, нашлись и бокалы. Мы не привыкли пить вино за обедом в Ноннатус-Хаусе, но сестра Джулиана объявила, что в честь особого случая можно и отступить от правил. Монахини хихикали, как школьницы, потягивая своё вино и бормоча:

– О, какое удовольствие...

– Превосходно!

– Вы должны навестить нас ещё.

Джимми и Майк были в отличной форме. Надо признать, они обладали удивительным обаянием и тактом, так что обед удался на славу. Даже сестра Евангелина расслабилась и смеялась вместе с Джимми; впрочем, смеяться с дорогим Джимми было не трудно. Только Чамми сидела тихо. Она не выглядела несчастной, просто была осторожной, понимая, что в любой момент может опрокинуть бокал с вином или отправить супницу в полёт. Она не решалась присоединиться к общему веселью, но всё время улыбалась и, кажется, по-своему получала удовольствие.

Единственный, кто не выглядел довольным, так это Алан. На самом деле, он казался вконец разъярённым. Сестра Джулианна несколько раз пыталась вовлечь его в разговор, но он не поддерживал его. Девяностолетняя монахиня выставила его дураком, и он не собирался прощать её – никого из них, если уж на то пошло. (Как я потом узнала, он так и не написал статью.)

К моему великому ужасу, Майк рассказал, как они целых три месяца прожили в сушильне медсестринского общежития, карабкаясь туда дважды в день в зимней темноте по шаткой пожарной лестнице. Я уже давно ушла из той больницы, так что не могла быть уволена, но беспокоилась, что 2 сёстры подумают о моих грехах. Впрочем, одного взгляда на лицо сестры Джулианы, немного покрасневшее от вина, хватило, чтобы успокоиться. Она посмотрела на меня и рассмеялась:

– Вы сильно рисковали. Помню, как юноша попался в спальне медсестры в Святом Томасе. Девушку немедленно уволили. А жаль – она тоже была хорошей медсестрой. Однако несколько месяцев спустя в кладовке – или в прачечной, уже и не помню, – обнаружилось аж четверо молодых людей, и никто так никогда и не выяснил, кто их привёл. И

хорошо: кто знает, скольких медсестёр лишилась бы наша профессия, если бы всех их вычислили. Это случилось незадолго до войны, тогда каждая медсестра ценилась на вес золота.

Прибыл десерт, и сестра Джулиана встала, чтобы прислуживать. И тут с другой стороны стола раздался странный шум – к моему удивлению, это смеялась сестра Евангелина! Да так, что забрызгала слюной всю свою салфетку. Сидящий по соседству Джимми, сама любезность и настоящий джентльмен, похлопал её по спине и протянул стакан воды. Сестра осушила его залпом и всё сидела, промакивая глаза и нос и бормоча сквозь кашель и хихиканье:

– О Боже... Нет, это уже слишком... это переносит меня во времена, когда... ох, я никогда не забуду...

Джимми со всей серьезностью взялся за дело, хлопая сестру по спине, что, казалось, помогало ей, но сбило её покрывало набок.

Все мы были полны решимости докопаться до сути. Сестра Евангелина никогда прежде не хохотала так в стенах монастыря, и это явно было как-то связано с молодыми людьми в спальнях медсестёр.

– Что случилось? Расскажите нам.

– Давайте же, будьте человеком!

Сестра Джулианна остановилась с сервировочной ложкой в руке.

– Ох, да ладно вам, сестра. Вы не можете оставить нас в неведении. Что это за история? Джимми, налейте ей ещё вина.

Но сестра Евангелина не могла или не хотела рассказывать. Она высморкалась и вытерла глаза. Брызнула слюной, булькнула, закашлялась, но больше ничего не сказала лишь озорно всем ухмыльнулась. Ухмылка сестры Евангелины сама по себе была неслыханной, а уж озорная и давно!

Сестра Моника Джоан смотрела на это маленькое представление, прикрыв глаза, на её губах играла лёгкая улыбка. Я ломала голову, о чём же она думает. Конечно, сестра Евангелина выглядела неопрятно со съехавшим покрывалом, ярко-красным лицом и влагой, сочащейся из всех отверстий. Я боялась леденящего комментария от сестры Моника Джоан, как, думаю, боялась и сама сестра Евангелина, с опаской поглядывая на своего извечного мучителя. Но мы обе ошибались.

Сестра Моника Джоан подождала, пока смех поутихнет, и, безошибочным чутьём актрисы выбрав наилучший момент, медленно и драматично произнесла:

– О, часы буду помнить, что мы провели, пусть годы пройдут – покаяться не жди.

Выдержав эффектную паузу, она наклонилась через стол к сестре Евангелине и, подмигнув, доверительно проговорила слышным всем театральным шёпотом:

– Ни слова, моя дорогая, больше ни слова. Любопытные варвары. Всё балаболят и гомонят. Всё тараторят и галдят. Не кормите их праздное любопытство, моя дорогая, это только обесценит ваши воспоминания.

Она посмотрела сестре Евангелине прямо в глаза и подмигнула снова, с теплотой и пониманием.

Возможно ли это? Может, показалось? Игра света и тени? Или сестра Евангелина и вправду подмигнула в ответ?

Сестра Евангелина так никогда и не рассказала, над чем смеялась. Полагаю, она сошла в могилу, схоронив эту историю глубоко в своём сердце.

Десерты были вершиной мастерства миссис Би. Сестра Моника Джоан съела две порции мороженого с шоколадно-сливочным соусом и яблочным пирогом. Она была в превосходной форме.

– Помню, как молодого человека заперли в шкафу в больнице королевы Шарлотты, – сказала она. – Он просидел там три часа. Всё бы обошлось, и никто бы не узнал, но этот простофиля позаимствовал у своего отца коня и привязал его к ограде больницы. Вы можете спрятать юношу в шкаф или под кровать – но как, скажите на милость, спрятать лошадь?

У меня перехватило дыхание, когда я поняла, что эти её воспоминания относятся к 1890-м годам!

Чем же всё закончилось? Увы, она не помнила.

– Помню только лошадь, привязанную к ограде.

Какая жалость! Жизнь так быстротечна, а прошлое так богато. Мне хотелось услышать больше. Её разум в тот момент совершенно прояснился, и, зная, как быстро он может снова затуманиться, я спросила, не находила ли она дисциплину и мелкие ограничения медсестринства невыносимыми.

– Нисколько. После ограничений и строгости жизни в семье медсестринство казалось сплошной свободой и приключением. У нас не было тех прав, какими вы, молодые, обладаете сегодня. И это касалось всех нас. Помню кузена Барни. У его матери, моей тёти, была горничная, француженка. Однажды – в середине дня, мои дорогие, – она, моя тётя, вышла на террасу и обнаружила сидящую на стуле горничную и Барни, стоящего на коленях и надевающего ей на ногу ботинок. Ботинок.

Она замолчала и оглядела всех.

– Не нижнюю юбку или что-нибудь такое. Всего лишь ботинок. Но

тётушка завизжала и упала в обморок. Горничную тут же уволили, а семья была столь возмущена, что Барни вручили десять фунтов и билет до Канады в один конец. Больше его не видели и ничего о нём не слышали.

Майк предположил, что отправка в Канаду была, возможно, лучшим, что могло с ним произойти. Сестра Моника Джоан надолго задумалась, прежде чем ответить.

– Хотелось бы в это верить. Но с той же долей вероятности бедный Барни мог умереть от голода или болезней в суровую канадскую зиму.

Это мысль отрезвляла.

Я попросила рассказать ещё какие-нибудь истории. Она снисходительно мне улыбнулась:

– Я здесь не для того, чтобы вас развлекать, мои дорогие. Я здесь по милости Божьей. Вот уже девяносто лет. Слишком долго... слишком долго.

Сестра Моника Джоан молчала с минуту, и никто не решался заговорить. Она столько видела, столько сделала за свою жизнь: боролась за независимость в юности; вступила в монашеский орден в зрелости; занималась медсестринским делом и акушерством в лондонских доках во время войны, когда ей было почти восемьдесят. Кто мог сравниться с ней по опыту?

Со слегка удивлённым, слегка насмешливым выражением ясных глаз она посмотрела на нас – таких молодых, таких легкомысленных, несерьёзных. Её локоть покоился на столе, тонкие пальцы подпирали подбородок. Мы сидели как заколдованные.

– Вы все так молоды, – задумчиво проговорила она. – Молодость – это первый прекрасный цветок весны.

Подняв голову, она простёрла к нам свои выразительные руки. Лицо её сияло, глаза сверкали, голос звучал радостно и торжественно:

– А посему... Пойте, милые, пойте, пока лепестки не увяли, питая цветы другой весны.

Смог

Кончита Уоррен ждала двадцать пятого ребёнка. За последний год я видела их семью довольно часто, потому что старшая дочь Уорренов, двадцатидвухлетняя Лиз, оказалась портнихой моей мечты. Она шила одежду с тех пор, как у нее появилась первая кукла. Ей всегда хотелось заниматься только этим, рассказывала она мне. Оставив школу в возрасте четырнадцати лет, Лиз сразу пошла подмастерьем в ателье высококлассных портних, с которыми работала до сих пор. Обычно она не принимала частных клиентов на дому: бардак там стоял такой, что просить дам прийти туда на примерку девушка не могла. Однако, так как я уже привыкла к их дому, нас с ней это не беспокоило. Лиз была мастером своего дела и на протяжении многих лет с удовольствием шила для меня одежду.

Я всегда была модницей и отдавала составлению гардероба много сил и времени. Вся моя одежда шилась специально для меня, и от готовых магазинных вещичек я воротила нос. Сегодня это может показаться необычным и жутко дорогим, но в 1950-х дела обстояли по-другому. На самом деле, выходило даже дешевле. Одежду действительно хорошего качества можно было пошить за мизерную долю того, сколько бы она стоила в магазинах. Отличный материал удавалось найти на уличных рынках и купить за бесценок. Обычно я сама рисовала эскизы или адаптировала фасоны. Когда я жила в Париже, мне хотелось присутствовать на показах великих французских кутюрье – Диора, Шанель, Скиапарелли. Открытие сезона было, конечно, забронировано для прессы и богачей, но через две-три недели, когда ажиотаж спадал, показы продолжались едва ли не дважды в неделю, и их мог посетить любой желающий. Я их обожала и тщательно делала заметки и зарисовывала то, что было бы мне к лицу, чтобы затем заказать себе такие же наряды.

Единственная проблема заключалась в том, чтобы найти достаточно опытную портниху, способную самостоятельно построить выкройку. Лиз была совершенством. Она не только придумывала собственные выкройки, но и обладала настоящим чувством стиля и часто предлагала или адаптировала модели, чтобы те соответствовали ткани и крою. Мы были примерно одного возраста, и союз получился действительно плодотворным.

В один из моих визитов Лиз, криво улыбнувшись, сообщила мне, что мама снова «ждёт». Вместе мы поразмышляли, сколько ещё у Кончиты будет детей. Её точный возраст был неизвестен, но, вероятно, где-то около сорока двух, так что она могла родить ещё шестерых – восьмерых детей. Учитывая её предыдущие достижения, мы обе ставили на тридцатку в общем зачёте.

Кончита снова записалась на домашние роды с сёстрами Ноннатус-Хауса и попросила о дородовом наблюдении на дому. Так как я принимала предыдущие роды, мне поручили вести и эти. Как и в тот раз, Кончита была в идеальном состоянии. Она вся светила и до двадцать четвёртой недели не очень-то походила на беременную, хотя сроки в очередной раз были лишь приблизительные. Младшей девочке к тому времени исполнился год. Лен пребывал в радостном волнении и предвкушении, как если бы речь шла о рождении второго или третьего ребёнка.

Стояла зима, очень холодная и с постоянной гололедицей. Тяжёлые снеговые тучи нависали над городом, улавливая дымовые газы ото всего сжигаемого угля, паровозов и паровых двигателей, обильный дым с океанских судов, но прежде всего с фабрик, работавших в основном на угле. Образовался густой лондонский смог. Сегодня никто и понятия не имеет, на что это было похоже. Воздух становился тяжёлым, зловонным, густого желтовато-серого оттенка. На расстоянии ярда было уже ничего не разглядеть, даже в полдень. Движение на дорогах практически останавливалось. Автомобиль мог двигаться, только если впереди него шёл человек, несущий два ярких фонаря: один – чтобы светить перед собой и самому найти дорогу, другой – позади себя, чтобы водитель видел, в каком направлении следовать. Смог был особенностью многих лондонских зим того времени; возникая, он висел над городом до тех пор, пока атмосферное давление не повышалось, позволяя накопившимся выхлопам развеяться.

Кончита, должно быть, пошла за чем-то на задний двор. Она то ли поскользнулась на льду, то ли споткнулась, не увидев чего-то. Скорее всего, Кончита сильно ударилась и какое-то время пролежала в полубессознательном состоянии на холодном бетоне. В доме в то время были только малыши младше пяти лет. Её нашли другие дети, вернувшись из школы домой. Видимо, она находилась в достаточном сознании, чтобы ползти, и с помощью детей, которым не было и одиннадцати, смогла вернуться в дом. Женщина, судя по всему, пыталась сделать это и раньше, но, не видя ничего из-за смога, только удалялась от дома. Чудо, что она не умерла от переохлаждения. Её состояние было плохим. Один из малышей

сбегал за соседкой, и та закутала Кончиту в одеяла и дала горячего бренди с водой. Старшие дети начали возвращаться домой после четырёх и только тогда узнали о беде, приключившейся с их матерью. Лен и старшие мальчики вернулись последними: они работали в Найтсбридже, и дорога домой занимала у них два с половиной часа.

Той же ночью у неё начались роды.

Звонок раздался около половины двенадцатого. К телефону позвали меня, ведь Кончита была моей пациенткой. Я пришла в ужас – во-первых, из-за преждевременных родов, а во-вторых, из-за погодных условий. Как же я доберусь до Лаймхауса?

Я разговаривала с одним из старших сыновей, кратко объяснившим ситуацию, и первым делом спросила:

– Вы позвонили врачу?

– Да, позвонили, но его не было на месте.

– Попробуйте дозвониться, – сказала я, – ведь ваша мама может быть больна. Если у неё сотрясение и сильное переохлаждение, ей может потребоваться медицинская помощь, независимо от беременности. Позвоните доктору ещё раз прямо сейчас. Ему, вероятно, будет тяжело добраться до вас. Так же, как и мне.

Повесив трубку, я выглянула в окно. И ничего не увидела. Густые серо-жёлтые завитки тумана кружились за стеклом, словно стараясь проникнуть внутрь. Я поёжилась – как от предчувствия ужасного состояния Кончиты, так и от нежелания выходить на улицу. В воздухе разливались глухие стоны сирен на речных судах и из доков.

Последние три дня мы почти не выходили из дома, надеясь и молясь, что никто не будет рожать, пока не рассеется смог. В этой ситуации я не могла, не должна была действовать в одиночку.

Я поднялась на этаж, где жили сёстры, чтобы позвать сестру Джулианну. Монахини ложились спать около девяти, поскольку просыпались к четырем утра на первую службу, так что для них половина двенадцатого была глухой ночью. Тем не менее стоило мне тихонечко стукнуть в дверь, как сестра проснулась.

– Кто там? – откликнулась она.

Назвавшись, я объяснила, что у Кончиты Уоррен преждевременные роды.

– Погодите.

Я подождала секунд тридцать, и сестра вышла ко мне в коридор, притворив за собой дверь кельи. На ней был грубый коричневый шерстяной халат и, что удивительно, её монашеское покрывало. Вопрос

«Может, она спит в нём?» промелькнул у меня в голове. Это, наверное, чертовски неудобно.

Но времени размышлять о привычках монахинь не было. Я вкратце пересказала сестре Джулианне услышанное по телефону. Она на мгновение задумалась и ответила:

– Лаймхаус более чем в трёх милях от нас. Вам самой туда не добраться. Но от меня, как и от любой из сестёр, не будет никакого прока: двое заблудятся в тумане так же легко, как одна. Вас должны сопроводить полицейские. Ступайте теперь и позвоните в полицию. И да пребудет с вами Бог, моя дорогая. Я буду молиться за Кончиту Уоррен и её не рождённое ещё дитя.

Осознание, что сестра Джулианна будет за нас молиться, произвело необычайный эффект. Напряжение и волнение покинули меня, и я почувствовала себя спокойно и уверенно. Я научилась уважать силу молитвы. Что за перемена произошла в своевольной девушке, которая всего год назад посчитала бы саму идею молитвы не более чем шуткой?

Позвонив в полицию, я сообщила о чрезвычайной ситуации. Мне сказали, что идти пешком безопаснее, но на велосипеде быстрее. Полицейский объяснил:

– Нет никакого смысла отправлять машину, потому что дальше капота ничего не видно и кому-то всё равно придётся идти впереди. Мы пришлём велосипедный эскорт.

Я сказала, что буду готова через десять минут. Моя акушерская сумка уже была упакована. Все мои мысли устремлялись к Кончите. Я не думала, что на двадцать восьмой неделе у малыша есть шанс выжить.

Найти велосипедную стоянку в смоге и закрепить сумку на велосипеде оказалось непростым делом, но не прошло и десяти минут, как я уже стояла перед Ноннатус-Хаусом.

Вскоре на велосипедах с очень мощными передними и задними фарами, пробивавшими смог ярда на два, прибыли двое полицейских. Один поехал впереди, велел мне держаться следом, другой – сбоку от меня, так что я оказалась со стороны обочины. Мы ехали удивительно быстро, потому что другого движения на дороге не было.

Оглядываясь почти на полвека назад, кажется абсурдным мчаться на экстренные роды на велосипедах со скоростью около десяти миль в час. Но даже сегодня я не могу придумать способа лучше. Какие преимущества может дать самый мощный полицейский автомобиль при нулевой видимости?

Мы доехали до дома Уорренов меньше чем за пятнадцать минут. В одиночку я бы с этим не справилась. Мужчины сказали, что подождут здесь на случай, если понадобятся мне позже, и двое девочек Уорренов повели их на кухню поить чаем.

Я поспешила к Кончите. Она выглядела жутко: мертвенно-бледная, с ярко-розовыми пятнами под глазами. И беспрестанно стонала. Я измерила ей температуру – 103 °F^[32]. Сначала я вообще не почувствовала её пульс, но затем тщательный подсчёт показал 120 неритмичных ударов. Кровяное давление также едва определялось. Дыхание было поверхностным и учащённым – около сорока вдохов в минуту. Пару минут я наблюдала за ней в тишине, пока не пришла схватка. Она была сильной, и лицо женщины исказилось от боли, из её горла вырвался пронзительный стон. Глаза её были открыты, но не думаю, что она что-либо видела.

Лен баюкал жену в своих объятиях. Страдания, отражавшегося на его лице, хватило бы, чтобы разбить сердце кому угодно. Он гладил её по волосам, что-то бормотал, но она, казалось, ничего не чувствовала и не слышала. Лиз тоже была в комнате.

Я спросила, дозвонились ли доктору. Дозвонились, но он всё ещё был на вызове. Звонок перевели на другого врача, но тот тоже занимался пациентом. Всем докторам приходилось нелегко в это время: лондонский смог был отъявленным убийцей.

Я сказала, что нужно как можно скорее организовать госпитализацию.

– Сё так плохо? – спросил Лен.

Удивительно, как люди не видят того, чего не хотят видеть. Для меня было очевидно, что Кончита может умереть, особенно если возникнут осложнения во время родов. Но Лен этого не осознавал.

Я пошла поговорить с полицейскими. Один сказал, что позвонит в больницу. Другой – постарается найти кого-нибудь из местных врачей общей практики и привести сюда, если это возможно. Вопрос о том, как скорая помощь доберётся туда и обратно, оставался открытым.

Вернувшись к Кончите, я начала раскладывать инструменты. Вполне вероятно, что я останусь один на один с преждевременными родами и больной и, возможно, умирающей женщиной.

И вдруг я вспомнила, что за нас молится сестра Джулианна. На меня вновь снизошло облегчение. Все мои страхи испарились, и спокойная уверенность, что всё будет хорошо, затопила разум и тело. Я вспомнила слова матери Юлианы Норвичской:

Всё должно быть хорошо, и всё будет хорошо,

И всё, что есть на свете, должно быть хорошо.

Я, видимо, с облегчением вздохнула, и Лен тут же ухватился за это:

– Думаете, с ней те'рь сё будет путём, да ведь?

Должна ли я рассказать ему, что сестра Джулианна за нас молится? Это казалось таким глупым, почти не имеющим значения. Но, чувствуя, что знаю Лена достаточно хорошо, я сказала ему. И он не пренебрег этим.

– Ну, тогда я тож' считаю, что сё будет хор'шо.

Его лицо стало заметно светлее, чем когда я вошла в комнату.

Желательно было провести вагинальный осмотр, чтобы понять, насколько Кончита продвинулась в родах, но я никак не могла правильно её расположить. Она не позволяла ни Лену, ни мне шевелить её. Лиз объяснила матери по-испански, что от неё хотят, но та либо не поняла, либо никак не отреагировала. Я могла отслеживать родовой процесс только по силе и частоте схваток, которые на тот момент приходили примерно каждые пять минут. Попытавшись послушать сердцебиение плода, я ничего не услышала.

– Ребёночек-то там живой? – спросил Лен.

Не хотелось говорить категоричное «Нет», поэтому я перестраховалась:

– Маловероятно. Ваша жена сегодня очень сильно замёрзла и долго лежала без сознания. Теперь у неё температура. Всё это сказывается на ребёнке. Я не слышу сердцебиения.

Одна из серьёзнейших проблем преждевременных родов на сроках, как у Кончиты, заключается в том, что плод может лежать поперёк матки. В идеале человеческий ребёнок должен рождаться головой вперёд. Роды в тазовом предлежании затруднены, но возможны. Поперечные или плечевые роды невозможны. До тридцать шестой недели головка обычно не опускается в таз. На двадцать восьмой неделе плод достаточно велик, чтобы полностью перекрыть шейку матки, если схватки толкают его вниз в поперечном положении. В этом случае без хирургического вмешательства смерть ребёнка неизбежна.

Я прощупала матку, пытаясь определить положение ребёнка, но бесполезно – я затруднялась сказать наверняка. Влагалищное исследование могло бы прояснить ситуацию, но уговорить Кончиту помочь нам в этом оказалось невозможно.

Всё, что я могла делать, так это ждать. Минуты между схватками текли ужасно медленно. Теперь сокращения повторялись каждые три минуты. Пульс участился – 150 ударов в минуту; дыхание казалось ещё более поверхностным. Кровяное давление было совсем невысоким. Я молилась о

том, чтобы услышать стук в дверь, возвещающий о прибытии врача или скорой помощи, но он никак не раздавался. В доме всё стихло, кроме низких стонов, издаваемых Кончитой, когда очередная схватка приходила и отступала.

Неизбежно схватки становились всё сильнее, и тогда Кончита закричала. Никогда в жизни – ни до, ни после – я не слышала таких страшных звуков. Они вышли из глубин её страдающего тела с силой и мощью, которые я считала невозможными, учитывая её ослабленное лихорадочное состояние. Кончита всё кричала и кричала; в невидящих глазах стоял дикий ужас, звук волна за волной отражался от стен и потолка комнаты. Она вцепилась в мужа, царапая его, пока на лице, груди и руках Лена не выступила кровь. Он попытался обнять её, чтобы успокоить, но ни о каком спокойствии для неё не могло быть и речи.

Я чувствовала полнейшую беспомощность. Давать анальгетик, чтобы уменьшить боль и успокоить Кончиту, я не решалась, потому что пульс и давление были так далеки от нормы, что я понимала: любые препараты, вероятно, убьют её. Я подумала: если роды пройдут нормально, у неё есть шанс выжить, но при поперечном предлежании она умрёт, если только не приедет скорая. Я не могла подойти к ней, чтобы прощупать матку или даже придержать ногу, потому что она металась в кровати с силой загнанного в ловушку дикого зверя.

Бедная Лиз выглядела напуганной до смерти. Лен с безоговорочной любовью по-прежнему пытался удержать жену в своих объятиях и успокоить её. Она вцепилась зубами в его руку, словно бульдог, и повисла на ней. Лен не вскрикнул, но поморщился от боли; пот и слёзы капали с его лба и из глаз. Он даже не пытался разжать её челюсть или отнять руку, и я с тревогой подумала, как бы она не порвала ему сухожилия.

Наконец она отпустила руку Лена и метнулась на другую сторону кровати. Затем, так же внезапно, как началось, всё закончилось: Кончита издала чудовищный крик, сильно потужилась, и воды, кровь, плод, плацента – всё за один раз исторглось на простыню.

Женщина в изнеможении откинулась. Я вообще не чувствовала у неё пульса. Она, казалось, перестала дышать. Но я ощущала трепет сердцебиения, так что послушала через стетоскоп. Сердце билось слабо и неровно, но билось. Плод был синим и выглядел безоговорочно мёртвым. Схватив большой почкообразный лоток, я сгребла в него всё и бросила обратно на туалетный столик.

– Теперь нужно быстро её согреть, – сказала я, – почистить и устроить поудобнее. Лиз, помогай: чистые тёплые простыни и пару грелок. Через

минуту я проверю плаценту – вся ли она вышла. Если сможем заставить её выпить тёплого питья, ей станет легче. Горячая вода с мёдом подойдёт, ещё лучше – с чайной ложкой бренди. Главное сейчас – снять шок. И будем надеяться и молиться, что кровотечение не усилится.

Лен вышел дать необходимые распоряжения и успокоить перепуганную семью, собравшуюся под дверью. Мы с Лиз принялись убирать грязные простыни и бельё из-под Кончиты. Лен вскоре вернулся с чистыми простынями и грелками, и вместе с Лиз я начала поудобней устраивать на кровати безвольное тело её матери.

Лен, должно быть, подошёл к туалетному столику. Мы с Лиз, занятые Кончитой, стояли спиной к нему и вдруг услышали, как Лен ахнул:

– Он живой!

– Что!? – воскликнула я.

– Он живой, грю. Детёнок живой. Он шаволится.

Бросившись к столику, я посмотрела на кровавое месиво в почкообразном лотке. Оно шевелилось. Кровь на самом деле двигалась. Моё сердце остановилось. Потом я увидела крошечное создание, лежавшее в луже крови и дёргавшее ногой.

«Боже мой, я же могла его утопить!» – подумала я.

Вытащив маленькое тельце одной рукой, я перевернула его вверх ногами. Казалось, оно ничего не весило. Я когда-то держала новорождённого щеночка такого же размера.

Мозг начал лихорадочно соображать.

– Нужно быстро зажать и перерезать пуповину. Потом – согреть его.

Это был маленький мальчик.

Я почувствовала себя отчаянно виноватой. Пуповину следовало зажать и перерезать пять минут назад. «Если он сейчас умрёт, это будет полностью моя вина», – поняла я. Я отбросила эту крошечную живую душу тонуть в лотке с кровью и водами, тогда как должна была посмотреть внимательнее, должна была об этом подумать.

Однако самоуничтожение привело бы нас в никуда. Я зажала и перерезала пуповину. Ощупала хрупкую грудную клетку. Дышит. Выжил. Лен согрел маленькое полотенце на грелке, и мы завернули ребёнка. Он слабо пошевелил головкой и ручками.

Мы трое были поражены, что ребёнок оказался живым. Никто из нас никогда не видел такого крошки. Дети, недоношенные на два месяца, обычно весят около четырёх фунтов^[33] и кажутся ужасно маленькими. Этот ребёнок весил полтора фунта^[34] и был похож на крошечную куколку.

Его ручки и ножки были меньше моего мизинца, и всё же каждый пальчик заканчивался микроскопическим ноготком. Головка была меньше мячика для пинг-понга и казалась непропорционально большой. Рёбра походили на рыбные косточки. У него были крошечные ушки и ноздри с булавочную головку. Я никогда не думала, что ребёнок на двадцать восьмой неделе так прекрасен.

Я знала, что нужно отсосать слизь у него из горла, но боялась его повредить. Во всяком случае, катетер, который я достала, оказался слишком большим и никогда бы не прошёл в его ротик. Это было бы всё равно что заталкивать в рот ребёнку пожарный шланг. Так что я просто держала его практически вверх ногами одной рукой и осторожно поглаживала спинку пальцем. У меня не было опыта ухода за недоношенными детьми, и я не знала, что делать. Инстинкты говорили, что его следует поместить в тепло и тишину, желательно в темноту и с частым кормлением. Люлька ещё не была готова. Куда же его положить? И только тогда Кончита, до сих пор лежавшая тихо, заговорила:

– *Niño. Mi niño. Dónde esta mi niño?*^[35]

Мы переглянулись. Мы-то все думали, что она в забытии или спит, но, очевидно, она точно знала, что произошло, и хотела видеть своего ребёнка.

– Надобно дать ей ейного ребятенка. Лиз, скажь ей, что он оч' мал и надобно быть с ним оч' осторожной.

Лиз поговорила с матерью, и та слегка улыбнулась и устало вздохнула. Лен забрал у меня ребёнка и сел подле жены. Он держал младенца в одной руке так, чтобы тот оказался в поле её зрения. Несколько мгновений её взгляд был пустым и расфокусированным; не думаю, что сначала она увидела или поняла – Кончита ожидала взять на руки доношенного ребёнка. Лиз снова заговорила с ней, и я услышала слова:

– *El niño es muy pequeñito*^[36].

Кончита попыталась сфокусировать зрение на крохотулечке в руках Лена. Было видно, каких усилий и борьбы ей это стоило. Постепенно она осознала и, резко задержав дыхание, протянула дрожащую руку, чтобы прикоснуться к ребёнку. Она улыбнулась, пробормотала: «*Mi niño. Mi querido niño*»^[37] и провалилась в сон; её рука так и осталась на ладони Лена и малыше.

И только тогда прибыл «Летучий отряд».

«Летучий отряд»

Большинство крупных лондонских больниц, как, наверное, и все региональные, предоставляли акушерские «Летучие отряды» в качестве экстренной помощи принимавшим на дому акушеркам. Эта служба, должно быть, спасла тысячи жизней, ведь до 1940-х, пока её не ввели, акушерка могла оказаться абсолютно одна в таких чрезвычайных ситуациях, как неправильное предлежание, кровотечение, выпадение пуповины или предлежание плаценты, и всё, что ей оставалось делать, – это позвонить местному врачу общей практики, который мог иметь опыт акушерства, а мог и не иметь.

«Летучий отряд» Лондонской больницы в Уайтчепеле мог похвастаться тем, что добирался до места вызова за двадцать минут. Но это при условии отсутствия смога. Когда полицейский связался с больницей и сообщил о Кончите, у них не оказалось ни одной свободной скорой помощи, которая могла бы доставить «Летучий отряд». Каждый год смог вызывал острую и смертельную дыхательную недостаточность у тысяч пожилых людей, и все врачи и скорые были заняты этими вызовами. Когда одна машина наконец-то вернулась на станцию, водителя, проработавшего без передышки шестнадцать часов, отправили отдохнуть, и пришлось искать другого. Но даже тогда скорая не могла ехать без полицейского, шедшего впереди, освещая дорогу, – отсюда и задержка почти на три часа. И всё-таки больница прислала ординатора, врача-стажёра и медсестру из акушерского отделения.

Случилось, как говорится, всё и сразу – через несколько минут после скорой до нас пешком добрался районный врач общей практики. «Благослови его Бог», – подумала я. Он выглядел изможденным, проработав весь день и всю ночь и, весьма вероятно, большую часть предыдущей ночи, но при этом, движимый чувством профессионального долга и вежливостью, извинился за опоздание.

С таким количеством врачей в доме можно было держать совет, чтобы определить наилучший для матери и ребёнка план действий. Мы спустились на кухню, и я попросила Лена пойти с нами. Лиз оставили с матерью и ребёнком. Двое санитаров скорой помощи и полицейские тоже присоединились к нам – никому бы и в голову не пришло попросить их подождать снаружи, на холоде, а кроме как на кухне, в доме сидеть было

больше негде. Сью, одна из девочек постарше, заварила всем чая.

Я пересказала историю болезни и предоставила записи. Все врачи сошлись во мнении, что мать и ребёнок должны быть немедленно госпитализированы.

Лен забеспокоился:

– А она точно должна ехать? Ей эт' не понравится. Она ж отродясь не выезжала из дому. Она там оторопеет и перетрусит, грю вам. Я знаю, как сё будет. Мы моём за ней приглядеть. Я останусь дома, и девочки сё попеределяют, покуда ей не получшеет.

Доктора переглянулись и вздохнули. Страх больниц был обычным делом. Среди старшего поколения он возникал главным образом из-за того, что большинство больничных корпусов перестроили из рабочих домов, которых боялись сильнее смерти. В конце концов врачи согласились, что поскольку Кончита благополучно разрешилась, то, если не возникнет никаких послеродовых осложнений, она, наверное, сможет лечиться дома. Курс антибиотиков прогонит инфекцию, вызвавшую лихорадку. Травма головы, повлёкшая сотрясение и помутнение рассудка, излечится отдыхом и тишиной. Врачи попытались указать на то, что в больнице она отдохнёт лучше, чем дома, в окружении детей, но Лен и слышать ничего не хотел, так что они сдались.

Однако ребёнок – это совсем другое дело. Его не взвешивали, но врачи согласились с моим предположением, что в нём было полтора-два фунта. Все они сказали, что двадцативось-миндельные дети едва ли жизнеспособны, так что чудом выживший малыш обязательно должен получить стационарное лечение с использованием новейшего оборудования и с высококвалифицированным медицинским уходом двадцать четыре часа в сутки. Они предложили немедленно перевезти его в детскую больницу на Грейт-Ормонд-стрит. Лен засомневался было, но, когда ему объяснили, что без специального ухода ребёнок умрёт, охотно согласился.

Мы все поднялись в спальню. Не знаю, о чем врачи думали, пока протискивались мимо всех этих колясок в коридоре и продирались сквозь свисавшее отовсюду бельё, карабкаясь вверх по деревянным ступенькам. Я не спрашивала, но про себя улыбнулась.

Кончита спала, крошечный ребёнок лежал у неё на груди. Одна рука прикрывала малыша, другая безвольно лежала вдоль тела. Женщина улыбалась, и её дыхание, хотя и оставалось неглубоким, было теперь размеренным и не таким частым. Подойдя к кровати, я измерила её пульс. Он стал немного ощутимее и ровнее, но оставался таким же учащенным –

120 ударов в минуту, по-прежнему ненормально, но уже лучше. Лиз тихо и оперативно прибиралась, и ото всей этой картины веяло умиротворением.

Теперь, когда ребёнка целиком накрывала рука матери, он казался ещё меньше. Видна была только его головка. Впечатления, что он живой, не создавалось, хотя цвет его кожи не говорил о смерти.

Ординатор захотел осмотреть Кончину. Я сообщила, что ещё не проверяла плаценту – не было времени между родами и приездом скорой помощи. Мы исследовали её вместе, она оказалась очень рваной.

– Не слишком обнадеживающе, – пробормотал он. – Говорите, вышло всё сразу? Я должен на неё взглянуть.

Он откинул одеяло, чтобы осмотреть живот, и увидел выделения из влагалища. Кончита, казалось, была без сознания и не шевелилась, когда он пальпировал её матку. Выделилось немного крови.

– Прокладку, – попросил он и велел стажёру: – Полмиллилитра эргометрина для инъекции.

Он ввёл иглу глубоко в ягодичную мышцу, но и тогда Кончита не пошевелилась. Ординатор прикрыл её и сказал Лену:

– Думаю, часть плаценты осталась внутри. Возможно, ей придётся лечь в больницу на дилатацию и кюретаж. Всего на несколько дней, но нельзя рисковать, чтобы кровотечение случилось дома. В её состоянии это может быть крайне серьёзно.

Я видела, как Лен побелел, и ему пришлось схватиться за спинку стула, чтобы не упасть.

– Однако, – мягко продолжил ординатор, – это может и не понадобиться. Следующие пять минут покажут, подействовала ли инъекция.

Затем он попробовал измерить давление Кончиты.

– Я ничего не слышу, – сказал он, и трое докторов обменялись многозначительными взглядами.

Лен застонал и сел. Дочь положила руку ему на плечо, и он её сжал.

Все мы ждали. Ординатор сказал:

– Нет никакого смысла осматривать ребёнка. Ясно, что он жив, но педиатров среди нас нет. Для экспертизы нужно дождаться экспертов.

Он попросил телефон, чтобы позвонить в больницу на Грейт-Ормонд-стрит, но в доме не было своего аппарата. Тихо выругавшись себе под нос, ординатор спросил, где можно найти ближайшую телефонную будку. Она оказалась в двух сотнях ярдов вниз по дороге, на другой стороне улицы. Многострадальный стажёр отправился в туман и гололёд с карманами, полными мелочи, собранной у всех нас, чтобы позвонить в больницу и обо

всём договориться.

Мы продолжили ждать. Никаких признаков сокращения матки не наблюдалось.

Прошло пять минут. Стажёр вернулся и сообщил, что Грейт-Ормонд-стрит незамедлительно направит к нам педиатра и медсестру с инкубатором и специальным оборудованием, чтобы забрать ребёнка, однако время их прибытия зависит от видимости.

Прошло ещё пять минут. Влагалищное кровотечение продолжалось, но без сокращений.

– Ещё полмиллилитра, – сказал ординатор. – Вколем внутривенно. Необходимо, чтобы то, что осталось у нее внутри, вышло. Если мы не сможем добиться этого таким образом, – обратился он к Лену, – нам потребуется забрать её с собой на выскабливание. И, если вам дорога её жизнь, придётся на это согласиться.

Лен застонал и молча кивнул.

Я сжала Кончите предплечье, силясь накачать вену для инъекции, но ничего не вышло – кровяное давление было таким низким, что найти венозный отток не удавалось. Ординатор попытался несколькими уколами обнаружить вену, и с третьей попытки на шприце показалась кровь. Он вколол в вену полмиллилитра, и я выпустила руку.

Через минуту Кончита поморщилась от боли и дёрнула ногой. Из её влагалища вытекло много свежей крови, а потом, к счастью, вышло несколько крупных тёмных ошмётков. После паузы началось второе сокращение. Ординатор сжал дно матки и одновременно с силой надавил на неё вниз и назад. Выделилось ещё некоторое количество крови и плаценты.

Всё это время Кончита была пассивной, но мне показалось, я видела, как её рука сжалась над ребёнком.

– Может быть, это всё, – сказал ординатор, – но нужно подождать ещё немного, чтобы удостовериться.

Он немного расслабился и принялся болтать с каждым, кто был готов слушать, об отличном гольфе в Гринвиче, о доме, который он купил в Далвиче, и о своем отпуске в Шотландии. Следующие десять минут не было ни кровотечения, ни новых сокращений.

Так, благодаря современным акушерским методам, Кончита преодолела опасность послеродового кровотечения. Но она по-прежнему выглядела весьма нездоровой. Дыхание и пульс оставались учащенными, давление – аномально низким, температура – высокой. Она, казалось, не приходила в сознание, хотя теперь её глаза были закрыты, и она, возможно, спала. Тем

не менее её рука по-прежнему надежно прикрывала ребёнка, и любые попытки забрать его встречали сопротивление.

Мы с Лиз с трудом снова убрали постель, в то время как стажёру была поручена грязная работа – сопоставить куски плаценты с основной её частью, вышедшей в самом начале, и измерить объем крови, которую нам удалось собрать.

– Плацента вроде бы вся, сэр, и я намерил полторы пинты крови. Добавьте к этому около восьми унций, впитавшихся в простыни, и получится примерно две пинты^[38] кровопотери.

Ординатор забормотал что-то про себя, потом сказал вслух:

– Ей действительно необходимо переливание. Давление уже очень низкое. Мы можем сделать это здесь? – добавил он, обращаясь к врачу общей практики.

– Да, я сейчас же возьму образец для проверки на совместимость.

А я ещё удивлялась, почему врач оставался здесь всё это время, хотя уже мог бы уйти. Теперь мне стало ясно. Он предполагал, что ответственность за Кончиту может лечь на его плечи, если будет решено лечить её на дому, и хотел в полной мере учесть все факты.

В этот момент приехала скорая с Грейт-Ормонд, чтобы забрать ребёнка.

Недоношенный ребёнок

Какая жалость, думала я, с точки зрения лаймхаусских кумушек, что это случилось в лондонском смоге. Если бы всё происходило ясной ночью, за каждым шагом бы наблюдали и комментировали: вот в дом вошли акушерка, полиция, целая команда врачей, прикатила скорая помощь, и все – с полицейским эскортом. Такая сенсация заняла бы сплетниц минимум на год. На деле же даже ближайший сосед не смог бы разглядеть две скорые, стоявшие у дома Уорренов, и полицейских, всю ночь сновавших туда-сюда. Единственным утешением могло стать только то, что вся улица проснулась от леденящего кровь крика, не смолкавшего минут двадцать.

Принадлежности и персонал, появившиеся из второй скорой, были ошеломляющими. Пронёсся доктор с инкубатором. Следом другой – с аппаратом для вентиляции лёгких. Затем – медсестра с огромной коробкой. Двое санитаров и полицейский шли последними, каждый нёс баллон с кислородом. Всё это нужно было протащить мимо трёх огромных колясок и двух стремянок, выстроившихся в коридоре. Висящее над головой выстиранное бельё не особо способствовало продвижению, цепляясь за оборудование, и несколько небольших, изящных предметов личного гардероба юных обитательниц этого дома были транспортированы вместе с техникой наверх. Дети, всю ночь вскакивавшие и укладывавшиеся обратно в кровати, перегнулись через перила и притаились в дверных проёмах, чтобы лицезреть эту процессию.

Добравшись наконец до спальни, медицинский персонал вошёл в комнату, а полицейские и санитары были отправлены вниз, на кухню, чтобы присоединиться к коллегам за чаем. Но даже без них в средних размеров спальне теперь находились пять докторов, две медсестры, акушерка, Лен и Лиз. Повсюду стояло оборудование. Мои инструменты всё ещё лежали на туалетном столике, инструменты ординатора из «Летучего отряда» – на комодe. Педиатру пришлось оставить свои на полу, пока мы спешно расчищали место.

– Думаю, мы теперь можем отчалить, – сказал ординатор коллеге. – Очень рад вас видеть. Мать остаётся лечиться дома. Удачи с ребёнком.

Они ушли, но врач общей практики остался.

Педиатр посмотрел на ребёнка и ахнул.

– Думаете, он выкарабкается, сэр? – спросил молодой доктор.

– Уж мы чертовски постараемся, – ответил детский ординатор. – Закрепите кислород и отсос и нагрейте инкубатор.

Бригада занялась делом.

Педиатр наклонился к Кончите, чтобы забрать ребёнка. Сказать, спит она или находится в полубессознательном состоянии, было невозможно, но мышцы её руки напряглись, и она удержала ребёнка.

Врач обратился к Лену:

– Пожалуйста, скажите ей, чтобы она позволила мне взять ребёнка. Перед транспортировкой я должен его осмотреть.

Лен наклонился к жене и зашептал ей, пытаясь ослабить хватку её руки. Но та лишь сжалась ещё сильнее, и вторая рука легла поверх первой.

– Лиз, голубушка, скажи маме, что ребёночка бы в больницу надо.

Он легонько потряс жену, пытаясь разбудить. Её веки вздрогнули и немного приоткрылись.

Лиз склонилась над ней и заговорила по-испански. Никто из нас не знал, что она сказала. Кончита ещё немного приоткрыла глаза и попыталась сфокусировать взгляд на крохотном создании, лежавшем у неё на груди.

– Нет, – ответила она.

Лиз снова заговорила с ней, на этот раз более убедительно и настойчиво.

– Нет, – снова ответила Кончита.

Лиз попробовала в третий раз:

– *Morirà! Morirà!*^[39]

Эффект, произведённый на её мать этими словами, был мгновенным и впечатляющим. Она широко распахнула глаза, отчаянно пытаясь сконцентрировать внимание на окружающих её людях. Женщина увидела оборудование и белые халаты. Думаю, её затуманенный мозг всё осознал, и она предприняла усилие, чтобы сесть. Лиз с Леном помогли ей. Дико оглядев каждого из присутствующих, Кончита сунула ребёнка себе между грудей и скрестила над ним руки.

– Нет, – сказала она. Затем повторила громче: – Нет.

– Мама, ты должна, – мягко проговорила Лиз. – *Si no lo haces, morirà*^[40].

Кончита казалась опустошенной страданиями, но что-то происходило у неё в голове. Было видно, как она изо всех сил старается обрести контроль над своими мыслями. Силясь думать, вспомнить что-то, она крепко обхватила руками свои груди и ребёнка и опустила взгляд вниз, на

маленькую головку. Это зрелище, должно быть, стало для неё катализатором, благодаря которому всё встало на свои места. Ум её, казалось, прояснился, и огромные чёрные глаза зажглись свирепой решимостью.

Женщина оглядела всех людей в комнате, её зрение наконец-то прояснилось и сфокусировалось, и она с абсолютной уверенностью заявила:

– Нет. *Se queda conmigo. No morirà*^[41]. – И затем ещё раз, с бóльшим нажимом: – *No morirà*.

Доктора не знали, что делать. Разве что разжать её руки, применив грубую силу, и выхватить ребёнка, но Лен бы им не позволил. Ничего больше они сделать не могли.

Педиатр попросил Лиз:

– Скажите ей, что она не сможет его выводить. У неё нет ни оборудования, ни знаний. Скажите, что ребёнок будет доставлен в лучшую в мире детскую больницу, где ему обеспечат квалифицированное лечение. Скажите, он не выживет без инкубатора.

Лиз начала было говорить, но тут вмешался Лен, продемонстрировав свою истинную силу и мужественность. Он обратился ко врачам и медсестре:

– Эт' сё моя вина, и я должён извиниться. Я сказал, что ребятёнка можно брать в больницу, не спрося у жены. Я не должён был эт' делать. Когда дело доходит до детишков, ейное слово должно сегда быть крайнее. И она несогласная. Вы ж видите. Так что детёнок никуды не едет. Он остаётся здесь, с нами, и будет покрещён, а ежели помрёт, то пох'роним похристиански. Но без материнной согласности он никуды не поедет.

Он посмотрел на жену, и она улыбнулась и погладила ребёнка по голове. Казалось, Кончита поняла, что муж на её стороне и битва окончена. Она посмотрела на него с безусловной любовью и тихо повторила:

– *No morirà*.

– Вот так, – бодро кивнул Лен, – не помрёт. Коль моя Конни grit, значит, не помрёт. Мож'те мне поверить.

Что ж, ничего не поделаешь. Поняв, что потерпели поражение, врачи начали собирать оборудование. Лен ещё раз любезно извинился, поблагодарил их за потраченные силы и снова сказал, что он во всём виноват. Он предложил оплатить вызов скорой и время врачебного и сестринского персонала. Пригласил их выпить по чашке чая на кухне. Они отказались. Тогда он улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой и сказал:

– Да ладно, подите выпейте по чашечке. Путь-то вас ждёт длиннёхонек, а эт' вас сугреет.

И было в нём что-то настолько обаятельное, что все сдались под натиском его гостеприимства, несмотря на то что сердились из-за потерянного времени.

Лен с Лиз пошли помогать бригаде спускать оборудование вниз по лестнице, и мы с врачом общей практики остались одни. За последние три часа он не сказал почти ни слова, чем снискал мою симпатию. Мы знали, что на нас лежит огромная ответственность и что мать с ребёнком всё ещё могут умереть. Кончита и без того находилась в тяжёлом состоянии, но теперь, когда она потеряла две пинты крови, оно стало критическим.

– Она должна получить кровь, – сказал врач. – Я взял пробу на совместимость, и, как только банк крови сможет предоставить нужный материал, я организую внутривенное вливание. Нам потребуется местная медсестра, чтобы побыть с ней, пока процедура не закончится. Смогут ли ваши сёстры прислать кого-нибудь?

Я сказала, что он может не беспокоиться на этот счет.

Доктор продолжил:

– Я собираюсь сразу же начать курс антибиотиков, потому что она дышит только верхними долями. Хотелось бы, конечно, послушать её, но сомневаюсь, что это удастся из-за ребёнка.

Он оказался прав – Кончита не позволила. Так что он набрал в шприц ампулу пенициллина и вколол ей в бедро.

– Она должна получать по одной ампуле внутримышечно дважды в день, – сказал он, добавляя это к записям и выписывая рецепт. – А теперь попробую выяснить насчет крови. Это всё, что я могу сейчас сделать. Честно говоря, сестра, я не знаю, что делать с этим ребёнком. Думаю, мне придётся оставить это на вас и сестёр. У них наверняка больше опыта, чем у меня.

– Или у меня, – добавила я. – Я никогда ещё не ухаживала за недоношенным ребёнком.

Мы посмотрели друг на друга с одинаковой беспомощностью, и он ушёл. «Храни его Господь», – подумала я. Бог знает, сколько он уже не спал; было около пяти часов утра, и премерзкого утра, и теперь он уходил пешком в густой туман, чтобы попробовать уладить вопрос с кровью. Я не сомневалась, что в девять утра его ждала операция, а после – полный рабочий день.

Я так устала, что едва могла думать. Адреналин продержал меня на ногах всю ночь, и теперь тело оказалось опустошённым. Кончита спала;

жив был ребёнок или мёртв – неизвестно. Я попыталась подумать, могу ли что-нибудь ещё сделать, но мозг отказывался работать. Мне нужно вернуться в Ноннатус-Хаус? Но как я туда попаду? Полицейские ушли, а перспектива ехать одной в тумане не прельщала.

Тут в комнату вошла Лиз с чашкой чая.

– Присядьте посидите, голубушка, передохните, – сказала она.

Я села в кресло. Помню, как выпила полчашки чая, а в следующее мгновение уже рассвело. В комнате был Лен, он сидел на кровати, расчёсывая Кончите волосы, шепча ей разные нежности. Она улыбалась ему и ребёнку. Увидев, что я проснулась, Лен сказал:

– Теперь получшало, сестра? Сейчас десять, а в новостях сказали, что сёння туман подразойдется.

Я посмотрела на сидевшую в постели Кончиту. Ребёнок по-прежнему покоился у неё между грудями, она гладила маленькую головку и ворковала над ним. Женщина выглядела трогательно слабой, но цвет кожи и дыхание улучшились. Но, главное, её взгляд был по-прежнему сфокусированным и осмысленным. Помутнение сознания, вызванное сотрясением, совсем прошло.

С того утра она быстро пошла на поправку. Без сомнения, пенициллин помог, но один он не смог бы за несколько часов осуществить столь удивительное превращение из умирающей, ни узнающей даже собственного мужа, в спокойную дееспособную женщину, которая точно знает, что она делает и зачем. У меня есть теория, что это ребёнок вылечил Кончиту и что перелом произошел, когда она поняла, что его собираются забрать. В тот момент включились её мощные материнские инстинкты и напомнили ей, что она – защитница, кормилица. У неё не было времени болеть. Она не могла позволить себе бессознательное состояние. Его жизнь зависела от неё.

Если бы ребёнок родился мёртвым или если бы его увезли в больницу, думаю, Кончита бы умерла. В животном мире полно таких историй. Я слышала, что овца или слониха умирают, если умирает их детёныш, и живут, если он живёт.

Грань между сознанием или беспамятством тоже весьма интересна. За годы работы медсестрой я просидела с множеством умирающих пациентов и вовсе не уверена, будто то, что мы называем «беспамятством», сродни состоянию незнания, как мы привыкли думать. Бессознательность может быть глубоко сознательной и интуитивной. Кончита, казалось, была совершенно без сознания, однако её рука сжималась над ребёнком всякий раз, когда педиатр пробовал забрать его. Она не видела, кто находился в

комнате, потому что зрение её расфокусировалось, и не знала, о чём говорили, потому что не понимала язык. И тем не менее она как-то догадалась, что у неё собираются забрать ребёнка, и дала отпор, собрав последние остатки сил. Это её и излечило.

Дуглас Бадер, лётчик-ас, участник битвы за Британию, рассказывал о похожем случае. После крушения самолёта и ампутации обеих ног он услышал, как кто-то сказал: «Т-с-с, в этой комнате умирает молодой лётчик». Эти слова заставили его разум собраться, и он подумал: «Умираю? Я? Да я вам сейчас покажу...» Остальное – уже история.

Кончита дотянулась до стоявшего рядом с ней блюда и, сжимая соски, выдавила в него несколько капель молозива. Затем взяла тонкую стеклянную палочку, которую одна из её дочерей использовала для глазирования тортов. Она держала малыша в левой руке и, подцепив каплю молозива палочкой, прикоснулась ею к губам ребёнка. Я смотрела, как завороженная. Его губы были не больше пары лепестков ромашки. Высунулся крошечный язычок и слизнул жидкость. Повторив это шесть или восемь раз, женщина снова засунула ребёнка себе между грудями.

Лен сказал:

– Она делает эт' каждые полчаса, начиная с шести утра. Потом они оба маленько спят, и она делает эт' снова. Она ж грила, что он не помрёт, вот он и не помирает. Она-то знает, как за ним приглядеть.

Проверив, что у неё нет чрезмерного кровотечения, я ушла. Мне нужно было вернуться в Ноннатус-Хаус, чтобы отчитаться и попросить участковую медсестру присутствовать при переливании крови. Смог начинать подниматься, и уже можно было разглядеть что-то через дорогу. Казалось, будто мир наполняется новой жизнью, по мере того как грязный туман рассеивается, и я ехала назад с лёгким сердцем.

Сестра Джулианна сама приготовила для меня плотный завтрак с двойной порцией бекона и яиц, чтобы, как она выразилась, «заморить червячка», и выслушала мой отчёт прямо в столовой, пока я ела. Она сказала:

– Я никогда не ухаживала за столь недоношенным ребёнком, но у сестры из другого нашего монастыря есть такой опыт. Мы посоветуемся с ней. А за Кончитой нужно наблюдать очень внимательно, во избежание дальнейшей потери крови.

Сестра нашла всю эту историю удивительной и тихо сказала:

– На всё воля Божия.

Потом она ушла – распорядиться насчет дежурства во время

переливания.

Кончита больше не теряла крови. После переливания краска вернулась на её щеки, как и на щёки Лена. Она была слаба, но опасность полностью миновала. Ребёнок лежал на её груди днём и ночью, и она продолжала кормить его, как я описывала, примерно каждые полчаса. Весь персонал и сёстры из Ноннатус-Хауса приходили на них посмотреть, настолько прекрасное и необычное это было зрелище.

На четвёртый день я взвесила ребёнка, завернув его в платок. Один фунт, десять унций^[42].

Через три недели Кончита начала ненадолго вставать. Я думала об этом наперёд, гадая, что же будет с ребёнком. Очевидно, Кончита тоже обдумала это заранее и точно знала, что делать. Она попросила Лиз достать через ателье несколько отрезков лучшего небелёного шёлка и с помощью искусной старшей дочери соорудила что-то вроде перевязи вокруг плеч и груди или плотной блузы, туго стянутой понизу, но свободной сверху. В ней ребёнок провёл пять месяцев между грудями матери, никогда не расставаясь с нею.

Кто научил Кончиту этому? Никогда прежде или после я не слышала и не встречала в книгах такого способа выхаживания недоношенных детей. Чистый материнский инстинкт? Я вспомнила роды и ожесточённую борьбу Кончиты, когда у неё пытались забрать ребёнка. Тогда у меня создалось впечатление, что она пыталась что-то сообразить или припомнить и вдруг так ясно и уверенно произнесла: «*No morirà*». Может, она вспомнила, как ещё ребёнком видела в своей южноиспанской деревне крестьянку или цыганку, носившую так своё крошечное недоношенное дитя? Послужило ли это мимолётное воспоминание из полузабытых времён причиной убеждённости, что её ребёнок не умрёт?

Несколько лет спустя, когда я стала ночной медсестрой в больнице Элизабет Гаррет Андерсон в Юстоне, я заботилась о нескольких недоношенных детях примерно того же срока вынашивания и веса. Сотрудники больницы гордились отличным современным уходом, сохраняющим жизнь ребёнку. Больничные метод и метод Кончиты были кардинально разными. Инкубаторные дети днём и ночью лежали одни на твёрдой поверхности, как правило, под ярким светом. К ним прикасались только руки персонала и клиническое оборудование. Кормили их обычно смесью на основе коровьего молока. Ребёнок же Кончиты никогда не был один. Он купался в тепле, прикосновениях, мягкости, запахе, влаге матери. Слышал её сердцебиение и голос. Питался её молоком. И, прежде всего,

был ею любим.

Возможно, сегодня её решение отказаться от госпитализации ребёнка аннулировалось бы решением суда, основанным на допущении, что только обученный персонал и передовые технологии могут адекватно позаботиться о младенце. Но в 1950-х мы меньше вмешивались в семейную жизнь и уважали ответственность родителей. Вынуждена признать, что современная медицина не знает этого.

Конечно, Кончите повезло. Скорость, с которой произошли роды, могла стать причиной повреждения мозга ребёнка, но этого не случилось. Кроме того, большая опасность для недоношенного ребёнка возникает из-за недоразвитости жизненно важных органов, особенно лёгких и печени. В первые месяцы мальчик и правда не единожды становился желтушным, но каждый раз это проходило. Чудо, что после того, как я по невнимательности оставила новорожденного в почкообразном лотке, его лёгкие полностью и даже частично не ослабли с самого рождения. Тут мне похвастаться нечем. Тем не менее он дышал. Хочется думать, что, держа его вниз головой и нажимая на хрупкую спинку пальцем, я облегчила первый вдох малыша. Его матери посоветовали делать то же самое после каждого кормления, ведь, если жидкость попадёт в трахею, недоношенный ребёнок, в отличие от доношенного, не сможет откашляться. Кончите также дали очень тонкую отсасывающую трубку и показали, как ею пользоваться.

Кроме этого – самой малости, – ребёнок не получал никакого медицинского лечения. Тепло кожи матери поддерживало его температуру. Возможно, её постоянные вдохи и выдохи помогли ему дышать в первые критические недели. Уверена, что её методика кормления – несколько капель грудного молока на губы через определённые промежутки времени – была верной. Мне говорили, что она делала это и ночью. При этом Кончита не принимала никаких мер предосторожности по части стерилизации посуды и инструментов для кормления. Сомневаюсь, что она вообще когда-либо об этом слышала. После каждого кормления блюдце и стеклянная палочка просто протирались и были готовы к следующему использованию. И ребёнок выжил. Думаю, либо он оказался величайшим борцом, либо мы придаём слишком много значения технологиям и методикам.

На протяжении шести недель мы посещали Уорренов трижды в день, затем ещё шесть недель дважды в день. В те времена медицинский уход на дому был на высоте. В четыре месяца ребёнок весил уже шесть с половиной фунтов^[43], улыбался и вертел головкой. Протягивал крошечную

ручку, чтобы ухватиться за палец. Булькал и хихикал сам с собой. Мне рассказывали, что он никогда не плакал.

Несколько раз в эти послеродовые месяцы я вспоминала ту ужасную ночь, когда он появился на свет, и слова, сказанные мне сестрой Джулианной: «Да пребудет с вами Бог, моя дорогая. Я помолюсь за Кончиту Уоррен и её не рождённое ещё дитя». Она не просто говорила, что будет молиться за Кончиту. Она не допускала мысли, что плод родится мёртвым. Она подчеркнула, что будет молиться за них обоих. На самом же деле, она молилась за нас всех.

В один счастливый день в середине лета я пришла с обычным визитом, чтобы проверить вес ребёнка. В полуподвальной кухне раздавался смех, так что я спустилась туда вниз по лестнице. Малыш лежал в люльке, окруженный братьями и сёстрами; все они смеялись. До меня донёлся вкусный запах. Кончита, улыбаясь и пребывая в полной боевой готовности, стояла над дымящимся медным котлом и варила сливовое варенье. В котле яростно забурлило, когда она помешала содержимое огромной деревянной ложкой.

Слава богу, у неё хватило мудрости и стойкости не отпустить от себя ребёнка, подумала я. Допусти она это, я уверена, она бы умерла – а вместе с ней умерло бы всё счастье этого дома.

Старость, старость

Очарованная, покорённая сестрой Моникой Джоан, я, хоть убей, не смогла бы определить, находится ли она в самом деле на грани маразма или нет. Я не могла избавиться от подозрения, что она просто ловко манипулирует нами, чтобы получить желаемое, – извечная прерогатива леди в возрасте! Без сомнения, она была очень умна, весьма эрудированна и в некотором смысле даже учёна, хотя не потерять нить её сумбурных рассуждений часто бывало нелегко. Учитывая её историю, пятьдесят лет монашества, медсестринства и акушерства в лондонском Ист-Энде, никаких сомнений в её христианском призвании не возникало. Однако её поведение нередко было далеко от христианского. Она часто вела себя эгоистично и не считалась с другими. Проблески сознания и приступы маразма вспыхивали в её голове, перекрещиваясь, словно молнии; доброта соседствовала с жестокостью, память и забывчивость переплетались между собой. Старые люди невероятно интересны, и я часто наблюдала за ней. Какой была настоящая сестра Моника Джоан? Я не могла сказать.

Несомненно, она всегда была эксцентричной. Даже то, как она ходила в церковь, было особенным. Она покидала Ноннатус-Хаус, быстро шла по Лейланд-стрит, за угол – и напрямик через Ист-Индия-Док-роуд, не взглянув ни направо, ни налево. Водители грузовиков ударяли по тормозам, шины визжали, машины, содрогаясь, останавливались, пока эта пожилая монахиня, в своём развевающемся облачении и покрывале, пересекала одну из оживлённейших улиц Лондона.

Однажды конный полицейский на вороной лошади степенно двигался по центру дороги. На нём был великолепный белый шлем и длинные белые перчатки, что придавало ему руританский, романтический вид. Он увидел сестру Моника Джоан и, догадываясь, что произойдёт, развернул лошадь боком, поднял руку в перчатке, чтобы остановить движение в обе стороны, и махнул сестре, что она может проходить. Переходя улицу, сестра повернулась к лошади и всаднику и очень чётко и громко сказала:

– Спасибо, юноша, вы очень добры. Но не стоило утруждать себя. Я в полной безопасности. Ангелы позаботятся обо мне. – И, вскинув голову, пошла дальше.

Этот инцидент произошёл задолго до того, как я её узнала, что говорит о том, что она всегда была не без странностей, хотя, возможно, с возрастом

начала чудить ещё больше. Впрочем, иногда я задавалась вопросом: а не была ли её хваленая эксцентричность притворством, затеянным ради детского удовольствия от привлечения к себе внимания? Как, например, тот случай с виолончелистом. Бедняга, это, должно быть, подкосило его... А уж каково пришлось пианистке, и подумать страшно.

Церковь Всех Святых на Ист-Индия-Док-роуд была и остаётся престижной церковью, занимающей привилегированное положение в епархии. Построенная в классическом стиле эпохи Регентства, с великолепными пропорциями, богатым интерьером и безупречной акустикой, она стала превосходным местом для проведения концертов.

Пастору удалось уговорить выступить всемирно известного виолончелиста. Нам с Синтией дали свободный вечер, чтобы мы сходили на концерт. В последнюю минуту нам подумалось, как было бы здорово взять с собой сестру Монику Джоан. Больше никогда!

Начнём с того, что она настояла на том, чтобы взять с собой вязание. Ни Синтия, ни я не воспрепятствовали этому, хотя должны были, но осознали свой промах лишь задним умом...

Мы вошли в уже наполнившуюся церковь, и сестра Моника Джоан захотела сесть в первом ряду. словно вдовствующая герцогиня, она проплыла по центральному проходу, а мы с Синтией, как пара камеристок, поспешили следом. Она села ближе к центру, прямо напротив стула, приготовленного для виолончелиста, мы устроились по обе стороны от неё. Все знали сестру Монику Джоан, и я с самого начала почувствовала себя неловко, привлекая всеобщее внимание.

Сидения оказались слишком жёсткими. Сестра Моника Джоан ёрзала и ворчала, пытаясь поудобнее устроить свою костлявую попу на деревянной поверхности. Мы предложили подложить подушку для коленопреклонения, но ничего хорошего из этого не вышло. Подушку ещё надо было найти. Викарии бегали туда-сюда, шарили в ризницах – безрезультатно. Среди церковной утвари находилось всё, кроме мягкой подушечки. Больше всего на эту роль подходила длинная бархатная портьера. Её сложили и поместили под костлявую сестру. Она вздохнула, глядя на молодого священника, новенького и жаждущего угодить.

– Если это лучшее, что вы можете сделать, то, полагаю, придется с этим смириться.

Её резкий тон тут же стёр улыбку с его лица.

Между тем пастор выступил вперёд, чтобы поприветствовать собравшихся и сообщить, что в антракте подадут кофе.

– А сейчас я имею удовольствие представить...

Его прервали на полуслове:

– А есть у вас что-нибудь без кофеина для тех, кто не пьёт кофе?

Пастор остановился. Виолончелист, поднявшийся уже одной ногой на сцену, – тоже.

– Без кофеина? Если честно, не знаю, сестра...

– Возможно, вы будете столь любезны, чтобы узнать?

– Да, конечно, сестра.

Он махнул викарию, чтобы тот всё выяснил. Я никогда прежде не видела, чтобы пастор выглядел неуверенным, – это было что-то новенькое.

– Я могу продолжить, сестра?

– Да, конечно, – милостиво склонила голову она.

– ...я рад приветствовать во Всех Святых известного виолончелиста и пианистку...

Они поклонились зрителям. Пианистка села за рояль. Виолончелист поправил свой стул. В зале воцарилась тишина.

– Она надела парчу, моя дорогая.

Артикуляция сестры Моники Джоан была безупречной, и, как я уже говорила, акустика во Всех Святых – превосходной. Её театральный шёпот, который мог бы перекрыть шум железнодорожной станции в час пик, достиг всех уголков церкви.

– Мы тоже делали так в 1890-х: срезали старые занавески и правили из них отличные платья. Интересно, у кого она раздобыла эту штору?

Пианистка бросила свирепый взгляд на старую монахиню, но виолончелист, будучи мужчиной, не заметил никакого оскорбления и принялся настраиваться. Сестра Моника Джоан продолжала ёрзать рядом со мной, пытаюсь устроиться поудобнее.

Настроившись, виолончелист уверенно улыбнулся публике и занёс смычок.

– Нехорошо. Я не могу так сидеть. Мне нужна подушка под спину.

Рука виолончелиста упала. Пастор беспомощно воззрился на своих викариев. К нам подошла леди с задних рядов. Она предусмотрительно принесла подушечку для себя и предложила сестре воспользоваться ею.

– Как это мило. Премного благодарна. Очень мило.

Её царственной снисходительности могла бы позавидовать сама Королева-мать. Сестра Моника Джоан опробовала подушку и решила, что сидеть будет на ней, а портьеру положит за спину. Синтия с пастором принялись устраивать её на всём этом, в то время как виолончелист с пианисткой молча сидели, глядя на свои инструменты. Я вся съежилась,

тщетно стараясь остаться незамеченной.

Концерт начался, и сестра Моника Джоан, наконец-то удобно устроившаяся, вытасила своё вязание.

Вязание во время концертов не слишком распространено. По правде говоря, я никогда не видела, чтобы кто-нибудь этим занимался. Но сестру Моник у Джоан не волновало, что остальные делали или не делали. Она всегда поступала так, как сама считала нужным.

Не то чтобы вязание считалось шумным занятием... Я частенько заставляла сестру Монику Джоан, вяжущую в абсолютной тишине и спокойствии. Но не в этот раз. Она вывязывала ажурный узор, для которого требовались три спицы, что и привело к совершеннейшему хаосу. Несколько раз она роняла спицы. Те были стальными и громко лязгали о деревянный пол. Синтии или мне приходилось поднимать их, в зависимости от того, с какой стороны они падали. Клубок шерсти, упав, закатился под стулья. Кто-то в четырёх стульях от сестры Моники Джоан пнул клубок в обратном направлении, но нитка обмоталась вокруг ножки и натянулась, распустив несколько петель вязания в руках сестры.

– Поосторожнее, – зашипела она на нас в тот момент, когда виолончелист подошёл к особенно сложной каденции, прикрыв глаза от наслаждения. Он резко открыл глаза, и струны неожиданно издали фальшивый звук. Увидев сестру Монику Джоан, нащупывающую свою пряжу, виолончелист с истинным профессионализмом принялся за каденцию. И мастерски завершил фрагмент.

Медленная часть началась очень тихо и безмятежно, но с клубком оказалось не так-то легко справиться. Мужчина в четырёх стульях от сестры Моники Джоан пытался распутать его и подтолкнуть обратно, но без особого успеха. Клубок покатился назад, но обмотался вокруг ног кого-то, сидящего сзади, тот поднял его, снова натягивая нитку, распуская ещё несколько петель со спицы сестры Моники Джоан.

– Вы всё портите! – зашипела она на сидящего сзади.

Пианистка, играющая великолепный нежнейший пассаж, отвернулась от рояля и метнула в первый ряд пронзающий, словно кинжал, взгляд.

На подступах к финальной каденции с оглушительным звоном на пол упала другая спица, перебив жалобный плач виолончели на излёте части.

Пастор с отчаяньем на лице вышел вперёд и шёпотом попросил сестру Монику Джоан вести себя потише.

– Что вы сказали, пастор? – громко переспросила она, словно была глухой, каковой, несомненно, не являлась.

Он испуганно отступил, опасаясь, что может сделать ещё хуже.

Третьей частью было «аллегро кон фуоко»^[44], и дуэт исполнил её с такой скоростью и огнём, каких я доселе не слыхала.

Мы с Синтией, просто умирающие от обиды, считали минуты до антракта, чтобы отвести сестру домой. Я в ярости скрежетала зубами и помышляла об убийстве. Синтия, гораздо более добрая, чем я, была само терпение и понимание. Но худшее ещё ждало нас впереди.

Музыканты довели третью часть до победного конца. Великолепным жестом виолончелист взмахнул смычком и поднял руку, уверенно улыбаясь аудитории. Всего пара секунд – и зал взорвался бы аплодисментами, но сестре Монике Джоан вполне хватило этого времени для её выходки. Она резко встала.

– Слишком больно. Я больше ни секунды не выдержу. Пойду-ка.

Под аккомпанемент падающих спиц она прошла мимо музыкантов и на виду у всей публики устремилась по центральному проходу к выходу.

Попларская аудитория разразилась бурными аплодисментами. Топот, хлопки, свист – о бóльших овациях ни один музыкант не мог бы и мечтать. Но виолончелист с пианисткой знали, и мы знали, и они знали, что мы знаем, что аплодисменты предназначались не им или их музыке. Они сухо поклонились и с мрачными улыбками на лицах покинули сцену.

Мною овладела чёрная ярость. Я очень уважаю музыкантов, зная, сколько лет они напряжённо упражняются, и потому не могла простить этого последнего незаслуженного оскорбления, которое посчитала намеренным. Я могла бы даже ударить сестру Моника Джоан, сильно, перед парой сотен человек. Должно быть, меня колотило от злости, потому что Синтия глядела на меня с тревогой.

– Я отведу её домой. А ты оставайся – найди стул где-нибудь сзади и наслались вторым отделением.

– После этого я ничем не могу наслаждаться, – прошипела я сквозь зубы; мой голос прозвучал как-то странно.

Она рассмеялась своим мягким тёплым смехом:

– Конечно, можешь. Раздобудь себе чашечку кофе. Они будут играть «Сонату для виолончели» Брамса.

Она подобрала спицы, распутала нитки, намотавшиеся на ножки стула, положила всё в сумку для вязания, послала воздушный поцелуй, прошептав: «Пока-пока», и побежала за сестрой Моникой Джоан.

Много дней, а может быть, и недель, я не могла заставить себя заговорить с сестрой Моникой Джоан. Я была убеждена, что она сознательно сорвала концерт и унизила музыкантов. Я вспоминала, как она

раздражалась, когда не получала того, чего хотела, как дулась, когда ей препятствовали, и, прежде всего, как безжалостно мучила сестру Евангелину. Сделав вывод, что её «маразм» – не более чем продуманная игра, в которую она играет для собственного удовольствия, я больше не хотела иметь с ней ничего общего. Я умею быть надменной, как сестра Моника Джоан, если захочу, и когда мы с ней снова встретились, я отвернулась и не сказала ни слова.

Но затем произошёл инцидент, не оставивший у меня сомнений относительно её реального психического состояния.

Это случилось примерно в половине девятого утра. Сёстры и весь остальной персонал разъехались по вызовам. Мы с Чамми уезжали последними и уже выходили, когда зазвонил телефон.

– Эт' Ноннатус-'аус? Эт' рыбный Сид. Вам, небось, надобно бы знать, што сестра Моника Джоан прошла мим' мо'го магазина прям в ночнушке. Я послал за ней мальчонку, так што она не повредится.

У меня дыхание перехватило от ужаса, и я быстро рассказала всё Чамми. Мы бросили наши сумки, схватили сестринский плащ с вешалки в прихожей и припустили к рыбной лавке Сида. И в самом деле, петляя по Ист-Индия-Док-роуд, с мальчиком в паре шагов позади, шла сестра Моника Джоан. На ней была лишь белая ночная рубашка до пят с длинными рукавами. Костлявые плечи и локти торчали под тонкой тканью. Можно было бы сосчитать каждый её позвонок. На ней не было ни халата, ни тапочек, на покрывала, и ветер раздувал тонкие белые пряди волос на почти лысой голове. Утро выдалось холодным, и её ноги стали сине-чёрными от холода и крови. Я увидела эти жалкие старые ноги сзади, словно кости скелета, обтянутые только голубой, в пятнах, кожей, упрямо, настойчиво продирающиеся к цели, ведомой лишь её помутнённому разуму.

Без покрывала и одеяния она была почти что неузнаваема и выглядела слегка гротескно. Воспалённые глаза слезились. Нос стал ярко-красным, на самом кончике висела капля. Сердце моё дрогнуло, и я поняла, как сильно я её люблю.

Мы догнали сестру и заговорили с ней. Она глядела на нас, словно на чужих, и пыталась отодвинуться.

– Поберегись, прочь с дороги. Я должна добраться до них. Воды отошли. Эта скотина убьёт ребёнка. Он убил последнего, клянусь. Я должна попасть туда. Прочь с дороги.

Сестра Моника Джоан сделала ещё несколько шагов кровоточащими ногами. Чамми набросила тёплый шерстяной плащ на её плечи, я сняла

свою шапочку и надела ей на голову. Внезапное тепло, казалось, привело её в чувство. Взгляд сфокусировался, и она посмотрела на нас с узнаванием. Наклонившись к ней, я медленно проговорила:

– Сестра Моника Джоан, пора завтракать. Миссис Би приготовила вам отличную горячую овсянку с мёдом. Она остынет, если вы сейчас же не пойдёте домой.

С нетерпением посмотрев на меня, она выпалила:

– Овсянка! С мёдом! Ох, как славно. Тогда пойдём. Чего же ты встала? Ты сказала овсянка? С мёдом?

Сделав два шага, она вскрикнула от боли. Очевидно, она не сознавала, что у неё сбиты в кровь ноги. Господи, спасибо за Чамми, за её размер и силу. Она взяла сестру Моника Джоан на руки, словно та была ребёнком, и донесла до самого Ноннатус-Хауса. За нами шла толпа любопытных ребятишек.

Мы позвали обеспокоенную миссис Би.

– Ох, бедная овечка! Несите её в кровать. Она, видать, замёрзла, бедняженька. Как бы не простудилась насмерть. Принесу пару грелок и сварю кашу и горячего шоколаду. Я-то знаю, как она любит.

Мы отнесли её в кровать и оставили в надёжных руках миссис Би. У нас обеих были утренние вызовы, на которые хочешь не хочешь, а надо было идти.

Я ездила по вызовам, словно во сне. Любовь то и дело застаёт нас врасплох, озаряя самые тёмные уголки сознания, наполняя их светом. Время от времени сталкиваешься с красотой и радостью, и те мигмом овладевают твоей неподготовленной душой. Катясь на велосипеде тем утром, я поняла, что люблю не только сестру Моник у Джоан, но и всё, что она собой представляет: религию, призвание, монашество, звон колокола, постоянные молитвы в монастыре, спокойствие и самоотверженный труд во имя Господа. Возможно ли – и я чуть не упала с велосипеда от удивления, – чтобы это была любовь к Богу?

В начале

У сестры Моника Джоан развилось воспаление лёгких. Она крепко заснула, когда мы с Чамми и миссис Би уложили её тем холодным утром в постель, и не приходила в себя весь день. Температура была высокой, пульс – частым и прерывающимся, дыхание – затруднённым. Ноннатус-Хаус погрузился в грусть и подавленность. Возвестивший о дневной службе колокол в часовне прозвучал предвестником похоронного. Все мы думали, что она умрёт. Однако мы не приняли во внимание два важных фактора: антибиотики и её феноменальную выносливость.

Сегодня антибиотики так же привычны, как чашка кофе. В 1950-х они были ещё в новинку. К настоящему времени чрезмерное использование снизило их эффективность, но в 1950-х они действительно были чудодейственным препаратом. Сестра Моника Джоан никогда раньше не употребляла пенициллин, и он подействовал мгновенно. После пары уколов температура спала, пульс пришёл в норму, хрипы в груди исчезли. Открыв глаза, она осмотрелась по сторонам:

– В толк не возьму, чего это вы все там стоите и ничего не делаете. У вас что, нет никакой работы? Вы, небось, думали, что я помру. Что ж, вы ошибались. Я не померла. Можете передать миссис Би, что на завтрак я буду варёное яйцо.

Её выносливость и физическая сила стали очевидны в следующие несколько недель. Веди она роскошную праздную жизнь, как позволяло знатное происхождение, уверена, она бы умерла, несмотря на пенициллин. Однако жизнь, наполненная напряжённой тяжёлой работой, сделала её жёсткой, как старые ботинки. Никакое воспаление лёгких не могло её убить. Сестра быстро восстановилась и очень раздражалась, что нужно лежать в кровати, как настаивал доктор. Она-то считала, что у неё всего лишь лёгкая простуда и совершенно не помнила о том, что, собственно, привело её в постель. Конечно, она не называла доктора дураком, но так на него смотрела, что не составляло труда догадаться, что она думает о его умственных способностях и умственных способностях всех остальных.

– Я не претендую на то, чтобы понять вашу высшую мудрость, доктор, но все мы во всех отношениях идём с Богом. Я правильно поняла, что могу принимать посетителей?

Да, действительно, сестра Моника Джоан могла принимать посетителей

(пока они её не утомят), читать, когда захочет (если это не напрягает глаза), и есть, что заблагорассудится (если это не расстраивает желудок).

Довольная сестра Моника Джоан откинулась на подушки. Её обеспечили книгами, и миссис Би велели удовлетворять любую её прихоть.

Спальня монахини, правильно именуемая кельей, представляет собой маленькую, пустую и простую комнатку без удобств. Однако, отойдя от активной акушерской практики, сестра Моника Джоан исхитрилась сделать свою келью сравнительно больше, комфортабельней и симпатичней, напоминая скорее элегантную жилую комнату. Миряне, как правило, не допускаются в монашеские кельи, но доктор ведь только что заверил сестру Монику Джоан, что она может принимать посетителей... Так в моей жизни началось очень счастливое время.

Я навещала её каждый день. Стоило мне войти в комнату, как меня обволакивало почти осязаемое ощущение мира и спокойствия. Сестра всегда сидела в кровати, не выказывая никаких внешних признаков болезни или усталости: идеально ровное покрывало на голове, белоснежная ночная сорочка под горло, матовая кожа и большие глаза, ясные и пронизательные. Её постель всегда покрывали книги, и ещё она вела несколько тетрадей, в которые твёрдой рукой вносила пространственные записи.

Я обнаружила, что она – поэтесса. В этом не было ничего удивительного, но я всё же удивилась. Она писала стихи всю свою жизнь, и в её тетрадях нашлись сотни стихов, датированных 1890-ми годами!

Я не берусь судить стихи – у меня нет поэтического слуха. Но меня впечатляла слаженность её рассуждений, и я спросила, можно ли мне посмотреть. Она небрежно пожала плечами:

– Возьми. У меня нет секретов, моя дорогая. Я лишь искра божественного огня.

Долгими вечерами я изучала эти стихи. В них, написанных монахиней, я ожидала обнаружить сплошь религиозную поэзию, но не тут-то было. Тетради наполнились поэмами о любви, сатирой, юмором, к примеру:

Что может быть прекрасней, чем узреть,
Как муха прервала полёт,
Чтобы умыться,
Усевшись прямо на моей странице,
И страстно трёт живот,
Спеша прихорошиться, —
Точь-в-точь красавица, что в зеркало глядится.

или:

Размышления жирной суки таксы

Как прелестны – смотрите —
Мои лапки и тити —
И галоп им пойдёт, и трусца.
Ах, но что же стрясётся,
когда изотрётся
сосков моих плоть
до конца?

А это моё любимое:

Приятно немного набратся
И в Брайтон на море податься,
Но будьте всегда наготове,
Если вдруг вы окажетесь в Хоуве.

Может, это и не великая поэзия, но в ней есть своё очарование. Хотя, возможно, на мою оценку по влияло очарование самой сестры Моники Джоан.

Я нашла показательное стихотворение об отце, проливающее свет на ранние годы её жизни:

Сердитый, черствый, невоспитанный папа́
В броню одет, как черепаха, —
Что за жизнь!
Играет роль, фальшивая звезда,
К чему игра!
Куда всё это приведёт тебя, папа́?
Иль всё то просто пшик?
«Я разберусь и без тебя», —
Сказал старик.

С таким высокомерным властным отцом её битва за самоутверждение и уход из дома, наверное, были ошеломительными. Человека со слабым характером просто бы подмяли.

Любовные стихи находили особый отклик в моём юном, томящемся от любви, сердце, и на глаза наворачивались слёзы:

Я пела тебе
В блаженные дни,
И ты рядом был.

Стремилась к тебе
С поцелуем любви —
Ты не уходил.

Взывала к тебе
В часы кратких свиданий —
И силу узрела твою.

Нуждалась в тебе
В годы бед и страданий —
И вот я тебя узнаю.

«В часы кратких свиданий...» Ох, мне ли было не знать. Неужели нужно так ужасно страдать, чтобы познать неведомого Бога? Кто он, когда, какой была история потерянной любви сестры Моники Джоан? Я хотела узнать, но не осмелилась спросить. Он умер, или её родители были против? Почему он был недостижим? Он уже был женат или просто перестал ухаживать и покинул её? Я жаждала узнать, но не могла спросить. Любые назойливые вопросы заслуживали и получали едкие комментарии, слетавшие с её колючего языка.

Её религиозная поэзия оказалась удивительно стройной, и так как мне не терпелось узнать побольше о её религии, я спросила сестру Монику Джоан об этом аспекте её творчества. Она ответила строками из «Оды к греческой вазе» Китса:

«Краса есть правда, правда – красота»,
Лишь это нам, земным, познать дано.

– Не проси меня увековечить великую Тайну Жизни. Я всего лишь скромная трудница. Ищешь красоты – посмотри Псалтырь, Исайю, Иоанна Крестителя. Как может моё бедное перо тягаться с подобными строками? А если хочешь истины, посмотри Евангелие – четыре кратких рассказа, как Бог создал Человека. Большого тут не скажешь.

В тот день она выглядела необычно усталой, и, когда она откинулась на подушки и зимний свет из окна подчеркнул её бледные, аристократические черты, моё сердце наполнилось нежностью. Я пришла в монастырь по ошибке, будучи совершенно нерелигиозной девушкой. Не назвала бы себя убеждённым атеистом, для которого всё духовное – чепуха, скорее агностиком, сомневающимся и неуверенным. Мне никогда прежде не доводилось встречать монахинь, и поначалу я воспринимала их несерьёзно, потом с удивлением, граничащим с недоверием. Наконец, эти чувства

вытеснило уважение, а потом – любовь.

Что вынудило сестру Монику Джоан отказаться от шикарной жизни в пользу лишений и работы в трущобах лондонских доков?

– Любовь к людям? – поинтересовалась я.

– Конечно, нет, – резко оборвала она. – Как можно любить невежественных грубых людей, которых ты даже не знаешь? Кто может любить грязь и убожество? Или вшей и крыс? Кто может любить, когда ломит от усталости, и, несмотря на это, продолжать работать? Никто не может. Но можно любить Бога, и через Его благодать прийти к тому, чтобы любить Его детей.

Я спросила, как она поняла, что это её призвание, и пришла к тому, чтобы принять монашество? Вместо ответа она процитировала строки из «Гончей небес» Фрэнсиса Томпсона:

Я бежал от Него сквозь ночи, сквозь дни,
Бежал от Него под арками лет,
Бежал в лабиринты, где мысли мои
Блуждают, и в слезных глубинах свой след
Скрывал от Него...

Я спросила, что подразумевается под «Я бежал от Него», и она рассердилась.

– Вопросы, вопросы – ты замучила меня своими вопросами, дитя. Выясни для себя – нам всем приходится в конце концов. Никто не может дать тебе веру. Это Божий дар. Ищите и обрящете. Почитай Евангелие – другого пути нет. Не донимай меня своими бесконечными вопросами. Иди с Богом, дитя, просто иди с Богом.

Она явно устала. Я поцеловала её и ушла.

Её извечная фраза «Иди с Богом» изрядно меня озадачивала. И вдруг всё стало ясно. Это было откровение – принятие. И оно наполнило меня радостью. Прими мир, Дух, Бога – называйте как хотите, а всё остальное приложится. Я нащупывала путь много лет, чтобы понять или хотя бы определиться со смыслом жизни. И эти три маленьких слова – «Иди с Богом» – стали для меня началом веры.

Тем вечером я начала читать Евангелие.

Примечания

1

«Акушерки Святого Раймонда Нонната», «Сент-Раймондские акушерки» – это псевдоним. Я назвала их так в честь святого Раймонда Нонната, покровителя акушерок, акушеров, беременных, рожениц и новорождённых. Он появился на свет в Каталонии в 1204 г. посредством кесарева сечения (*non natus* по-латыни значит «не рождённый»). Его мать, что неудивительно, умерла при родах. Он стал священником и умер в 1240 г.

2

Около 32 килограммов.

3

Около 188 сантиметров.

4

Примерно соответствует российскому размеру 43,5.

5

Около 76 килограммов.

6

Цитата из законопроекта «О регистрации акушерок» (1890 г.), из речи, произнесённой членом парламента Чарльзом Брэдлоу (см.: За голубой дверью // История Королевской коллегии акушерства. С. 23).

7

До 1971 года гинеей называли сумму в 1 фунт (тогда равнялся 20 шиллингам) и 1 шиллинг.

8

От англ. *grace* – «милость», «Божий дар» и *miracle* – «чудо».

9

2,27 килограмма.

10

«*Lyons Corner Houses*», сеть заведений, организованных компанией Дж. Н. Лайонса и объединявших в одном здании кафе, парикмахерскую, телефонную службу и другие сервисы.

11

Соответствует 40 °С.

12

Ярд примерно соответствует 91 сантиметру, фут – 30 сантиметрам.

13

Carol (англ.) – рождественское песнопение.

14

Примерно 2,5 килограмма.

15

Примерно 12,7–15,2 сантиметра.

16

Чуть меньше 150 сантиметров.

17

Из «Оды соловью» Джона Китса.

18

Да. Малыш (*исп.*).

19

Примерно 91 литр.

20

Из стихотворения «Сон и поэзия» Джона Китса.

21

В то время 1 фунт стерлингов приравнивался к 20 шиллингам, 1 шиллинг – к 12 пенсам.

22

YWCA, сокращение от *Young Women's Christian Association* (англ.) – Молодёжная женская христианская ассоциация.

23

Около 91,5 сантиметра.

24

Как уже было сказано, в то время фунт равнялся 20 шиллингам или 240 пенсам.

25

Около 46 сантиметров.

26

Порядка 20–30 сантиметров длиной и 2,5 шириной.

27

Около 4,5 метра.

28

Около 91 сантиметра.

29

Чуть более 2 метров.

30

Примерно 4,2 килограмма и 56 сантиметров.

31

Улица в лондонском Сити, где располагались редакции крупнейших британских газет.

32

39 °С.

33

Около 1,8 килограмма.

34

680 граммов.

35

Ребёнок. Мой ребёнок. Где мой ребёнок? (*Исп.*)

36

Ребёнок очень маленький (*исп.*).

37

Мой ребёнок, мой дорогой ребёнок (*исп.*).

38

Примерно 1130 миллилитров (предельно допустимым объемом кровопотери при родах считается 400 миллилитров).

39

Он умрёт! Умрёт! (*Исп.*).

40

Если не этого сделать, он умрёт (*исп.*).

41

Он остается со мной. Он не умрёт (*исп.*).

42

Приблизительно 482 грамма.

43

Примерно 2,95 килограмма.

44

Allegro con fuoco (*лат.*) – музыкальный темп, «быстро, с огнём».